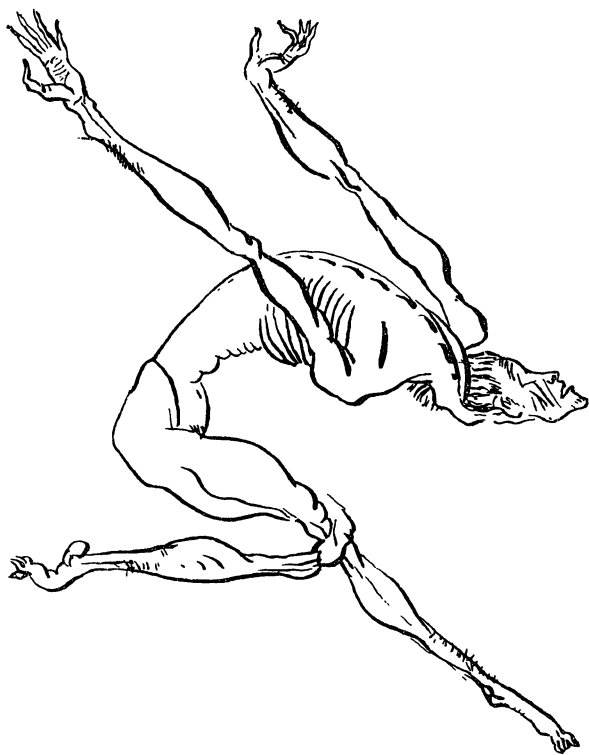


ЕРОФЕЕВ

в е н е д и к т

оставьте мою душу в покое

Х.Г.С.



*Чтобы найти художественное решение
для такой задачи как построение философской модели
сегодняшней России, Ерофеев создает свою поэтику,
свою логику, свой стиль и язык.*

*Явление это настолько феноменальное,
что не укладывается в русло литературного процесса.
Ерофеев владеет уникальным творческим
инструментом, вряд ли пригодным для повторного
использования. Он один работает в жанре,
лучшим названием которого, пожалуй,
будет его простая фамилия.*

Петр Вайль, Александр Генис

в е н е д и к т
ЕРОФЕЕВ

оставьте мою душу в покое

• • •

(почти всё)



Издательство «Х.Г.С.»

М о с к в а • 1 9 9 7

ББК 84Р7
Е 78

Составитель *Алексей Костанян*
Дизайн *Игоря Смирнова*
Художник *Алексей Капнинский*

Ерофеев В.В.
Е 78 Оставьте мою душу в покое: Почти всё. – М.:
Изд-во АО «Х.Г.С.», 1997. 408 с.
ISBN 5-7588-0405-3

Эта книга – наиболее полное издание произведений Венедикта Ерофеева. Ворвавшийся в русскую литературу, по словам В. Лакшина, незаконным метеором, он и сгорел рано, как метеор, но оставленный им след необычайно ярок: талантливые и неповторимые «Москва – Петушки», эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика», «Саша Черный и другие», трагедия «Вальпургиева ночь, или шаги Командора», наброски к пьесе «Диссиденты, или Фанни Каплан» и другие произведения впервые увидят свет собранными в одном томе. Читателю предстоит встреча с «российской вселенной», увиденной и выстраданной замечательным русским писателем.

ББК 84Р7

Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.

ISBN 5-7588-0405-3

© Издательство АО «Х.Г.С.», 1995

© Издательство АО «Х.Г.С.», 1997

Михаил ЭПШТЕЙН

*ПОСЛЕ КАРНАВАЛА,
ИЛИ
ВЕЧНЫЙ ВЕНИЧКА **

Что такое конец века: календарная дата? историческая вежа? сумма свершений? мудрость прожитого? Если поверить глубокомысленному каламбуру Андрея Белого: «человек есть чело века», то конец века есть образ людей, его завершающих, олицетворяющих этот конец. Конец 19 века — это Ницше и Владимир Соловьев, которые в лицах выразили итог своего века и его напутствие веку грядущему. Много было идей и суждений, подводивших итог 19 веку, но кто помнит о них? Помнятся личности, которые запечатлели свой век не просто в словах, но в выражении лиц, в складе судьбы, в жестах и интонациях.

История, разрушая древнюю мифологию, непрестанно творит новые мифы, которые представляют в лицах ее основные идеи. Есть мифы большие и малые, всемирные и местные, столичные и провинциальные... Но и в малых мифах выступает целостность лица, из которого нельзя убрать ни единой черточки, настолько полно в нем воплотилась идея. Ее нельзя выразить отвлеченно и в сотне трактатов — но можно увидеть в недавнем современнике, которого потомство спешит зачислить «в разряд преданий молодых».

Итак, чтобы понять идею времени, мы должны посмотреть ему в лицо. Чье лицо на исходе 20 века останавливает наш взгляд? Чья личность перерастает в миф? О живых не скажем ни слова — их история еще впереди.

1

Любой миф, как считает наука, есть попытка разрешить противоречие, примирить крайности, свести концы с концами¹. Уже не вызывает сомнений, что Венедикт Ерофеев (1938–1990), автор поэмы «Москва — Петушки», после своей преждевременной смерти становится на наших глазах мифом². Может быть,

* Печатается по публикации из журнала «Золотой век». 1993 г. № 4.

это последний литературный миф советской эпохи, которая так легко завершилась вскоре после Вениной кончины. Но какую же загадку разрешает Венья? Какие крайности примиряет?

Русская литература изобилует мифами, поскольку в общественном сознании почти и не существует ничего, кроме литературы и ее производных. При этом мифологическая значимость писателя не обязательно соответствует его литературным достоинствам. Достоевский вот не стал мифом, а Надсон стал, Есенин стал. Но и Пушкин стал, а вот Грибоедов не стал. Какие нужны условия, чтобы писатель стал мифом? Прежде всего нужно, чтобы он успел воплотиться в какого-то персонажа, желателен лирического. Поэты, как правило, и становятся мифами, потому что они создают свой собственный образ, в котором вымысел и реальность сплавляются воедино. Франсуа Вийон, Байрон, Рембо, Блок... И в этом смысле «Москва — Петушки» не просто по названию поэма, но и вполне лирическое произведение, поскольку автор воссоздает в нем самого себя, Веничку, так что Веничка жизни и Веничка поэмы становятся одним лицом, а это уже начало мифа.

Но в то же время и нужно, чтобы писатель не успел до конца воплотиться в своих произведениях, чтобы народная молва подхватила и дальше понесла то, что он не успел или не захотел о себе рассказать. Если бы Венья написал сорок томов полного собрания сочинений, а не одну тоненькую книжечку, то у него появились бы комментаторы, архивисты и биографы, но народная фантазия увязла бы в этих томах и не стала бы ничего домысливать, поскольку все необходимое и достаточное для одного человека он уже сам бы о себе поведал. Мифу о Льве Толстом очень мешает девяностотомное собрание, с черновиками и вариантами. Потому что миф не любит лгать, не любит уклоняться от прямой стези правды, и лишь когда факты отсутствуют или противоречат друг другу, тогда-то он берется за дело. Миф очень чувствителен, даже обидчив: если ему показывают на гору материалов, он говорит — ну что ж, верьте материалам, отворачивается и замолкает навсегда.

Лучшее начало для мифа — безвременный конец, когда еще долго сохраняются живые свидетели, настолько долго, что их память успевает состариться, перейти в быль, а там и в легенду. То, что в человеке не разрешилось, все его резко оборванные противоречия — теперь миф разрешает. Почти все наши мифы, от Пушкина до Высоцкого, — о людях, «что ушли, не долюбив,

не докурив последней папиросы»³. Именно «надо» и обнаруживает возможность мифа как некоей идеи, которая не успела стать реальностью и потому брезжит вечным символом. Писатель становится мифом, потому что не дожил, не дописал, недовыразил себя,— так, во всяком случае, мы чувствуем о нем и за него. «Умер — и унес свою загадку с собой, а нам ее теперь разгадывать». Оттого-то наряду с Пушкиным мы имеем еще миф о Пушкине: то пушкинское, что не воплотилось в самом Пушкине, живет теперь и вне самого Пушкина. Оно не свершилось в одной биографии, зато свершается во всей последующей русской культуре, свершается с Лермонтовым и Достоевским, с Ахматовой и Набоковым, со всеми нами. То, что не успело развернуться во времени, сгущается в вечный прообраз.

В культуре можно различить два ряда: актуальностей и потенций. То, что реализовалось, становится историей культуры. А то, что не реализовалось, но как-то заявило о себе, оформилось хотя бы зачаточно, становится ее мифом. И неизвестно, чего в культуре больше и что для нее важнее. В русской культуре, при всей значимости ее истории, все-таки очень велик удельный вес мифов. Миф — воздаяние за недожитое... Призрак выходит из ранней могилы и посещает своих потомков.

Конечно, дело не в физическом возрасте. Пятидесяти двух лет, прожитых Ерофеевым, вполне хватило бы другому писателю на монументальный свод сочинений, включая письма и текстологический комментарий. Но Ерофеев никак не мог и не хотел воплощаться. Он себя разрушал, скорее всего, сознательно. Он разрушал себя как автора — и это отзывалось в погибающем персонаже. Он разрушал себя как персонажа — и это отзывалось в погибающем авторе. Он закончил поэму о себе: «Они вонзили мне шило в самое горло... С тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду»⁴. Если бы не легкость Вениного саморазрушения, как посмел бы он так пророчить о себе? «...Никогда не приду». И ведь в самом деле, прожив после такого конца двадцать лет, Вени так больше и не приходил в полноту творческого сознания. Вспышками в нем что-то мелькало и угасало — агония дара. Последней строкой «Петушков» он убил и героя, и себя. Писатель, желающий свое творчество продолжать, никогда так не закончит из суеверного ужаса.

И если Веня чего-то и не успел в своей жизни, то именно разрушить себя. Осталась его поэма, драма, эссе, все в единственном числе — но этого оказалось достаточно, чтобы возник миф о Ерофееве. Он остается не столько автором своих произведений, сколько их персонажем, о котором сказано достаточно, чтобы вызвать интерес — но недостаточно, чтобы его утилизировать. Ерофеев успел сказать о себе ровно столько, чтобы навсегда остаться недосказанным. «Конечно, Ерофеев был больше своих произведений» (Владимир Муравьев); «...Я думаю, что (Веня) реализовался хорошо, если на один процент» (Александр Леонтович); «Веня сам был значительнее своих сочинений» (Ольга Седакова)⁵. Вот этот избыток сочинителя над сочинениями и образует зачаток мифа. «Был больше, чем сделал и сотворил». Миф-сочинитель — его сочинения.

И теперь, чтобы восполнить эту разницу, к образу Венички, созданному самим Ерофеевым, присоединяются образы, создаваемые его друзьями, которые и сами попадают в поле мифа. Вот они, восседающие на этом вечном пиру вокруг героя «ирономической» поэмы: Веничкин шут — Тихонов, Веничкин мудрец — Сорокин, Веничкина «безумная поэтесса» — Седакова и т. д.

2

Что же такого уникального в Веничке, что миф о нем входит в тесноту наших литературных преданий и может занять среди них особое место? Есть ведь есенинский миф, есть миф о Высоцком, есть менее популярные, но близко стоящие мифы, например, о пьяном, растерявшем свои метафоры Юрии Олеше, которого чуть не сбила с ног бежавшая мимо мышь. И все эти мифы сводят воедино, опосредуют две крайности, столь характерные для «модели» художника в советскую эпоху: дар — гонимый, дух — задушенный, судьба — искаленная.

Попытаемся вникнуть в слагаемые Вениного мифа. Конечно, перед нами герой — высокий, гибкий, статный, которым зачаровывались буквально все женщины. И он позволял им преклоняться перед собой, окружал себя «жрицами», которые усыпали цветами его ложе. И еще одно свойство героя — пил, но не пьянел, изо всех поединков с другими испытанными пьяницами выходил победителем: они валяются под столом и лыка не вяжут, у него ни в одном глазу, чист как стеклышко⁶. Внутренняя тонкость, деликатность, опрятность. И конечно, талант, умница, эрудит, который помнил наизусть сотни дат и

стихов, острее всех был на язык и всемирно прославился своей поэмой.

А с другой стороны — нищета и неустройство, изгнание из всех университетов, где он так блестяще начинал, работа на рытье канав и прокладке кабелей, скитальчество, неумение чего-то достичь в жизни, беспробудное пьянство, отсутствие нижнего белья, потеря рукописей, паспорта, издевательства над самыми близкими людьми, рак горла. И творческое бессилие: та поэма, написанная вроде как для потехи в кругу друзей, так и осталась его лебединой песней.

Вот эти-то противоречия и заостряют в нас потребность мифа, потому что рационально их нельзя разрешить. Если талант, то почему не писал? Если умница, то почему идею «скинуться на бутылку» предпочитал всем прочим идеям? Если гордился Россией, то почему мало интересовался ею и терпеть не мог патриотов? Если так любил всякую систематизацию, почему беспорядочно жил? Если был опрятен, то почему обтрепался? Если был нежен, то почему грубил?

И тогда между этих крайностей проскальзывает первый набросок мифа: юродивый. Схема очень привлекательная, знакомый российский выверт, когда святость не возносится над миром в белых ризах, а спускается по склону пинком-кувырком — до самой неприличной канавы, чтобы утопить в ней все прелести мира сего. Вот ведь пишет ближайший его друг Муравьев: «У Венички было ощущение, что благополучная, обыденная жизнь — это подмена настоящей жизни, он разрушал ее, и его разрушительство отчасти действительно имело религиозный оттенок»⁷. Именно Христа ради юродивый разрушает свою жизнь и подвергает испытанию чужую.

Галина Ерофеева, вдова Венедикта, отмечает, что «религия в нем всегда была. Наверно, нельзя так говорить, но я думаю, что он подражал Христу»⁸. Этому не противоречит замечание Владимира Муравьева: «...несмотря на свой религиозный потенциал, Веничка совершенно не стремился жить по христианским законам»⁹.

В том-то и дело, что юродивый стремится жить в духе христианского беззакония, «похаб ся творя»¹⁰. Веничка не имеет где преклонить голову, спит «на гноище», совершает «парадоксию подвига» — глумится над чувствами близких и над самим собою, вызывая в ответ град насмешек и оскорблений — все в соответствии с канонами русского жития¹¹. Выражаясь

образно, он швыряет камни в дома добродетельных людей и целует углы домов, где творятся «кошуньи»¹². Почти как Василий Блаженный, только тому собор на Красной площади стоит, а блаженный Веничка за всю жизнь до Красной площади так и не сумел добраться — заносило куда-то в сторону¹³. Люмпенизация русской святости — от Блаженного до Ерофеева.

И даже изумительное Венино пьянство было вроде как добровольные вериги и постничество, поскольку не доставляло ему никакой улады, даже вкус вина он не ценил и всякое смакование считал пошлостью. И вообще, как тонко замечает Седакова, «чувствовалось, что этот образ жизни — не тривиальное пьянство, а какая-то служба... Мучения и труда в ней было несравненно больше, чем удовольствия... Я вообще не встречала более яростного врага любого общеизвестного “удовольствия”, чем Веничка. Получать удовольствие, искать удовольствий — гаже вещи для него, наверное, не было»¹⁴.

Но это относится не только к Вене — известно, что в России, в отличие, скажем, от Франции или Грузии, предпочитают именно горькую, заливают ею какое-то невнятное горе, клин вышибают клином, чтобы сильнее саднила душа. Сластен очень мало в народе, а если и попадают, вроде Брюсова-Бальмонта-Северянина, то мифы слагаются не о них, а о тех, кто припадал к горькой чаше, кто пил без всякого упоения, кто растравлял свою и чужую боль, как Есенин или Высоцкий.

Что же это за Венино горе, с которым он носился, но никогда никому не объяснял его причины? Вряд ли был бы он признателен мемуаристке за попытку объяснить его горе «кошмаром коммунистической эпохи»¹⁵ — скорее, счел бы провидческой пошлостью из будущего школьного курса русской литературы. Уже доказывалось, что из Онегина при советской жизни получился бы не лишний, а вполне даже полезный член общества, филолог или агроном; в тот же ряд встанут и душе-спасительные предположения, что под властью конституционных демократов или правых эсеров Веник развеял бы свое горе, бросил пить горькую и разумно заседал бы на ученых коллегиях, делясь своими обширными познаниями из метеорологии и грибоведения. Как будто то же самое горе не стояло над Россией при всех ветрах и поветриях, и так же не запивали его и не занюхивали горькими, кислыми, солеными, только не сладкими вещами!

3

Миф о Вене постепенно проясняется, но все еще совпадает общими очертаниями с «есенинским», «высоцким» и даже совсем неудавшимся «рубцовским» мифом. Сжигали себя, растрачивали, доводили до помрачения, чтобы во мраке узреть последний спасительный свет, как и положено на путях восточного «отрицательного» богословия, где Бог представлен в образе «не»: несвета, нечести, нечистоты, недостойнства, немудрости, недоброты, поскольку все эти добродетели уже захвачены обывателями и служат их мерзкому нехристианскому благополучию в христианском мире. И только юродивый идет к Богу, совлекаясь от всяких приличий, от верхних, а порой и от нижних одежд.

Но было что-то в Веничке, что никак не укладывается в массово почитаемые мифы о «Сереже» или «Володе». Да вот хотя бы это имя Веничка, им самим о себе увековеченное, — кто еще посмел бы о себе сказать в наше глумливое время? Кто бы смог выставить себя под уменьшительно-ласкательным в кругу пьяниц, дебоширов и ерников — да еще и прослыть у них героем? Это потом уже, по живому следу, другой автор стал проталкивать миф о себе под чужой интонацией: «Это я, Эдичка»¹⁶. Но первенцем столь кроткой манеры себя называть был он, Веничка.

Он вообще не любил гипербол, предпочитал литоты, а ведь отношение писателя к слову начинается с отношения к собственному имени, в данном случае — с застенчивой попытки его приуменьшить и приласкать. Вот Веня пишет: «были птички», «было два мужичка», или пристегивает к своему любимому питью эпитеты «красенькое», «холодненькое»¹⁷... Можно, конечно, списать литоту на пьяную умильность, которая пробуждает и к предметам застольного культа отношение, как к родным деточкам: «стопочка», «водочка». Но в такой умилительной форме разгул у нас авторски и не выражался, а все больше в гиперболах: «эх!», «ах!», «раздайся!».

Что юродивый, что его поэтический наместник рвут рубашку с груди, потому что тесно покровам на их горячей искренней душе. А Веня ворот рубашки придерживал на себе от стыдливости, чтобы горло не обнажалось? «...Горло свое он, будучи млад и прекрасен, всегда стыдливо прикрывал, стягивая ворот рубашки без пуговиц»¹⁸. «А если верхняя пуговица и расстегну-

та, то Веня воротничок придерживал рукой, чтобы он не распахнулся. Это был его характерный жест»¹⁹. Как не похоже это на Сережу и на Володю — они-то как раз рвали на себе ворот. Загоняли своих коней до пены и рвали на них узду. Что-то было в них от лихой гулянки начала века, от сверхчеловеческого надрыва и желанья поскорее струну натянуть и резче оборвать. Только в последнее время у Высоцкого послышалось: «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее» — но все равно голос срывался в надсадный крик, будто он одной рукой их придерживал, а другой настегивал.

А вот у Венички уже и впрямь ощущение медленности. При полном сознании неправильности. «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян»²⁰. Если кто уверен в своей правильности, то он и старается рвануть побыстрее, и это есть героическая удача и молодецкий порыв. А у Вени уже и следа не остается от героизма, даже того перевернутого, упадочного, который обычно в одну эпоху действует с героизмом прямым и поучительным. Веничка равно далек и от Горького, которого не любил, и от Северянина, которого любил. Далек от упоенья высями и безднами. Далек от Блока и Есенина, с их высями и безднами пополам. Далек от писателей-праведников и певцов-буянов. Любая правильность ему внутренне мешает, он бежит от трезвости, но не впадает в обратный соблазн, в героизм упадочности — бурного хаоса, пламенного чада. Спивается, но не впадает в пьяный раж, экзальтацию любви-дружбы и опасного хриплого мужества. Он пьет больше своих предшественников, но уже не пьянеет, и этим напоминает трезвого, только трезвого уже с другого конца, не до, а после. Не самоуверенного, а притихшего, печального, кроткого.

И в других он ценит больше всего именно эту кротость, которая по-настоящему доступна уже выпившему человеку²¹. Уже похмеляющемуся. Венино коронное состояние — не запой, а именно похмелье, деликатный и щепетильный отчет за все предыдущие запои, свои и чужие. И всякое упоенье вокруг, хмельные экстазы, захлеб и надорванный ворот захватывают его немногим больше, чем подвиги Зои Космодемьянской²². В диалектике трезвости и пьянства высшая ступень — похмелье: отрицание отрицания.

Вникнем в стадии этой диалектики, неумолимо ведущей от гордыни к кротости. Выпивка — это способ сбить спесь с трезвого, который крепко стоит на ногах, говорит внятно и мерно, живет так, будто он телом и душой своей вполне владеет. А ну-ка, вышей, дружок, и увидишь, что не так уж все тебе покорно, напрасно ты кичился своими привилегиями в этом мире: землю попирать, смыслом владеть. Сходит гордыня трезвости.

Но остается еще в запасе гордыня пьяности. Теперь дружку море по колено, и уста его горят от собственного остроумия, взгляд горит от собственной оболстительности, и опять весь мир стелется перед ним, на сей раз волнистой дорожкой. Теперь он чувствует себя легко и уверенно именно оттого, что собой не владеет.

После чего начинается протрезвление, и, «с отвращением чигаая жизнь мою...» Какие уж там остроты и взгляды — пьяная икота и перемаргиванье с окосевшей девичьей! Опьянение сбilo спесь с трезвого, а протрезвление сбивает спесь с пьяного, и теперь, сквозь муки стыда, открывается третья стадия великого синтеза — похмелье. Горькое и мудрое. Скучное и просветляющее. В похмелье человек только и делает, что вздыхает. Освежает себя воздухом, не оскверняя воздух собою. «...Я вздохнул, вздохнул так глубоко, что чуть не вывихнул все, что имею»²³.

Такова эта хитрая диалектика. Веня сбивает и с себя, и с окружающих сначала трезвую спесь, потом пьяную спесь²⁴. Он сбивает обе спеси, трезвую и пьяную, добираясь наконец до похмелья как состояния предельной кротости. Потому что похмеляющийся брезглив к себе и оттого все прощает ближнему. Похмеляющийся никого не обидит, наоборот, его, как ребенка, всякий обидит. Он настолько расслаблен, что в нем даже появляется нечто девичье — щекотливость и нервная чувствительность к малейшим прикосновениям.

Вот, например, Веня — ужасный недотрога, он больше всего боится щекотки. «У меня очень много щиколоток и подмышек. Они у меня повсюду. Честный человек должен иметь много щиколоток и подмышек и бояться щекотки»²⁵. Кто еще в России был таким щекотливым и так по-девичьи, хохоча и отбрыкиваясь, защищал свою честь? Ни Лермонтов, ни Блок, ни Гумилев, самые возвышенные из поэтов, и то не были так щекотливы. Они создавали мифы о вечно женственном, а вот

в самих себе даже ничего девичьего не имели. Веня же, боящийся самых легких касаний, вздрагивающий и хохочущий, — он весь, как девица²⁶.

И в этом он причастен к «вечно бабьему» в русской душе, только в нем оно уже перестало быть бабьим и опять стало девичьим. Разнежилось и утончилось настолько, что весь мир теперь кажется грубым этому существу, состоящему сплошь из подмышек и щиколоток. Кто еще так хрупок и уязвим с похмелья?

«Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнута грубы в те самые мгновения, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навыпуск, когда он малодушен и тих? Почему так?!»²⁷

Странное дело — не только Веня чувствует грубость окружающих, но и окружающие, самые тонкие их них, как, например, поэтесса Ольга Седакова, чувствуют свою грубость рядом с Веней. «...Рядом с ним нельзя было не почувствовать собственной грубости: контраст был впечатляющим»²⁸.

Надо сказать, что оба типичных Вениных состояния, «напившись или с похмельюги», не отнимали у него трезвости. По сути, это было одно долгое состояние, единое в трех составляющих — пить, трезветь и опохмеляться. «Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, — я трезвее всех в этом мире; на меня просто туго действует...»²⁹ «Веня сам никогда не пьянел. Он не позволял себе этого. На глупение, бормотание, приставание он смотрел как на невоспитанность, как на хамство. ...Одной из добродетелей нашего круга друзей было непьянение...»³⁰

Отсюда и начинается собственно миф о Веничке — миф о непьяности, которую никак нельзя смешивать с простой непричастной трезвостью. Трезвость — до, а непьяность — после. Трезвость гордынна и учительна, а непьяность кротка и понура. Трезвость может еще сама собою упиваться, а непьяность уже ничем не упивается. И это есть высшее состояние души, когда у нее меньше всего претензий и вообще воодушевленности мало — малодушие.

«О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив и был так же ни в чем неуверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом — как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости! — всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле

целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигу. “Всеобщее малодушие” — да ведь это спасение от всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства!»³¹

Малодушие не так плохо, как кажется, и вообще не следует его пугать с трусостью. Трус боится только за себя, а малодушный — за все на свете. Душа у него просто в пятки уходит, когда он касается хрупкой вазы или встречается с умным человеком — как бы чего не напороть, не задеть, не напортачить. Малодушный человек деликатен, потому что больше всего боится когонибудь обидеть. У него души не хватает, чтобы брать на себя ответственность или иметь такое поползновение.

4

В центре Вениного мифа — именно деликатность, редчайшее и еще почти не обозначенное свойство в русской культуре³². Много в ней святости и греха, просветления и мрака, высей и бездн, но вот деликатность... Попробуй скажи, что Толстой или Достоевский деликатны: ведь это смешно, для таких-то провидцев и великанов! Деликатность в них, может, и была, но на каком-нибудь сорок шестом месте. И еще понятно, когда деликатны Чехов или Тимирязев, ученый или врач, которые просто не могут быть другими в деликатных обстоятельствах своего времени и профессии.

Но когда деликатен Веничка, который пьет и закусьвает в тамбуре оттого, что стесняется пассажиров, то это уже совсем другое свойство. Когда он горько вздыхает о пошляках: «сердца необрезанные»³³ ... Когда он скрывает от собутыльников свои выходы по нужде, не дерзая облечь в слова сокровенные желания... Веничка деликатен со всех сторон, деликатен настолько, что не объявляет своим товарищам о намерении пойти в туалет,— и даже еще деликатнее: соглашается пойти в туалет только для того, чтобы не слишком подавлять своей деликатностью³⁴.

В такой деликатности человека, который по всем признакам не должен и не может быть деликатным, уже есть нечто феноменальное и одновременно, как выразился бы Веня, нечто ноуменальное. Это феномен какой-то новой деликатности, превращающей Веню в героя совсем неделикатной среды. Если бы эта деликатность исходила откуда-то извне,

из сфер авторитета и высокой морали, ее бы просто осмелили... Но тут она исходит из самого центра «разночинства, дебоша и хованщины», от Венички, уже вкусившего и «Слезу комсомолки», и «Поцелуй тети Клавды», и прочие коктейли, настоенные на шампуне, денатурате, тормозной жидкости и средстве от потливости ног. Деликатность в таком существе — это не дань традиции, семье, воспитанию, общественным нормам. Она не может быть устаревшей. Она не может быть назидательной. Она погустороння. «С моей погусторонней точки зрения...» — любил говорить Вениа³⁵.

Даже в словах «младенец», «ангелы», «скорбь» или «вздых», когда они исходят от Вени, нет никакой старинности и напыщенности. «...Вечно живущие ангелы и умирающие дети...»³⁶ Кто в советское время называл своего сына «младенцем»³⁷, а свои внутренние голоса «ангелами»? — и слов таких в обиходе уже не было со времен то ли Жуковского, то ли Клюева. До Вени эти слова добрались через преграду такой скверны, словесного гноя и приклатненности, что в них невольно звучит ирония — но Вениа употребляет их не для иронии. Ирония в этих чистых словах подразумевается ровно настолько, что воспринять их только как иронию было бы пошлостью.

Тут очень подходит термин «противоирония», предложенный другом Ерофеева филологом Муравьевым³⁸. Если ирония выворачивает смысл прямого, серьезного слова, то противоирония выворачивает смысл самой иронии, восстанавливая серьезность — но уже без прямоты и однозначности. Вот, например, диалог между Веничкой и Господом:

«Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощутил: от бутерброда до розового крепкого за рушь тридцать семь. Ощупал — и вдруг затомился. Еще раз ощутил — и поблек... Господь, вот ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно? Разве по этому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, Господи, вот: розовое крепкое за рушь тридцать семь...

И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:

— А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

— Вот-вот! — отвечал я в восторге. — Вот и мне, и мне тоже — желанно мне это, но ничуть не нужно!

“Ну, раз желашю, Веничка, так и пей”, — тихо подумал я, но все еще медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет?

Господь молчал»³⁹.

При желании можно найти в этом отрывке массу иронии. Розовое крепкое и стигматы святой Терезы настолько неравноценны, что нельзя их сравнивать без насмешки. Но если вдуматься, над чем же это насмешка, о чем ирония? Над розовым крепким — было бы глупо. Над святой Терезой — еще глупее. Ирония вроде бы подразумевается, но она есть только тень противоиронии, ее выразительный оттенок. Противоирония так же работает с иронией, как ирония — с серьезностью, придавая ей иной смысл. Первоначальный серьезный подтекст читался так: о, святая Тереза! фу, ничтожный Веничка! Ирония перемещает акценты: у каждого есть свое розовое крепкое, у одного — розовое крепкое, у другого — стигматы. Противоирония еще раз смещает акценты: у каждого есть свои стигматы, у одного — стигматы, у другого — розовое крепкое. Нельзя сказать, что в результате противоиронии восстанавливается та же серьезность, которая предшествовала иронии. Наоборот, противоирония отказывается сразу и от плоского серьеза, и от пошлой иронии, давая новую точку зрения — «от Бога»: что человеку не нужно, то ему и желанно; в промежутке между нужным и желанным помещается и святость, и пьянство; величайший человек не больше этого промежутка, и ничтожнейший — не меньше его.

И весь Венин стиль есть такая противоирония, которая работает с готовыми ироническими шаблонами, осевшими в общественном сознании столь же весомо, как и патетические шаблоны. Согласно одному шаблону, при слове «родина» или «советская власть» надо было встать навтыгяжку, согласно другому — прыснуть в кулак. А вот Веня придает этим словам какую-то другую интонацию, не серьезную и не ироническую, а хочется сказать, загробную:

«— Ерофеев, а родная советская власть — насколько она тебя полюбила, когда твоя слава стала всемирной?

— Она решительно не обращала на меня никакого внимания. Я люблю мою власть.

— За что же особенно ты ее любишь?

— За все.

— За то, что она тебя не трогала и не сажала в тюрьму?

— За это в особенности люблю. Я мою власть готов любить за все. <...>

— Отчего же у вас невзаимная любовь?

— По-моему, взаимная, сколько я мог заметить. Я надеюсь, что взаимная, иначе зачем мне жить?»⁴⁰

Это из интервью журнала «Континент», еще в те далекие времена, когда он издавался в Париже. Интервьюер всячески старается «расхохмить» Веню, а Веня не поддается на соблазны дешевой иронии, как и на соблазны патриотической гордости — боли. Он отвечает на нелепые вопросы примерно так же, как духи на спиритическом сеансе, его интонации нельзя ангажировать. Это именно противоирония, которая оставляет для иронии ровно столько места, чтобы обозначить ее неуместность.

5

Противоирония — новое качество Вениного мифа. И связанного с ним ритуального действия. Любой миф, как считают ученые, есть словесная запись некоего обряда. И в этом миф о Веничке обозначает новый путь инициации для юношества. Инициация — обряд посвящения, приобщения к зрелости. Дворянские юноши 19-го века, выходя из домашней тепличной среды и вступая на путь мужеской инициации, старались стать как можно грубее, хлестали водку и ездили к девкам (вспомним Пьера Безухова в первом томе «Войны и мира»). Юношество поздней советской поры хлестало водку уже с молодых ногтей, а ездить и вовсе никуда не нужно было, все было рядом, в общежитии (вспомним этот быт, описанный Веней и его друзьями⁴¹). Веничкина инициация начинается ровно оттуда, где заканчивалась инициация героев русской классики, а именно с кабака-бардака, общежития-публичного дома. Но оставаясь внутри этого семейного пространства, Веня так переворачивает его изнутри, что вдруг из чада и буйства нам мелькают черты усадебного юноши. Как будто нас приглашают обратно, в сентиментальный карамзинско-радищевский век. Да-с, господа, и забубенные личности чувствовать умеют. «Ведь если у кого щепетильное сердце...»⁴²

Тогда, в конце 1960-х — 1970-е, типичная юношеская инициация называлась «раблезианством» и оправдывалась теорией карнавала, приобщения к телесным и смеховым низам народной культуры. Все отверстия в теле должны быть раскупорены

и вбирать-извергать потоки вселенского круговорота веществ. Пьянство лишь скромная метафора этого хлещущего изобилия, к которому Бахтин в своей книге-мифе о Рабле относит также блевание, плевание, потение, сморкание, чихание, обжорство, совокупление, испражнение, пуканье и пр.⁴³

А вот Веня всего этого ужасно стыдился. «Он был невероятно застенчив даже перед собой»⁴⁴. И говорил, что самой большой нежности заслуживает «тот, кто при всех опысался»⁴⁵. У Вени ценности, раньше карнавалюно перевернутые, стали опять медленно переворачиваться. Карнавал это оценил и одобрил, как бы и не заметив, что карнавал вокруг Вени уже перестает быть карнавалом. Застенчивость, которая изгонялась взрывом непристойностей, теперь распространяется на самое непристойность. «Нежность к опысавшемуся». Понятно, это не то же самое, что нежность к веточке сирени, — это нежность, ушедшая от сентиментальности ровно на длину карнавала. Но это уже и не сам карнавал, а его послебьгтие: все прежние свойства, опрокинутые карнавалом, теперь восстанавливаются в каком-то новом, «ноуменальном» измерении. Эти нежность и скорбь, плач и застенчивость, одиночество и скука уже трансцендентные, освобожденные от привязанности к прежним объектам.

Вот, например, печаль — о чем печалится Ерофеев? Он знает, что каждая тварь после соития бывает печальной, этот естественный закон наблюдался еще Аристотелем, а вот Веня, вопреки Аристотелю, «постоянно печален, и до соития, и после»⁴⁶. Или, например, человек обьчно воодушевляется, когда к нему приходит много мыслей. А вот у Вени вырывается признание: «Мысли роились — так роились, что я затосковал...»⁴⁷

Словно все предметы прежних чувств от Вени уже отторгнуты дистанцией исторического размера, и обязательность в соответствии чувств и предметов отменена. Чувства возрождаются после смерти чувств, и душа еще не знает, к чему их применить. К чему применить скорбь — к слезинке ребенка или к «Слезе комсомолки»? Веня, не желая промахнуться, скорбит обо всем сразу. Но от того, что его печаль применяется и к печальным, и к вовсе не печальным вещам, она не перестает быть печалью, пусть даже уже потусторонней. Она по ту сторону прежних чувств, притупленных, отрезанных, исторгнутых. Какие чувства возможны после Катастрофы, после Революции, после Освенцима и Кольмы, какая там еще печаль? Но вот печаль

открывает «два огромных глаза» (О. Манделышпам) и оглядывается в поисках своего предмета, о котором еще ничего не знает. Кто сказал, что между предметом и чувством должно быть строгое соответствие, как в классицизме? Что это за классицизм чувств? Даже в обычном языке этого не бывает, любой знак, по определению лингвиста-основоположника Фердинанда де Соссюра, произволен, любое слово может обозначать любой предмет. Почему же печаль не может относиться и к веселому предмету, и к скучному предмету, и к смешному предмету, и к вовсе безразличному предмету; разве не печально, если он так же безразличен? Разве не печально, если он так уж смешон? Почему скорбь не может относиться к вину, а веселье — к стигматам? Ничего тут нет карнавального. Это просто другой уровень чувств.

Может быть, и сам Веня этого нового посткарнавального извода своих чувств не заметил — заметил Бахтин, чрезвычайно чуткий на все карнавальное. Он восхитился ерофеевской поэмой, найдя в ней подтверждение своих теорий и выражение чистейшего пантагрюэлизма. Веня в поэме вроде только занят тем, что прополаскивает горло, — чем не Пантагрюэль, и не только в собственном, но и нарицательном значении этого слова. Прежде чем дать имя раблезианскому герою, слово «пантагрюэль» было названием горловой болезни — потери голоса в результате перепоя (болезнь пьяниц)⁴⁸. Если бы Бахтин знал, в какой степени это имя-прогноз подтвердится в судьбе самого Ерофеева, к концу жизни потерявшего голос, пережившего несколько операций и умершего от рака горла! Сущность пантагрюэлизма вроде бы сбылась дословно и до последней жизненной черты. Но в такой обреченности гротескному есть что-то уже не совсем гротескное, какая-то покорность и тишина, умолкание имени-метафоры именно по причине буквального ее исполнения. Феномен Венички, вырастая из пантагрюэлизма, перерастает его, карнавал сам становится объектом карнавала, выводящим в область новой, странной серьезности.

И знаменательно, что, восхитившись поэмой, Бахтин не одобрил ее развязки, потому что герой ее вроде бы умирает всерьез, допускает «энтропию», а какой же серьез в карнавале⁴⁹? И какая же энтропия посреди карнавального всплеска ранее скованных энергией? Но ведь и задолго до конца поэмы у Вени можно заметить энтропию, погашение энергий. Разве не энтропия — Венина тихость посреди карнавального буйства? Веня опозти-

зировав не разгул, а «человека с похмелья.., когда он малодушен и тих», и даже «всеобщее малодушие», которое, с карнавальной точки зрения, есть сплошная энтропия. Вот это и почувствовал, хотя и недооценил великий ученый. Почувствовал в Ерофееве свое, которое уже становится чужим. Почувствовал карнавал, который перестает быть карнавалом⁵⁰.

Критик Андрей Зорин верно заметил, что, вопреки карнавальным законам, у Ерофеева «стихия народного смеха в конце концов обманывает и исторгает героя. Собственно говоря, такой исход был предначертан с самого начала»⁵¹. Еще вернее сказать, что сам автор от начала и до конца обманывает и гонит от себя народную стихию. А поскольку автор и герой одно лицо, то они это делают вместе. Герой уединяется от этой стихии в тамбур, автор — в лиготе, и вместе они уединяются от нее в имени «Веничка», в камерной грусти и лирической растерянности. Стихия народного смеха, как и народного спеха⁵² — всякая народная стихия, в образе ли Теркина, Космодемьянской или Стаханова, равно далека Веничке, который любит медленность и неправильность. И вообще — чем плоха энтропия?

6

Столетиями во всем мире прославлялась энергия, в самых разных ее проявлениях: кинетическая и потенциальная, энергия души и энергия тела, энергия коллектива и энергия индивида, энергия подвига и энергия смирения, энергия космическая и энергия политическая, энергия творческая и нравственная... Энергию прославляли Галилей и Гете, Гегель и Толстой, Маркс и Ницше, Фарадей и Фрейд, Бальзак и Дарвин, Пушкин и Эдисон, Эйнштейн и Сартр, Форд и Бахтин. В России, из-за ее природной вялости, энергия ценилась особенно высоко и разряжалась взрывами подвигов и революций. А когда революции уступали место застою, он в свою очередь разряжался взрывами смеха и карнавала. В любом случае энергия делала свое большое дело: кружила планеты, расщепляла атом, толкала конвейеры, производила сексуальную и научно-техническую революцию, кружила головы и сердца, обольщала девочек и старцев. Звезды кино, властители умов, акулы бизнеса, секс-бомбы, восточные гуру и спортивные чемпионы — все источали энергию и обаяние. Сама энергия была обаятельна, в чем бы

она ни проявлялась. Энергия распада и декаданса тоже была обаятельна.

И вдруг Веня сделал обаятельной убыль энергии. Энтропия в его лице приобрела милые сердцу черты: медленность и малодушие. Вообще-то говоря, он не ошибся. В его время, к концу 20 века, энтропии уже не стоило бояться. Это в конце 19 века мир вдруг испугался энтропии. Ею грозил второй закон термодинамики, по которому неизбежна тепловая смерть Вселенной. Дескать, все смешается, уравниется, станет одинаково, ни холодно, ни горячо, и тогда... Солнце погаснет, земля застынет — таким виделся тогда конец мира⁵³.

Но страхи эти после двух мировых войн и еще не сосчитанного числа революций уже устарели. Кажется, Вселенную нашу распирает какая-то непонятного свойства энергия, пучит ее всякими катаклизмами и безумиями. И к концу 20 века человечество стало опасаться именно энергии, до которой коснулось по неведению руками ядерщиков — так дернуло, что чуть весь мир не взорвало. Но ведь стыдно было признаться, что та самая энергия, которая столь привлекательно играет в лице властителя дум, любимого политика, писателя или актера, — она же играет уже менее привлекательно на ядерных полигонах. Военные стали жертвой общественного предрассудка, будто энергия в их руках опаснее, чем в лице энергичных людей, активно восторгавших все прогрессивное человечество. Мирные демонстрации обрушились на один род энергии, вовсе не подозревая, что мир, начиненный энергией, вообще опасен, и все виды энергии, превращаясь друг в друга, ускоряют его конец. Недаром конец мира предсказан в образе пламени, а не замерзания или потопа — водяным был лишь пробный конец, испытание Божье для выявления праведника, а настоящий конец придет от огня. «...Вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. ...Воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают»⁵⁴. Так издревле обозначалась энергия, которая бурлит и накапливается в человечестве, пока не грянет последним судом. Будет ли то революция, карнавал или то и другое вместе, пока неизвестно, но что Страшный суд — несомненно.

И вот в стране всех освоенных видов энергии нашелся наконец человек, подавший увлекательный пример малодушия. Сумевший сделать интересной «энтропию» — воспользуясь словом Бахтина, хотя ему самому, теоретику карнавала, энтропия была не интересна. Ерофеев сумел много и многим убедить, что в эпоху сверхвысоких энергий есть особое достоинство в том, чтобы прибавить от себя чуточку энтропии. Плеснуть энтропии в костер энергии. Проявить великодушие путем малодушия.

Энтропия владела всем его существом. Энергия не играла на его лице. Могу поделиться личным впечатлением, хотя и скудным. Я видел Венедикта Ерофеева дважды, и оба раза он поражал меня цветом своего лица. В первый раз — это было в середине 70-х — оно у него было коричневым. Не от загара, не от природной смуглости, а вот именно землистым, как будто он спал в обнимку с землей, хотя на самом деле он только что встал с постели. А когда я видел его во второй раз, к концу 80-х, — лицо у него было совершенно белым. Не бледным, а каким-то высвеченным или испачканным мелом. Хотя он сидел в развеселом литературном кафе на вечере с поэтами и иностранцами. Вот так и стоят у меня в памяти два его лица: одно — землистое, другое — меловое. Два цвета энтропии. Безусловно, там была феноменальность жизни и монументальность смерти, происхождение крестьянина и предназначение художника, но никакая энергия полнокровия и румянца не играла в его лице — за это могу поручиться. Огня в нем не было.

Поэтому в обществе сидящих, стоящих и ходящих он всегда предпочитал лежать. Это был его способ замедляться. Быть может со времени ерофеевские тапочки станут столь же знаменитыми, как обломовский халат⁵⁵. Только Обломов был тучен и ленив, а Ерофеев строен и подвижен. Его вялость была продуктом работы над собой. Он по каплям выдавливал из себя энергию. Он не поддавался инерции, а создавал ее. Как Бог создал мир из ничего, так Ерофеев создавал энтропию из своей прирожденной энергии. Обломов остался персонажем. Ерофеев стал автором.

Даже еда, где и ленивый Обломов проявлял сноровку, была для Вени способом замедления. Почти всегда голодный, он никогда не торопился с утолением голода. На этой Вениной не-жадности удивительно сходятся все воспоминания. «А когда садились есть, хотя во время войны было голодно, всего было

по норме, по кусочку,— он всегда кушал медленно, интеллигентно, аккуратно и долго, безо всякой жадности» (Нина Фролова, сестра Вени); «...Венедикт очень бережно, кусочком хлеба всю (яичницу) подбирал со сковородки. Есть он всегда хотел ужасно, но выражал это застенчиво, ел не жадно и действовал кусочком хлеба как-то чрезвычайно деликатно» (Лидия Любчикова); «Он во всем был тонким. Мы прожили вместе 15 лет, и я не помню, чтобы он жадно ел» (Галина Ерофеева); «Да и вообще, не припомню на его физиономии движения челюстями, не помню жевательных движений, Вене они были не свойственны» (Игорь Авдиев)⁵⁶. Какой там карнавальный обжора — у него и жевательный рефлекс не выражен! Какие уж там «разинутый рот» и «толстый живот» — неперемненные признаки карнавала, вулканические извержения космической энергии в формах ненасытного чревоугодничества⁵⁷.

А ведь если вдуматься, историческая энергия 20-го века больше всего пробуждалась именно этим жевательно-глотательным инстинктом, который самая боевитая идеология взяла за точку опоры, чтобы перевернуть мир. Чело этого века, империалистически-коммунистически-фашистски-космически-идеологически-атомно-энергетического — это чело гротескно в прямом, бахтинском значении этого слова. «Гротескное лицо сводится, в сущности, к разинутому рту,— все остальное только обрамление для этого рта, для этой зияющей и поглощающей телесной бездны»⁵⁸. Быстрое и правильное распределение — так можно определить пафос этого самого голодного и торопливого века в человеческой истории, который после всех подвигов дележа должен был завершиться, в духе бахтинской же утопии, веселым праздником всеобщего поедания. «Голод правит миром» — этот древний трюизм стал основой философских учений, а скорейшее утоление голода — священной обязанностью и целью всемирной истории⁵⁹.

Для основоположников марксизма, которых Вения введливо изучал по долгу и из любопытства, «физическое самопроизводство индивида» есть пружина истории, тот первичный факт, из которого разрастаются производительные силы и производственные отношения, а также противоречия между ними, ведущие к народной революции и к торжеству голодных над сытыми, что диалектически должно означать торжество сытости над голодом. Теория карнавала, в этом смысле, есть завершение теории революции, когда источники общественного изоби-

лия забьют наконец полным потоком и всенародное тело, жрущее, потеющее, испражняющееся и совокупающееся, явит себя в праздничном изобилии, как «растущее, неисчерпаемое, неуничтожаемое, избыточное, несущее материальное начало жизни...»⁶⁰.

И конечно, от этого начала, забирающего тебя с концами, уже никуда не деться. «Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальная. От него некуда уйти, ибо карнавал не знает пространственных границ. Во время карнавала можно жить только по его законам, то есть по законам карнавальная свободы»⁶¹.

Только по законам свободы — звучит чеканно, почти по-чекистски. Что же Веничка? Впервые в буйном карнавальном кругу славу приобретает не разухабистость, а щекотливость и стеснительность. Умение употреблять слова «ангел» и «младенец» без хохмы и надрывного хохота. Ворот не нараспашку, а очень даже старательно запахнутый. Не обжорство, а бережное подборание кусочка яичницы кусочком хлеба.

И уж совсем баснословным становится человек, который за всю свою скорбную жизнь ухитрился ни разу не пукнуть.

«А вот это тот самый знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за всю свою жизнь ни разу не пукнул...»

— Как!! Ни разу!! — удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают. — Ни ра-зу!!

Я, конечно, начинаю конфузиться»⁶².

О, конфузливый угашатель энергий! Такого мифа у нас еще не было.

Видимо, уже близок исход «постмодернистской» эры, обозначившей усталость 20-го века от самого себя. Век открылся парадным входом в светлое будущее — и закрывается пародией на все прошедшие эпохи человечества. Все, что в небывалом идейном опьянении век успел наскоро проглотить, он теперь извергает в виде муторных самоповторов и глумливых цитат. Перефразируя Ерофеева, можно сказать, что в каждом веке есть физическая, духовная и мистическая сторона⁶³ — и теперь наш век тошнит со всех трех сторон, особенно в шестой части света, сильнее других пострадавшей от векового запоя. Извергаются проглоченные территории, загаженные куски природы, прокисшие идеи основоположников — и все, что так горячило

и пьянило, теперь холодной рвотной массой заливают место недавнего пира.

Век устал от себя — но уже накопилась усталость и от самой этой усталости, и столетием лень множить свои тускнеющие отражения в зеркалах все новых пародий... Нарастает чувство какой-то новой серьезности, проверяющей себя на смех — и не смеющейся. Проверяющей себя на смелость — и не смеющей. Очень тихой серьезности, похожей на малодушие, на боязнь что-то вспугнуть и непоправимо разрушить во мне самом и в мире без меня.

В мифе о Ерофееве нам приоткрывается сентиментальность на каком-то новом витке ее развития, сентиментальность, уже включившая карнавальный и пародийный эффект и растворившая их в себе. Не безумие ли предположить, что 21-й век может стать веком сентиментальности? И как 20-й век искал себе провидческих сходств в эпохе барокко, с ее фантастическим изыском, драматическим напряжением и бьющей через край энергией, так 21-й обратится к сентиментальности, задумчивости, тихой медитации, тонкой меланхолии? Все громкое будет нас раздражать: взрывы гнева, взрывы хохота. Восстание масс, о котором пророчил Ортега-и-Гассет, подойдет к концу, а с ним завершится эстетика революции и карнавала. Люди станут вслушиваться в себя и, быть может, даже услышат голоса ангелов. Уголками носовых платков они станут отирать слезы невинных младенцев, но не станут из-за каждой детской слезинки восставать на Бога и менять порядок мироздания. Бердяев, как известно, пытался вывести коммунистическую революцию из повышенной сентиментальности русского народа, который, дескать, так чувствителен к чужому страданию, что готов весь несправедный мир сокрушить, лишь бы посочувствовать его жертвам. Вот и Белинский писал о своей неистовой любви к человечеству: «чтобы сделать счастливою часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную». Но революция — это не зрелая сентиментальность, а скорее, ее выкидыш, стремление избавиться от непосильной ноши чувства. Революция — нетерпение чувств, неумение прочувствовать до конца собственную жалость,— желание оборвать и притупить каждое чувство мгновенным практическим выходом из него.

Сентиментальность в этом смысле противоположна революционности, она обожает чувства сами по себе, как воспитание души и цель существования. Сентиментальность, собственно, и значит чувствительность. Но чувствительность 21-го века не будет прямым повторением чувствительности 18-го. Она не будет разделять мир на трогательное и ужасное, милое и отвратительное. Она вберет в себя множество противочувствий. Она возвратит себе все, что было отторгнуто от чувствительности и обращено против нее 19-м и 20-м веками,— кошмары, фантазмы, катастрофы, революции. Все, что притупляло чувства, будет их заострять. Чувствительность найдет способ улыбаться страшному и закономерному. Улыбка совсем не то, что пародия: это не отрешенность от чувств, а способ противочувствия. Чувствительность освободится от ходячих схем, от того плена, в котором еще держал ее классицизм, предписывавший правила самим чувствам. Можно будет чувствовать все и по-всякому, вживаться в чувственность каждого предмета и смешивать ее с чувствами от других предметов. Из наследия 18-го века будет больше всего цениться юмор, мягко окутывающий сантименты, и Стерн и Жан Поль станут любимцами 21-го века. И тогда — Бог знает — через Венедикта Ерофеева восстановится преемственность сентиментальной традиции, ведущей из 18-го века в 21-й. И Веничка вдруг найдет себе место на той же полке российской библиотеки, что и Лизанька, которая, бедная, бросилась в пруд — а он, бедный, напоролся на шило. «Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня не получилось»⁶⁴.

Во всяком случае, в 21-м веке наверняка същется немало уголков, в которых не найдется места подвигу, где читатель тихо склонится над Вениной книгой, и неверные ангелы прилетят к нему и будут беседовать с ним на Венином языке. И как бы ни назывался этот загадочный век, он будет еще и веком боязливости и деликатности, веком чувствительного похмелья.

Апрель 1992 г.

¹ В частности, известная теория Леви-Стросса рассматривает миф как инструмент опосредования фундаментальных противоречий (между жизнью и смертью, землею и небом, смехом и плачем и т. д.).

² Одно из важнейших свидетельств — подборка мемуарных материалов под общим заголовком «Несколько монологов о Венедикте Ерофееве» в журнале «Театр» (1991, № 9).

³ Так написал один из поэтов военного поколения о своих рано ушедших сверстниках. Впрочем, какое поколение у нас было не военным? Сражались с голубыми мушкетерами, с белыми погонами, с коричневыми рубашками и с черными берегами, с комиссарскими кожаными куртками и стляжкими узкими брюками, с лаптями, шляпами, котелками и мокасинами... С самодержавием и с крепостным правом, с крестьянством и интеллигенцией, с мещанством и аристократией, с литературой и религией, с обществом и с самими собой. В каждом поколении — своя война и свои жертвы, а значит, и свои мифы, все о недоживших: Пушкин, Лермонтов, Надсон, Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Высоцкий, Рубцов... Великие поэты и просто поэтические натуры, поэтические не столько стихами — судьбой, оборванной, как струна при исполнении жестокого романса.

Может быть, единственное исключение — Ахматова, но в ней миф читит особое, женское и материнское божество, которое умерло и воскресло, пройдя через революцию и великие переломы 30–40-х годов.

⁴ «Москва — Петушки».

⁵ Театр, 1991, № 9.

⁶ Воспоминания Лидии Любчиковой.— Театр, 1991, № 9.

⁷ Там же.

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ Как пишет Георгий Федотов, «русским юридическим не чужда была эффекация имморализма. Жития их целомудренно покрывают всю эту сторону их подвига стереотипной фразой: “Похаб ся творя”. ...Жизнь юридического является постоянным качанием между актами нравственного спасения и актами безнравственного глумления над ними» (Георгий Федотов. Святые Древние Руси. М.: Московский рабочий, 1990).

¹¹ «...Юродство есть притворное безумие или безнравственность с целью поношения от людей» (Федотов, с. 200). Ср. о Ерофееве: «Нет, никогда вокруг него не танцевали, наоборот, ему страшно любили говорить гадости, грубости. И часто воспринимали его со всех сторон, все время как-нибудь обижали» (Муравьев.— Театр, 1991).

¹² Из жития Василия Блаженного. См.: Федотов, с. 206. Ср. о Ерофееве: «Во всем совершенном и стремящемся к совершенству он подозревал бесчеловечность. Человеческое значило для него несовершенное...» (Ольга Седакова.— Театр, 1991).

¹³ С самого начала герой отброшен на периферию упорядоченного и освященного мира, для него мистически невозможно пребывание в центре. Первый абзац поэмы: «Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало — и ни разу не видел Кремля» («Москва — Петушки»).

¹⁴ Театр, 1991, № 9.

¹⁵ «Кошмар коммунистической эпохи был тем Горем, которое он переживал ежедневно» (там же).

¹⁶ Сочинение Эдуарда Лимонова. Впрочем, миф, создаваемый Эдичкой, надо отдать ему должное, к Веничке отношения почти не имеет, это, скорее, провинциальная, французско-днепропетровская версия мифа о сверхчеловеке, где бесстыдство героя возрастает с пропорцией его жалости к себе и восхищения собой, единственным. «Когда Ерофеев прочел кусок лимоновской прозы, он сказал: “Это нельзя читать: мне блевать нельзя”» (из воспоминаний Муравьева.— Театр, 1991 № 9).

¹⁷ «Москва — Петушки».

¹⁸ Воспоминания Любчиковой.— Театр, 1991, № 9.

¹⁹ Воспоминания Авдиева (там же). Или вот такая деталь: «Даже в самую жару, когда все уже и рубашки снимали, он оставался в пиджаке...» (Любчикова.— Там же). «Трудно представить Веню даже в непереносимую жару без пиджака...» (Авдиев.— Там же).

²⁰ «Москва — Петушки».

²¹ «Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что любил он больше всего кротость. Всякое проявление кротости его сражало» (Воспоминания Седаковой.— Театр, 1991, № 9). Вообще мемуаристки описали Веничку лучше, чем мемуаристы. Для последних главное в Вене было карнавал и писательство, а ведь именно карнавала и писательства, отдавая им дань, Веня внутренне избегал. Он, по выражению любимого им Розанова, был человеком «нежной идеи», каковую в нем лучше всего проищали женщины. «Горше всего вспоминать о нежности Бена. Она осталась невестребованной» (Любчикова.— Там же).

²² Рассказывая про Веню ненависть к героям и подвигам, О. Седакова вспоминает, что «чемпионом этой ненависти стала у него несчастная Зоя Космодемьянская» (Театр, 1991, № 9).

²³ *Венедикт Ерофеев*. Василий Розанов глазами эксцентрика.

²⁴ Веня эту диалектику прекрасно понимал, хотя в собственном его изложении синтетическая стадия представлена не вполне диалектически: «Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он делается буйным и радостным. А если он добавит еще семьсот?— будет ли он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел» («Москва — Петушки»).

²⁵ Веняно рассуждение, по воспоминаниям Игоря Авдиева (Театр, 1991, № 9). А вот и монолог самого Вени: «Никто в России не боится щекотки, я один только во всей России хохочу, когда меня щекочут. Я сам щекотал трех девок и с десятков мужичков — никто не отозвался ни ужимкой, ни смехом» («Василий Розанов...»).

²⁶ «Веничка любил хохотать и хохотал до слез. Хохотал, как девица, сгибая пах в поддых, локтями обхватывая пуп» (Игорь Авдиев.— Театр, 1991, № 9).

²⁷ «Москва — Петушки».

²⁸ Театр, 1991, № 9.

²⁹ «Москва — Петушки».

³⁰ Авдиев (Театр, 1991, № 9).

³¹ «Москва — Петушки».

³² Сам же Веня его и обозначил: «Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность... Самоограничение, что ли? есть такая заповеданность стыда... Я знаю многие замыслы Бога, но для чего он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не знаю» («Москва — Петушки»).

³³ Седакова (Театр, 1991, № 9).

³⁴ «С тех пор, как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну, ладно, по большой нужде еще ладно! Но ведь ни разу даже по малой... даже по малой!»... Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы их облегчить» («Москва — Петушки»).

³⁵ Седакова (Театр, 1991, № 9).

³⁶ «Москва — Петушки».

³⁷ «Ребенка своего Венедикт называл “Младенцем” — так это и повелось» (из воспоминаний Лидии Любчиковой — Театр, 1991, № 9).

³⁸ В его «игровом» предисловии к поэме «Москва — Петушки». Противопирионией здесь названо нечто, уже бывшее до Ерофеева у Козьмы Пруткова, А. К. Толстого, позднего Щедрина и Игоря Северянина: «это она самая, бывшая российская ирония, перекошенная на всероссийский, так сказать, абсурд... Перекосившись, она начисто лишается гражданского пафоса и правоверного обличительства»

(«Москва — Петушки»). Определение, может быть, и не совсем ясное, но термин и без него вполне ясен.

³⁹ «Москва — Петушки».

⁴⁰ Цит. по журналу «Театр» (1991, № 9).

⁴¹ «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» («Москва — Петушки»).

⁴² «Москва — Петушки». «Если бы меня спросили — в какое время Вене было бы уютно, я бы, подумав, ответил: в конце восемнадцатого века! ...Вене Карамзин, Фонвизин или Державин — такие родные!» (Авдиев, Театр, № 9).

⁴³ Михаил Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература, 1965.

⁴⁴ Галина Ерофеева (Театр, 1991, № 9).

⁴⁵ Седакова (Там же).

⁴⁶ «Василий Розанов...».

⁴⁷ «Москва — Петушки».

⁴⁸ М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле. Таким образом, — подытоживает ученый — нарицательное имя «пантагрюэль» «связано со ртом, с горлом, с выпивкой, с болезнью, то есть с весьма характерным гротескным комплексом» (там же).

⁴⁹ Эта оценка приводится в статье Андрея Зорина «Опознавательный знак»: «Поэт О. Чухонцев, общавшийся с Михаилом Михайловичем в последние годы его жизни, рассказал мне, что великий ученый с восхищением принял ерофеевскую поэму и даже сравнивал ее с «Мертвыми душами». Бахтина, однако, решительно не устраивал финал «Москва — Петушки», в котором он видел «энтропию» (Театр, 1991, № 9).

⁵⁰ Отношение Вени к тому, что считалось тогда карнавализацией литературы, видно в его оценке «Мастера и Маргариты». «Булгакова на дух не принимал, «Мастера и Маргариту» ненавидел так, что его трясло. Многие писали, что у него есть связи с этой книгой, а сам он говорил: «...Да я не читал «Мастера», я дальше 15-й страницы не мог прочесть!» (Муравьев.— Там же).

⁵¹ Там же.

⁵² Труда, подвига и вообще всех форм торопливости. «Средь народного шума и спеха...» — начало стихотворения О. Мандельштама (1937).

⁵³ Вот только поэтические образы грядущей энтропии, характерные для конца 19-го — начала 20-го века: «Все понял я: земля давно остыла и вымерла...» (А. Фет); «Мир опустел... Земля остыла...»

⁵⁴ 2-е Послание Петра, 3, 5–7, 12.

⁵⁵ О лежании смотри в воспоминаниях Любчиковой и Авдиева (Театр, 1991, № 9). О тапочках — у Любчиковой (там же). Вения всюду в тапочках, а вот халата у него, пожалуй, нету. «...Я и дома без шлафрока; я и на улице в тапочках...» («Москва — Петушки»).

⁵⁶ Театр, 1991, № 9.

⁵⁷ «Акценты лежат на тех частях тела, где оно либо открыто для внешнего мира, то есть где мир входит в тело или выпирает из него, либо оно само выпирает в мир, то есть на отверстиях, на выпуклостях, на всяких ответвлениях и отростках: разинув рот, детородный орган, груди, фалл, толстый живот, нос» (М. М. Бахтин. Цит. соч.).

⁵⁸ Там же.

⁵⁹ «Низкая алчность была движущей силой цивилизации с ее первого до сегодняшнего дня; богатство не общества, а вот этого отдельного жалкого индивида было ее единственной определяющей целью. Если при этом в недрах общества все более развивалась наука и повторялись периоды высшего расцвета искусства, то только потому, что без этого невозможны были бы все достижения нашего времени в области накопления богатства» (Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства.— Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21). По логике Энгельса, алчность была «низкой», пока служила интересам отдельных жалких индивидов, но в будущем она должна работать на благосостояние всего общества.

⁶⁰ М. М. Бахтин. Цит. соч..

⁶¹ Там же.

⁶² «Москва — Петушки».

⁶³ «Москва — Петушки».

⁶⁴ «Василий Розанов...».

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

В. ЕРОФЕЕВ

Ерофеев Венедикт Васильевич. Родился 24. 10. 1938 г. на Кольском полуострове за Полярным крутом. Впервые в жизни перешел Полярный круг (с севера на юг, разумеется), когда по окончании школы с отличием на 17-ом году жизни, поехал в столицу ради поступления в Московский университет. Поступил, но через полтора года был отчислен за нехождение на занятия по военной подготовке. С тех пор, то есть с марта 1957 г. работал в разных качествах и почти повсеместно: грузчиком продовольственного магазина (Коломна), подсобником каменщика на строительстве Черемушек (Москва), истопником-кочегаром (Владимир), дежурным отделения милиции (Орехово-Зуево), приемщиком винной посуды (Москва), бурильщиком в геологической партии (Украина), стрелком военизированной охраны (Москва), библиотекарем (Брянск), коллектором в геофизической экспедиции (Заполярье), заведующим цементным складом на строительстве шоссе Москва – Пекин (Дзержинск Горьковской области) и многое другое. Самой длительной, однако, оказалась служба в системе связи: монтажник кабельных линий связи (Тамбов, Мичуринск, Елец, Орел, Липецк, Смоленск, Литва, Белоруссия – от Гомеля до Полоцка через Могилев и прочее и прочее). Почти 10 лет в системе связи. А единственной работой, которая пришлось по сердцу, была в 1974 г. в Голодной степи (Узбекистан, Янгйер), работа в качестве «лаборанта паразитологической экспедиции», и в Таджикистане в должности «лаборанта ВНИИДиС по борьбе с окрыленным кровососущим гнусом». С 1966 г. – отец. С 1988 г. – дед (внучка Настасья Ерофеева).

Писать, по свидетельству матери, начал с 5 лет. Первым, заслуживающим внимания, сочинением считаются «Заметки психопата» (1956–1958 гг.), начатые в 17-летнем возрасте,

самое объемное и самое нелепое из написанного. В 1962 г. – «Благая весть», которую знатоки в столице расценили как вздорную попытку дать Евангелие русского экзистенциализма и «Ницше, наизнанку вывернутого». В начале 60-х годов написано несколько статей о земляках-норвежцах (одна о Гамсуне, одна о Бьернсоне, две о поздних драмах Ибсена), все были отвергнуты редакцией «Ученых записок ВГПИ», как ужасающие в методологическом отношении. Осенью 69 г. добрался, наконец, до собственной манеры письма и зимой 70 г. нахрапом создал «Москва – Петушки» (с 19 января до 6 марта 1970 г.). В 1972 г. за «Петушки» последовал «Дмитрий Шостакович», черновая рукопись которого была потеряна однако, а все попытки восстановить ее не увенчались ничем. В последующие годы все написанное складывалось в стол, в десятки тетрадей и толстых записных книжек, если не считать написанного под давлением журнала «Вече» развязного эссе о Василии Розанове и «Маленькой ленинианы». Весной 1985 г. была написана трагедия в 5-ти актах «Вальпургиева ночь, или шаги Командора». Начавшаяся летом этого же года болезнь (рак горла) надолго оттянула срок осуществления замысла двух других трагедий. Единственная на конец марта публикация в России: «Москва – Петушки» в слишком сокращенном виде в журнале «Трезвость и культура», № 12 за 1988 г., № 1, № 2, № 3 за 1989 г.

ПОЭМА



УВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА

Первое издание «Москва – Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получал с тех пор много нареканий за главу «Серп и Молот – Карачарово», и совершенно напрасно. Во вступлении к первому изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и Молот – Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой «И немедленно выпил» следует полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы «И немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу «Серп и Молот – Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «И немедленно выпил». По этой причине я счел необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и Молот – Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены.

МОСКВА-ПЕТУШКИ

п о э м а

Вадиму Тихонову
Могму любимому первенцу
посвящает автор
эти трагические листы

Москва. На пути к Курскому вокзалу

Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышу про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмельюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало — и ни разу не видел Кремля.

Вот и вчера опять не увидел,— а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так чтобы очень пьян был: я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего декохта люди ничего лучшего еще не придумали.

Так. Стакан зубровки. А потом — на Каляевской — другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровой. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мною почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели, но я согласен, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской, я добавил еще две кружки жигулевского пива и из горлышка альб-де-десерт.

Вы, конечно, спросите: а дальше, Веничка, а дальше — что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню — на улице Чехова я выпил два стакана охотничьей. Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог. Значит, я еще чего-то пил.

А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так, когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, и надо было идти на Курский вокзал, а не в центр, а я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть: все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал.

Обидно мне теперь почти до слез. Не потому, конечно, обидно, что к Курскому вокзалу я так вчера и не вышел. (Это чепуха: не вышел вчера — выйду сегодня). И уж, конечно, не потому, что проснулся утром в чем-то неведомом подьезде

(оказывается, сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую, прижал к сердцу чемоданчик — и так и уснул). Нет, не потому мне обидно. Обидно вот почему: я только что подсчитал, что с улицы Чехова и до этого подъезда я выпил еще на шесть рублей — а что и где я пил? и в какой последовательности? во благо ли себе я пил или во зло? Никто этого не знает, и никогда теперь не узнает. Не знаем же мы вот до сих пор: царь Борис убил царевича Димитрия или наоборот?

Что это за подъезд? я до сих пор не имею понятия; но так и надо. Все так. Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Я вышел на воздух, когда уже рассвело. Все знают — все, кто в беспамятстве попадал в подъезд, а на рассвете выходил из него,— все знают, какую тяжесть в сердце пронес я по этим сорока ступеням чужого подъезда и какую тяжесть вынес на воздух.

Ничего, ничего,— сказал я сам себе,— ничего. Вот — аптека, видишь? А вон — этот пидор в коричневой куртке скребет тротуар. Это ты тоже видишь. Ну вот и успокойся. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо — иди направо.

Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода и от горя, да, от холода и от горя. О, эта утренняя ноша в сердце! О, иллюзорность бедствия. О, непоправимость! Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще никто не назвал по имени? Чего в ней больше: паралича или тошноты? Истощения нервов или смертной тоски где-то неподалеку от сердца? А если всего поровну, то в этом во всем чего же все-таки больше: столбняка или лихорадки?

Ничего, ничего,— сказал я сам себе,— закройся от ветра и потихоньку иди. И дыши так редко, редко. Так дыши, чтобы ноги за коленки не задевали. И куда-нибудь да иди. Все равно куда. Если даже ты пойдешь налево — попадешь на Курский вокзал; если прямо — все равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уже наверняка туда попасть.— О, тщета!

О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов! Иди, Веничка, иди.

Москва. Площадь Курского вокзала

Ну вот, я же знал, что говорил: пойдешь направо — обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих прогулках, Веничка, захотел ты суеты — вот и получай свою суету...

— Да брось ты,— отмахнулся я от себя,— разве суета мне твоя нужна? Люди разве твои нужны? Вот ведь Искупитель даже, и даже Маме своей родной, и то говорил: «Что мне до тебя?» А уж тем более мне — что мне до этих суетящихся и постылых?

Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило...

— Конечно, Веничка, конечно,— кто-то запел в высоте так тихо, так ласково-ласково,— *зажмурься, чтобы не так тошнило.* О! Узнаю! Это опять они! Ангелы Господни! Это вы опять?

— Ну, конечно, мы,— и опять так ласково!..

— А знаете что, ангелы?— спросил я тоже тихо-тихо.

— Что?— ответили ангелы.

— Тяжело мне...

— Да, мы знаем, что тяжело,— пропели ангелы.— *А ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького сразу дадут...*

— Красненького?

— Красненького,— нараспев повторили ангелы Господни.

— Холодненького?

— Холодненького, конечно...

О, как я стал взволнован!..

— Вы говорите: походи, походи, легче будет. Да ведь и ходить-то не хочется... Вы же сами знаете, каково в моем состоянии — ходить!..

Помолчали на это ангелы. А потом опять запели:

— *А ты вот чего: ты зайди в ресторан вокзальный. Может, там чего и есть. Там вчера вечером херес был. Не могли же выпить за вечер весь херес!..*

— Да, да, да. Я пойду. Я сейчас пойду, узнаю. Спасибо вам, ангелы.

И они так тихо-тихо пропели:

— *На здоровье, Веня...*

А потом так ласково-ласково:

— *Не стоит...*

Какие они милые!.. Ну что ж... Идти так идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил,— не ехать же в Петушки без гостинцев. В Петушки без гостинцев никак нельзя. Это

ангелы мне напомнили о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил... А когда ты их вчера купил? вспомни... иди и вспоминай...

Я пошел через площадь – вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался и застывал на месте – чтобы унять в себе дурноту. Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в нем и духовная сторона есть, и есть – больше того – есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня, посреди площади, начнет тошнить со всех трех сторон. И опять останавливался, и опять застывал.

– Так когда же вчера ты купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет, после охотничьей мне было не до гостинцев? Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в тридцать секунд, а я не сверхчеловек, чтобы в тридцать секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго... Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире тайн! Непроницаемая завеса тайн! До кориандровой или между пивом и альб-де-дессертом?

Москва. Ресторан Курского вокзала

Нет, только не между пивом и альб-де-дессертом, там уж решительно не было никакой паузы. А вот до кориандровой – это очень может быть. Скорее даже так: орехи я купил до кориандровой, а уж конфеты – после. А может быть и наоборот: выпив кориандровой, я...

– Спиртного ничего нет, – сказал вышибала. И оглядел меня всего, как дохлую птичку или грязный лютик.

Нет ничего спиртного!

Я, хоть и сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли зачем я пришел? Может быть, экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот я сюда пришел: съесть бефстроганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из «Цирюльника».

Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде, прижал его к сердцу в ожидании заказа.

Нет ничего спиртного! Царица небесная! Ведь если верить ангелам, здесь не переводится херес. А теперь – только музыка, да и музыка-то с какими-то песыми модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поет, я сразу узнал, мерзее этого

голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкие у каждого по-своему. Я потому их легко на слух различаю... Ну, конечно, Иван Козловский... «О-о-о, чаша моих прэ-э-эдков... О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-о-озд ночных»... Ну, конечно, Иван Козловский... «О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован... Не отверга-ай»...

— Будете что-нибудь заказывать?

— А у вас чего — только музыка?

— Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пирожное, вымя...

Опять подступила тошнота.

— А херес?

— А хересу нет.

— Интересно. Вымя есть, а хересу нет!

— Оччень интересно. Да. Хересу нет. А вымя есть.

И меня оставили. Я, чтобы не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой.

Хорошая люстра. Но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову — будет страшно больно... Да нет, наверно, даже и не больно: пока она срывается и летит, ты сидишь и, ничего не подозревая, пьешь, например, херес. А как она до тебя долетела — тебя уже нет в живых. Тяжелая это мысль: ...ты сидишь, а на тебя сверху люстра. Очень тяжелая мысль...

Да нет, почему тяжелая?.. Если ты, положим, пьешь херес, если ты сидишь с перепоею и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе на голову люстра — вот это уж тяжело... Очень гнетущая это мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепоею...

А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое: мы тебе, мол, принесем сейчас 800 граммов хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и...

— Ну, как, надумали? Будете брать что-нибудь?

— Хересу, пожалуйста. 800 граммов.

— Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком, нет у нас хереса!

— Ну... я подожду... когда будет...

— Жди-жди... Дождешься!.. Будет тебе сейчас херес!

И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отвращением. В особенности на белые чулки безо всякого шва; шов бы меня смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть...

Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь, подчеркнуто грубы в те самые мгновения, когда нельзя быть грубым, когда у человека с похмелья все нервы навывпуск, когда он малодушен и тих! Почему так?! О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом — как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости!— всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигу. «Всеобщее малодушие»— да ведь это спасение ото всех бед, это панацея, это предикат величайшего совершенства! А что касается деятельного склада натуры...

— Кому здесь херес?!

Надо мной — две женщины и один мужчина, все трое в белом. Я поднял глаза на них — о, сколько, должно быть, в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности, я это понял по ним, по их глазам, потому что и в их глазах отразилась эта смутность и это безобразие... Я сник и растерял душу.

— Да ведь я... почти и не прошу. Ну и пусть, что хересу нет, я подожду... я так...

— Это как то есть «так»!.. Чего это вы «подождете»?!

— Да почти ничего... Я ведь просто еду в Петушки к любимой девушке (ха-ха! «к любимой девушке!») — гостинцев купил...

Они, палачи, ждали, что я еще скажу.

— Я ведь... из Сибири, я сирота... А просто, чтобы не так тошнило... хересу хочу.

Зря я это опять про херес, зря! Он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки и через весь зал — о, боль такого позора! — через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик с гостинцами; тоже — вытолкнули.

Опять на воздух. О, пустопорожность! О, звериный оскал быгтя!

Москва. К поезду через магазин

Что было потом — от ресторана до магазина и от магазина до поезда — человеческий язык не повернется выразить. Я тоже не берусь. А если за это возьмутся ангелы — они просто расплачутся, а сказать от слез ничего не сумеют.

Давайте лучше так — давайте почтим минутой молчания два этих смертных часа. Помни, Веничка, об этих часах. В самые восторженные, в самые искрометные дни своей жизни — помни о них. В минуты блаженства и упоений — не забывай о них. Это не должно повториться. Я обращаюсь ко всем родным и близким, ко всем людям доброй воли, я обращаюсь ко всем, чье сердце открыто для поэзии и сострадания.

Оставьте ваши занятия. Остановитесь вместе со мной, и почтим минутой молчания то, что невыразимо. Если есть у вас под рукой какой-нибудь завалящий гудок — нажмите на этот гудок.

Так. Я тоже останавливаюсь... Ровно минуту, мутно глядя в вокзальные часы, я стою как столб посреди площади Курского вокзала. Волосы мои развеваются на ветру, то дыбом встают, то развеваются снова. Такси обтекают меня со всех четырех сторон. Люди — тоже, и смотрят так дико: думают, наверное, — изваять его вот так, в назидание народам древности, или не изваять?

И нарушает эту тишину лишь сильный женский бас, льющий из ниоткуда.

— Внимание! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино.

А я продолжаю стоять.

— Повторяю! В 8 часов 16 минут из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная. Далее — по всем пунктам, кроме Есино.

Ну, вот и все. Минута истекла. Теперь вы все, конечно, набрасываетесь на меня с вопросами: «Ведь ты из магазина, Веничка?»

— Да, — говорю я вам, — из магазина. — А сам продолжаю идти в направлении перрона, склонив голову влево.

— Твой чемоданчик теперь тяжелый? Да? А в сердце поет свирель? Ведь правда?

— Ну, это как сказать! — говорю я, склонив голову вправо. — Чемоданчик, точно, очень тяжелый. А насчет свирели говорить еще рано...

— Так что же, Веничка, что же ты все-таки купил? Нам страшно интересно!

— Да ведь я понимаю, что интересно. Сейчас, сейчас перечислю: во-первых, две бутылки кубанской по два шестьдесят каждая, итого пять двадцать четыре. Дальше: две четвертинки российской, по руль шестьдесят четыре плюс три двадцать восемь. Восемь рублей пятьдесят две копейки. И еще какое-то красное. Сейчас вспомню. Да — розовое крепкое за руль тридцать семь.

— Так-так-так,— говорите вы,— а общий итог? Ведь все это страшно интересно...

— Сейчас я вам скажу общий итог...

— Общий итог девять рублей восемьдесят девять копеек,— говорю я, вступив на перрон.— Но ведь это не совсем общий итог. Я ведь купил еще два бутерброда, чтобы не сблевать.

— Ты хотел сказать, Веничка, «чтобы не стошнило»?

Нет, что я сказал, то сказал. Первую дозу я не могу без закуски, потому что могу сблевать. А вот уж вторую и третью могу пить всухую, потому что стошнить, может, и стошнит, но уже ни за что не сблую. И так — впласть до девятой. А там опять понадобится бутерброд.

— Зачем? Опять стошнит?

— Да нет, стошнить-то уж ни за что не стошнит, а вот сблевать — сблую.

Вы все, конечно, на это качаете головами. Я даже вижу — отсюда, с мокрого перрона,— как вы все, рассеянные по моей земле, качаете головами и беретесь иронизировать:

— Как это сложно, Веничка, как это тонко!

— Еще бы!

— Какая четкость мышления! И это — все? И это — все, что тебе нужно, чтобы быть счастливым? И больше — ничего?

— Ну как, то есть, — ничего?— говорю я, входя в вагон.— Было бы у меня побольше денег, я взял бы еще пива и пару портвейнов, но ведь...

Тут уж вы совсем принимаетесь стонать.

— О-о-о, Веничка! О-о-о, примитив!

Ну, так что же? Пусть примитив, говорю. И на этом перестаю с вами разговаривать. «Пусть примитив»! А на вопросы ваши я больше не отвечаю. Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть. Вот так. «Пусть примитив»!

А вы все пристааете:

— Ты чего? Обиделся?

— Да нет,— отвечаю.

— Ты не обижайся, мы тебе добра хотим. Только зачем ты, дурак, все к сердцу чемодан прижимаешь? Потому что водка там, что ли?

Тут уж я совсем обижаюсь: да при чем тут водка?

— Граждане пассажиры, наш поезд следует до станции Петушки. Остановки: Серп и Молот, Чухлинка, Реутово, Железнодорожная, далее по всем пунктам, кроме Есино.

В самом деле, при чем тут водка? Я вижу, вы ни о чем не можете говорить кроме водки. Далась вам эта водка! Да я и в ресторане, если хотите, прижимал его к сердцу, а водки там еще не было. И в подъезде, если помните,— тоже прижимал, а водкой там еще и не пахло!.. Если уж вы хотите все знать,— я вам все расскажу, погодите только. Вот похмелюсь на Серпе и Молоте, и

Москва – Серп и Молот

и тогда все, все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю!

Ну, конечно, все они считают меня дурным человеком. По утрам и с перепоею я сам о себе такого же мнения. Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться! Зато по вечерам — какие во мне бездны!— если, конечно, хорошо набраться за день,— какие бездны во мне по вечерам!

Но — пусть. Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий — он очень дурной, этот человек. Утром плохо, вечером хорошо — верный признак дурного человека. Вот уж если наоборот — если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение — это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю как вам, а мне гадок.

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и восходу они рады, и закату тоже рады,— так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно и утром, и вечером — тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченный подонок и мудазвон. Потому что магазины у нас работают до девяти, а Елисейевский — тот даже до одиннадцати, и если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустишной бездны...

Итак, что же я имею?

Я вынул из чемоданчика все, что имею, и все ощупал: от бутерброда до розового крепкого за руль тридцать семь. Ощупал — и вдруг затомился и поблек. Господь, вот ты видишь, чем я обладаю? Но разве это мне нужно? Разве по этому у тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, по чему тоскует душа! А если б они мне дали того, разве нуждался бы я в этом? Смотри, Господь, вот: розовое крепкое за руль тридцать семь...

И, весь в синих молниях, Господь мне ответил:

— А для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей желанны.

— Вот-вот!— отвечал я в восторге.— Вот и мне, и мне тоже — желанно мне это, но ничуть не нужно!

— Ну, раз желанно, Веничка, так и пей,— тихо подумал я, но все медлил. Скажет мне Господь еще что-нибудь или не скажет?

Господь молчал.

Ну, хорошо. Я взял четвертинку и вышел в тамбур. Так. Мой дух томился в заточении четыре с половиной часа, теперь я выпущу его погулять. Есть стакан и есть бутерброд, ч т о б ы н е с т о ш н и л о. И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатлений бытия. Раздели со мной трапезу, Господи!

Серп и Молот – Карачарово

И немедленно выпил.

Карачарово – Чухлинка

А выпив — сами видите, как долго я морщился и сдерживал тошноту, сколько чертыхался и сквернословил. Не то пять минут, не то семь минут, не то целую вечность — так и метался в четырех стенах, ухватив себя за горло, и умолял Бога моего не обижать меня.

И до самого Карачарова, от Серпа и Молота до Карачарова, мой Бог не мог расслышать мою мольбу,— выпитый стакан то клубился где-то между чревом и пищеводом, то взметывался вверх, то снова опадал. Это было как Везувий, Геркуланум и Помпея, как первомайский салют в столице моей страны. И я страдал и молился.

И вот только у Карачарова мой Бог расслышал и внял. Все улеглось и притихло. А уж если у меня что-нибудь притихнет и уляжется, так это бесповоротно. Будьте уверены. Я уважаю природу, было бы некрасиво возвращать природе ее дары... Да.

Я кое-как пригладил волосы и вернулся в вагон. Публика посмотрела в меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами...

Мне это нравится. Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и все покупается: ...глубоко спрятанные, пригнанные, хищные и перепуганные глаза... Коррупция, девальвация, безработица, пауперизм... Смотрят исподлобья с неутраченной заботой и мукой — вот какие глаза в мире Чистогана...

Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навькате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса...

Мне нравится мой народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами этих глаз. Плохо только вот что: вдруг да они заметили, что я сейчас там на площадке выдывал?.. Кувыркнулся из угла в угол, как великий трагик Федор Шляпин, с рукою на горле, как будто меня что душило?

Ну да впрочем, пусть. Если кто и видел — пусть. Может, я там что репетировал? Да... В самом деле. Может, я играл в бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям: я себе нашептал про себя, — о, такое нашептал! — и вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя, — я принялся себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?

Вон — справа, у окошка — сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверковом пальто. И пожалуйста — никого не стыдятся, наливают и пьют. Не выбегают в тамбур и не заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крикнет и говорит: «А! Хорошо пошла, курва!» А умный-умный выпьет и говорит: «Транс-цен-ден-тально!» И таким праздничным голосом! Тупой-тупой закусывает и говорит «Заку-уска у нас сегодня — блеск! Закуска типа “я вас умоляю!”». А умный-умный жует и говорит: «Да-а-а... Транс-цен-ден-тально!..»

Поразительно! Я вошел в вагон и сижу, страдаю от мысли, за кого меня приняли — мавра или не мавра? плохо обо мне подумали, хорошо ли? А эти — пьют горячо и открыто, как венцы творения, пьют с сознанием собственного превосходства над миром... «Закуска типа “я вас умоляю”!»... Я, похмеляясь утром, прячусь от неба и земли, потому что это интимнее всякой интимности!.. До работы пью — прячусь. Во время работы пью — прячусь... а эти!! «Транс-цен-ден-тально!»

Мне очень вредит моя деликатность, она исковеркала мне мою юность. Мое детство и отрочество... Скорее так: скорее это не деликатность, а просто я безгранично расширил сферу интимного — сколько раз это губило меня...

Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет десять тому назад я поселился в Орехово-Зуеве. К тому времени, как я поселился, в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: «Ребята, я хочу пить портвейн». А все говорили: «Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн». Если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво.

Прекрасно. Но вдруг я стал замечать, что эти четверо как-то отстраняют меня от себя, как-то шепчутся, на меня глядя, как-то смотрят за мной, если я куда пойду. Странно мне было это и даже чуть тревожно... И на их физиономиях я читал ту же озабоченность и будто даже страх... «В чем дело? — терзался я. — Отчего это так?»

И вот наступил вечер, когда я понял, в чем дело и отчего это так. Я, помнится, в этот день даже и не вставал с постели: я выпил пива и затосковал. Просто: лежал и тосковал.

И вижу: все четверо потихоньку меня обсаживают — двое сели на стулья у изголовья, а двое в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну... Не иначе, как что-то случилось.

— Послушай-ка, — сказали они, — Ты это брось.

— Что «брось»?.. — я изумился и чуть привстал.

— Брось считать, что ты выше других... что мы мелкая сошка, а ты Каин и Манфред!..

— Да с чего вы взяли!..

— А вот с того и взяли. Ты пиво сегодня пил?

Чухлинка – Кусково

– Пил.

– Много пил?

– Много.

– Ну так вставай и иди.

– Да куда «иди»?

– Будто не знаешь! Получается так – мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред...

– Позвольте,— говорю,— я этого не утверждал...

– Нет, утверждал. Как ты поселился к нам – ты каждый день это утверждаешь. Не словом, но делом. Даже не делом, а отсутствием этого дела. Ты негативно это утверждаешь...

– Да какого «дела»? Каким «отсутствием»?— я уж от изумления совсем глаза распахнул...

– Да известно какого дела. До ветру ты не ходишь – вот что. Мы сразу почувствовали: что-то неладно. С тех пор как ты поселился, мы никто ни разу не видели, чтобы ты в туалет пошел. Ну, ладно, по большой нужде еще ладно! Но ведь ни разу даже по малой... даже по малой!

И все это было сказано без улыбки, тоном до смерти оскорбленным.

– Нет, ребята, вы меня неправильно поняли...

– Нет, мы тебя правильно поняли...

– Да нет же, не поняли. Не могу же я, как вы, встать с постели, сказать во всеулышание: «Ну, ребята, я срать пошел!» или «Ну, ребята, я ссать пошел!» Не могу же я так...

– Да почему же ты не можешь! Мы – можем, а ты – не можешь! Выходит, ты лучше нас! Мы грязные животные, а ты, как лелея!..

– Да нет же... Как бы это вам объяснить...

– Нам нечего объяснять... нам все ясно.

– Да вы послушайте... поймите же... в этом мире есть вещи...

– Мы не хуже тебя знаем, какие есть вещи, а каких вещей нет...

И я никак не мог их ни в чем убедить. Они своими утрюмыми взглядами пронзали мне душу... Я начинал сдаваться...

– Ну, конечно, я тоже могу... я тоже мог бы...

– Вот-вот. Значит, ты – можешь, как мы. А мы, как ты, – не можем. Ты, конечно, все можешь, а мы ничего не можем. Ты Манфред, ты Каин, а мы как плевки у тебя под ногами...

— Да нет, нет,— тут уж я совсем запутался.— В этом мире есть вещи... есть такие сферы... нельзя же так просто: встать и пойти. Потому что самоограничение, что ли?.. есть такая заповеданность стыда, со времен Ивана Тургенева... и потом — клятва на Воробьевых горах... И после этого встать и сказать: «Ну, ребята...» Как-то оскорбительно... Ведь если у кого щепетильное сердце...

Они, все четверо, глядели на меня уничтожающе. Я пожал плечами и безнадежно затих.

— Ты это брось про Ивана Тургенева. Говори, да не заговаривайся, сами читали. А ты лучше вот что скажи: ты пиво сегодня пил?

— Пил.

— Сколько кружек?

— Две больших и одну маленькую.

— Ну так вставай и иди. Чтобы мы все видели, что ты пошел. Не унижай нас и не мучь. Вставай и иди.

Ну что ж, я встал и пошел. Не для того, чтобы облегчить себя. Для того, чтобы их облегчить. А когда вернулся, один из них мне сказал: «С такими позорными взглядами ты вечно будешь одиноким и несчастным».

Да. И он был совершенно прав. Я знаю многие замыслы Бога, но для чего он вложил в меня столько целомудрия, я до сих пор так и не знаю. А это целомудрие — самое смешное — это целомудрие толковалось так навыворот, что мне отказывали даже в самой элементарной воспитанности.

Например, в Павлово-Посаде. Меня подводят к дамам и представляют так:

— А вот это тот самый, знаменитый Веничка Ерофеев. Он знаменит очень многим. Но больше всего, конечно, тем знаменит, что за свою жизнь ни разу не пукнул...

— Как!! Ни разу!!— удивляются дамы и во все глаза меня рассматривают.— Ни ра-зу!!

Я, конечно, начинаю конфузиться. Я не могу при дамах не конфузиться. Я говорю:

— Ну, как то есть ни разу! Иногда... все-таки...

— Как!!— еще больше удивляются дамы.— Ерофеев — и... странно подумать!.. «Иногда все-таки!»

Я от этого окончательно теряюсь, я говорю примерно так:

— Ну... а что в этом такого, я же... это ведь — пукнуть — это ведь так ноуменально... Ничего в этом феноменального нет — в том, чтобы пукнуть...

— Вы только подумайте!— обалдевают дамы.

А потом трезвонят по всей петушинской ветке: «Он все это делает вслух, и говорит, что это не плохо он делает! Что это он делает хорошо!»

Ну, вот видите. И так всю жизнь. Всю жизнь довлеет надо мной этот кошмар — кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет — «превратно» бы еще ничего!— но именно строго наоборот, то есть совершенно по-свински, то есть антиномично.

Я много мог бы рассказать по этому предмету, но если я буду рассказывать все — я растяну до самых Петушков. А лучше я не буду рассказывать все, а только один-единственный случай, потому что он самый свежий: о том, как неделю тому назад меня сняли с бригадирского поста за «внедрение порочной системы индивидуальных графиков». Все наше московское управление сотрясается от ужаса, стоит им вспомнить об этих графиках. А чего же тут ужасного, казалось бы!

Да! Где это мы сейчас едем?..

Кусково! Мы чешем без остановки через Кусково! По такому случаю следовало бы еще раз выпить, но я лучше сначала вам расскажу,

Кусково — Новогиреево

а потом уж пойду и выпью.

Итак, неделю тому назад меня скинули с бригадирства, а пять недель тому назад — назначили. За четыре недели, сами понимаете, крутых перемен не введешь, да я и не вводил никаких крутых перемен, а если кому показалось, что я вводил, так поперли меня все-таки за крутые перемены.

Дело началось проще. До меня наш производственный процесс выглядел следующим образом: с утра мы садились и играли в сику, на деньги (вы умеете играть в сику?). Так, потом вставали, разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю. А потом — известное дело: садились, и каждый по-своему убивал свой досуг, ведь все-таки у каждого своя мечта и свой темперамент: один — вермут пил, другой, кто попроще — одеколон «Свежесть», а кто с претензией — пил

коньяк в международном порту Шереметьево. И ложились спать.

А наутро так: сначала садились и пили вермут. Потом вставали и вчерашний кабель выгаскивали из-под земли и выбрасывали, потому, что он уже весь мокрый был, конечно. А потом — что же?— потом садились играть в сику, на деньги. Так и ложились спать, не доиграв.

Рано утром уже будили друг друга: «Леха! Вставай в сику играть!» «Стасик, вставай доигрывать вчерашнюю сику!» Вставали, доигрывали в сику. А потом — ни свет, ни заря, ни «Свежести» не попив, ни вермуту, хватали барабан с кабелем и начинали его разматывать, чтобы он завтра отмок и пришел в негодность. А потом — каждый за свой досуг, потому что у каждого свои идеалы. И так все сначала.

Став бригадиром, я упростил этот процесс до мыслимого предела. Теперь мы делали вот как: один день играли в сику, другой — пили вермут, на третий день опять в сику, на четвертый — опять вермут. А тот, кто с интеллектом,— тот и вовсе пропал в аэропорту Шереметьево: сидел и коньяк пил. Барабан мы, конечно, и пальцем не трогали,— да если бы я и предложил барабан тронуть, они все рассмеялись бы, как боги, а потом били бы меня кулаками по лицу, ну а потом разошлись бы: кто в сику играть, на деньги, кто вермут пить, а кто «Свежесть».

И до времени все шло превосходно: мы им туда раз в месяц посылали сообразительства, а они нам жалованье два раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю предстоящего столетия обязуемся покончить с производственным травматизмом. Или так: по случаю славного столетия добьемся того, чтобы каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и нас всего пятеро!

О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество! О, сладость неподотчетности! О, блаженнейшее время в жизни моего народа — время от открытия и до закрытия магазинов!

Отбросив стыд и дальние заботы, мы жили исключительно духовной жизнью. Я расширял им кругозор по мере сил, и им очень нравилось, когда я им его расширял: особенно во всем, что касается Израиля и арабов. Тут они были в совершенном восторге — в восторге от Израиля, в восторге от арабов, и от Голанских высот в особенности. А Абба Эбан и Моше Даян с языка у них не сходили. Приходят они утром с блядок, напри-

мер, и один у другого спрашивает: «Ну как? Нинка из 13-й комнаты даян эбан?» А тот отвечает с самодовольною усмешкою: «Куда же она, падла, денется? Конечно, даян!»

А потом (слушайте), а потом, когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать «Соловьиный сад», поэму Александра Блока. Там в центре поэмы, если, конечно, отбросить в сторону все эти благоуханные плеча и неозаренные туманы, и розовые башни в дымных ризах, там в центре поэмы лирический персонаж, уволенный с работы за пьянку, блядки и прогулы. Я сказал им: «Очень своевременная книга,— сказал,— вы прочтете ее с большой пользой для себя». Что ж? они прочли. Но вопреки всему, она на них сказала удручающе: во всех магазинах враз пропала вся «Свежесть». Непонятно почему, но сика была забыта, вермут был забыт, международный аэропорт Шереметьево был забыт,— и восторжествовала «Свежесть», все пили только «Свежесть».

О, беззаботность! О, птицы небесные, не собирающие в житницы! О, краше Соломона одетые полевые лилии!— Они выпили всю «Свежесть» от станции Долгопрудная до международного аэропорта Шереметьево!

И вот тут-то меня озарило: да ты просто бестолочь, Веничка, ты крутлый дурак; вспомни, ты читал у какого-то мудреца, что Господь Бог заботится только о судьбе принцев, предоставляя о судьбе народов заботиться принцам. А ведь ты бригадир и, стало быть, «маленький принц». Где же твоя забота о судьбе твоих народов? Да смотрел ли ты в души этих паразитов, в потемки душ этих паразитов? Диалектика сердца этих четверых мудаков — известна ли тебе? Если б была известна, тебе было б понятнее, что общего у «Соловьиного сада» со «Свежестью» и почему «Соловьиный сад» не сумел ужиться ни с сикой, ни с вермутом, тогда как с ними прекрасно уживались и Моше Даян и Абба Эбан!..

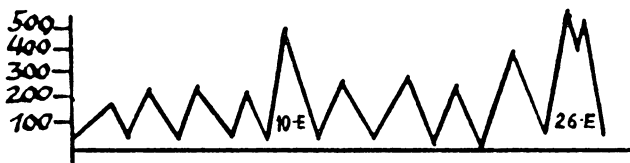
И вот тогда-то я ввел свои пресловутые «индивидуальные графики», за которые меня наконец и поперли...

Новогиреево – Реутово

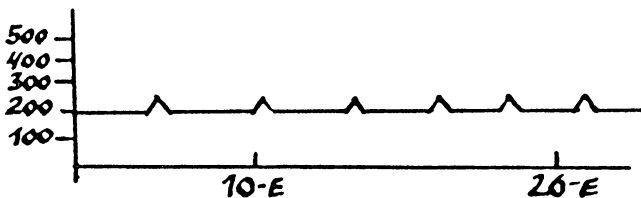
Сказать ли вам, что это были за графики? Ну, это очень просто: на веленовой бумаге, черной тушью, рисуются две оси — одна ось горизонтальная, другая вертикальная. На горизонтальной откладываются последовательно все рабочие дни истекшего

месяца, а на вертикальной – количество выпитых граммов, в пересчете на чистый алкоголь. Учитывалось, конечно, только выпитое на производстве и до него, поскольку выпитое вечером – величина для всех более или менее постоянная и для серьезного исследователя не может представить интереса.

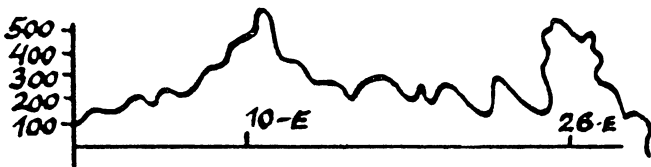
Итак, по истечении месяца рабочий подходит ко мне с отчетом: в такой-то день выпито того-то и столько-то, в другой – столько-то и того-то. А я, черной тушью и на веленовой бумаге, изображаю все это красивою диаграммою. Вот, полюбуйте, например, это линия комсомольца Виктора Тотошкина:



А это Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., потрепанный старый хрен:



А вот уж это – ваш покорный слуга, экс-бригадир монтажников ПТУСа, автор поэмы «Москва – Петушки»:



Ведь правда, интересные линии? Даже для самого поверхностного взгляда – интересные? У одного – Гималаи, Тироль,

бакинские промыслы или даже верх Кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел.

У другого — предрассветный бриз на реке Каме, тихий всплеск и бисер фонарной ряби. У третьего — биение гордого сердца, песня о буреви́стике и девятый вал. И все это — если видеть только внешнюю форму линий.

А тому, кто пытлив (ну вот мне, например), эти линии выбалтывали все, что только можно выболтать о человеке и о человеческом сердце: все его качества, от сексуальных до деловых, все его ущербы, деловые и сексуальные. И степень его уравновешенности, и способность к предательству, и все тайны подсознательного, если только были эти тайны.

Душу каждого мудака я теперь рассматривал со вниманием, пристально и в упор. Но не очень долго рассматривал: в один злосчастный день у меня со стола исчезли все мои диаграммы. Оказалось: эта старая шпала, Алексей Блиндяев, член КПСС с 1936 г., в тот день отсылал в управление наше новое соцобязательство, где все мы клялись по случаю предстоящего столетия быть в быгу такими же, как на производстве, — и, сдуру ли или спьяну, он в тот же конверт вложил и мои индивидуальные графики.

Я, как только заметил пропажу, выпил и схватился за голову. А там, в управлении, тоже — получили пакет, схватились за голову, выпили и в тот же день въехали на «москвиче» в расположение нашего участка. Что они обнаружили, вломившись к нам в контору? Они ничего не обнаружили, кроме Лехи и Стасика: Леха дремал на полу, свернувшись клубочком, а Стасик блевал. В четверть часа все было решено — моя звезда, вспыхнувшая на четыре недели, закатилась. Распятие свершилось — ровно через тридцать дней после вознесения. Один только месяц от моего Тулона до моей Елены. Короче, они меня разжаловали, а на место мое назначили Алексея Блиндяева, этого дряхлого придурка, члена КПСС с 1936 г. А он, тут же после назначения, проснулся на своем полу, попросил у них рупь — они ему рупь не дали. Стасик перестал блевать и тоже попросил рупь — они и ему не дали. Попили красного вина, сели в свой «москвич» и уехали обратно.

И вот — я торжественно объявляю: до конца моих дней не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу, и снизу плюю на всю вашу обще-

ственную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы — по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовской мордой без страха и упрека, пидором, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я — не такой.

Как бы то ни было — меня поперли. Меня, вдумчивого принца-аналитика, любовно перебирающего души своих людей, меня — снизу — сочли штрейкбрехером и коллаборационистом, а сверху — лоботрясом с неуравновешенной психикой. Низы не хотели меня видеть, а верхи не могли без смеха обо мне говорить. «Верхи не могли, а низы не хотели». Что это предвещает, знатоки истинной философии истории? Совершенно верно: в ближайший же аванс меня будут физдить по законам добра и красоты, а ближайший аванс — послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают.

— Ффффу!

— Кто сказал «Ффффу»? Это вы, ангелы, сказали «Ффффу!»?

— Да, это мы сказали. Ффффу, Веня, как ты ругаешься!!

— Да, как же, посудите сами, как не ругаться! Весь этот житейский вздор так надломил меня, что я с того самого дня не просыхаю. Я и до этого не сказать, чтобы очень просыхал, но во всяком случае я хоть запоминал, что я пью и в какой последовательности, а теперь и этого не могу упомнить... У меня все полосами, все в жизни как-то полосами: то не пью неделю подряд, то пью потом 40 дней, потом опять четыре дня не пью, а потом опять шесть месяцев пью без единого роздыха... Вот и теперь...

— Мы понимаем, мы все понимаем. Тебя оскорбили, и твое прекрасное сердце...

Да, да, в тот день мое сердце целых полчаса боролось с рассудком. Как в трагедиях Пьера Корнеля, поэта-лауреата: долг борется с сердечным влечением. Только у меня наоборот: сердечное влечение боролось с рассудком и долгом. Сердце мне говорило: «Тебя обидели, тебя сравнивали с говном. Поди, Веничка, и напейся. Встань и поди напейся как сука». Так говорило мое прекрасное сердце. А мой рассудок? Он брюзжал и упорствовал: «Ты не встанешь, Ерофеев, ты никуда не пойдешь и ни капли не выпьешь». А сердце на это: «Ну ладно, Веничка, ладно. Много пить не надо, не надо напиваться как сука: а вышей четыреста грамм и завязывай». «Никаких грамм! — отчеканивал рассудок. — Если уж без этого нельзя, поди и вышей три кружки пива; а о граммах своих, Ерофеев, и помнить забудь». А сердце заньло: «Ну хоть двести грамм. Ну...

Реутово – Никольское

ну хоть сто пятьдесят...» И тогда рассудок: «Ну, хорошо, Веня,— сказал,— хорошо, выпей сто пятьдесят, только никуда не ходи, сиди дома...»

Что же вы думаете? Я выпил сто пятьдесят и усидел дома? Ха-ха. Я с этого дня пил по тысяче пятьсот каждый день, чтобы усидеть дома, и все-таки не усидел. Потому что на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем, и оба в голос мне затвердили: «Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках — твое спасение и радость твоя, поезжай!».

«Петушки — это место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех — может, он и был — там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен...»

«Там каждую пятницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне меня встречает эта девушка с глазами белого цвета, белого, переходящего в белесый,— эта любимейшая из потаскух, эта белобрысая дьяволица. А сегодня пятница, и меньше чем через два часа будет ровно одиннадцать, и будет она, и будет вокзальный перрон, и этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда. Поезжайте со мной — о, вы такое увидите!...»

«Да и что я оставил — там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рапшил, аванс и накладные расходы,— вот что оставил! А что впереди? что в Петушках на перроне?— а на перроне рыжие ресницы, опущенные ниц, и кольхание форм, и коса от затылка до попы. А после перрона — зверобой и портвейн, блаженства и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до Петушков!»

«А там, за Петушками, где сливается небо и земля и волчица воеет на звезды,— там совсем другое, но то же самое: там в дымных и вшивых хоробах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву “ю” и за это ждет от меня орехов. Кому из вас в три года была знакома буква “ю”? Никому; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он — знает, и никакой за это награды не ждет, кроме стакана орехов».

— Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светел мой путь, да не преткнись о камень, да увижу город, по которому столько

томился. А пока – вы уж простите меня – пока присмотрите за моим чемоданчиком, я на десять минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва.

И вот – я снова встал и через половину вагона прошел на площадку.

И пил уже не так, как пил у Карачарова, нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову, как пианист, и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть.

Никольское – Салтыковская

– Не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков, – подумал я, делая тринадцатый глоток.

– Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если ее пить из горлышка, – омрачает душу, пусть не надолго, только до третьей дозы, выпитой из стакана, – но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать?

– Ну пусть. Пусть светел твой завтрашний день. Пусть твое завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы, чуть только ты заговоришь о радостях на петушинском перроне и после?

– Что ж они думают? Что меня там никто не встретит? или поезд повалится под откос? или в Купавне высадят контролеры? или где-нибудь у 105-го километра я задремлю от вина, и меня, сонного, удавят, как мальчика? или зарежут, как девочку? Почему же ангелы смущаются и молчат? Мое завтра светло. Да. Наше завтра светлее, чем наше вчера и наше сегодня. Но кто поручится, что наше послезавтра не будет хуже нашего позавчера?

– Вот-вот! Ты хорошо это, Веничка, сказал. Наше завтра и так далее. Очень складно и умно ты это сказал, ты это редко говоришь так складно и умно.

– И вообще, мозгов в тебе не очень много. Тебе ли, опять же, этого не знать? Смирись, Веничка, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, если у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Совесть и вкус – это уже так много, что мозги становятся прямо излишними.

– А когда ты в первый раз заметил, Веничка, что ты дурак?

– А вот когда. Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека: и в скучности, и в легкомыслии. Потому что

если человек умен и скучен, он не опустится до легкомыслия. А если он легкомыслен да умен — он скучным быть себе не позволит. А вот я, рохля, как-то сумел сочетать.

— И сказать почему? Потому что я болен душой, но не подаю и вида. Потому что с тех пор, как помню себя, я только и делаю, что симулирую душевное здоровье, каждый миг, и на это расходую все (все без остатка) и умственные, и физические, и какие угодно силы. Вот оттого и скушен... Все, о чем вы говорите, все, что повседневно вас занимает, — мне бесконечно посторонне. Да. А о том, что меня занимает, — об этом никогда и никому не скажу ни слова. Может, из боязни прослыть стебанутым, может еще отчего, но все-таки — ни слова.

— Помню, еще очень давно, когда при мне заводи́ли речь или спор о каком-нибудь вздоре, я говорил: «Э! И хочется вам толковать об этом вздоре!» А мне удивлялись и говорили: «Какой же это вздор? Если и это вздор, то что же тогда не вздор?» А я говорил: «О, не знаю, не знаю! Но есть».

— Я не утверждаю, что теперь — мне — истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее всего рассмотреть.

— И я смотрю и вижу, и поэтому скорбен. И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе это горчайшее месиво; из чего это месиво — сказать затруднительно, да вы все равно не поймете, но больше всего в нем «скорби» и «страха». Назовем хоть так. Вот: «скорби» и «страха» больше всего, и еще немоты. И каждый день с утра «мое прекрасное сердце» источает этот настой и купается в нем до вечера. У других, я знаю, у других это случается, если кто-нибудь вдруг умрет, если самое необходимое существо на свете вдруг умрет. Но у меня-то ведь это вечно! — хоть это-то поймите!

— Как же не быть мне скушным и как же не пить кубанскую. Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что «мировая скорбь» — не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям, говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим, знать, до какой степени мы хороши?

— К примеру: вы видели «Неутешное горе» Крамского? Ну конечно, видели. Так вот, если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярыни, какая-нибудь кошка уронила бы в эту минуту на пол что-нибудь такое, — ну, фиал из севрского фар-

фора,— или, положим, разорвала бы в клочки какой-нибудь пеньюар невысказанной цены,— что ж она? стала бы суматошиться и плескаться руками? Никогда бы не стала, потому что все это для нее вздор, потому что на день или на три, но теперь она «выше всяких пеньюаров и кошек и всякого севра»!

Ну, так как же? Скушна эта княгиня?— Она невозможно скушна и еще бы не была скушна! Она легкомысленна?— В высшей степени легкомысленна!

— Вот так и я. Теперь вы поняли, отчего я грустнее всех забулдыг? Отчего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма? Отчего я и дурак, и демон, и пустомеля разом?

— Вот и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание — весь этот остаток кубанской, из горлышка, и немедленно выпьем.

— Смотрите, как это делается!..

Салтыковская – Кучино

Остаток кубанской еще вздымался совсем недалеко от горла, и потому, когда мне сказали с небес:

— *Зачем ты все допил, Веня? Это слишком много...*

Я от удущья едва сумел ответить:

— Во всей земле... во всей земле, от самой Москвы и до самых Петушков — нет ничего такого, что было бы для меня слишком многим... И чего вам бояться за меня, небесные ангелы?

— *Мы боимся, что ты опять...*

— Что я опять начну выражаться? О, нет, нет, я просто не знал, что вы постоянно со мной, я и раньше не стал бы... Я с каждой минутой все счастливей... и если теперь начну сквернословить, то как-нибудь счастливо... как в стихах у германских поэтов: «Я покажу вам радугу» или «Идите к жемчугам» и не больше того... Какие вы глупые-глупые!..

— *Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь...*

— До чего не доеду?! До них, до Петушков — не доеду? До нее не доеду?— до моей бесстыжней царицы с глазами, как облака?.. Какие смешные вы...

— *Нет, мы не смешные, мы боимся, что ты до него не доедешь, и он останется без орехов...*

— Ну что вы, что вы! Пока я жив... что вы! В прошлую пятницу — верно, в прошлую пятницу она не пустила меня к нему по-

ехать... Я раскис, ангелы, в прошлую пятницу, я на белый живот ее загляделся, круглый, как небо и земля... Но сегодня — доеду, если только не подохну, убитый роком... Вернее — нет, сегодня я не доеду, сегодня я буду у ней, я буду до утра пастись между лилиями, а вот уж завтра...

— *Бедный мальчик...*— вздохнули ангелы.

— «Бедный мальчик»? Почему это «бедный»? А вы скажите, ангелы, вы будете со мной до самых Петушков? Да? Вы не отлетите?

— *О нет, до самых Петушков мы не можем... Мы отлетим, как только ты улыбнешься... Ты еще ни разу сегодня не улыбнулся, как только улыбнешься в первый раз — мы отлетим и уж будем покойны за тебя...*

— И там, на перроне, встретите меня, да?

— Да, там мы тебя встретим...

Прелестные существа, эти ангелы! Только почему это «бедный мальчик»? Он нисколько не бедный! Младенец, знающий букву «ю», как свои пять пальцев, младенец, любящий отца, как самого себя,— разве нуждается в жалости?

Ну, допустим, он болен был в позапрошлую пятницу, и все там были за него в тревоге... Но ведь он тут же пошел на поправку — как только меня увидел!.. Да, да... Боже милостивый, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось и ничего никогда не случилось!..

Сделай так, Господь, чтобы он, если даже и упал бы с крыльца или печки, не сломал бы ни руки своей, ни ноги. Если нож или бритва попадутся ему на глаза — пусть он ими не играет, найди ему другие игрушки, Господь. Если мать его затопит печку — он очень любит, когда его мать затопляет печку,— оттащи его в сторону, если сможешь. Мне больно подумать, что он обожжется... А если и заболеет,— пусть как только меня увидит, пусть сразу идет на поправку...

Да, да, когда я в прошлый раз приехал, мне сказали: он спит. Мне сказали: он болен и лежит в жару. Я пил лимонную у его кровати, и меня оставили с ним одного. Он и в самом деле был в жару, и даже ямка на щеке вся была в жару, и было диковинно, что вот у такого ничтожества еще может быть жар...

Я выпил три стакана лимонной, прежде чем он проснулся и посмотрел на меня и на четвертый стакан, у меня в руке... Я долго тогда беседовал с ним и говорил:

– Ты... знаешь что, мальчик? ты не умирай, ты сам подумай (ты ведь уже рисуешь буквы, значит, можешь думать сам): очень глупо умереть, зная только одну букву “ю” и ничего больше не зная... Ты хоть сам понимаешь, что это глупо?

– *Понимаю, отец...*

И как он это сказал! И все, что они говорят – вечно живущие ангелы и умирающие дети, – все это так значительно, что я слова их пишу длинным курсивом, а все, что мы говорим, – махонькими буквами, потому что это более или менее чепуха. «*Понимаю, отец!*»...

– Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою «пороссячью фараңдолу» – помнишь? Когда тебе было два года, ты под нее плясал. Музыка отца и слова его же. «Там такие милые, смешные чер-тенят-ки цапали-царапали-кусали мне жи-во-тик...» А ты, подпершись одной рукой, а другой платочком размахивая, прыгал, как крошечный дурак... «С фе-вра-ля до августа я хныкала и вякала, на исхо-де августа ножки про-тяну-ла»... Ты любишь отца, мальчик?

– *Очень люблю...*

– Ну вот и не умирай... Когда ты не умрешь и поправишься, ты мне снова что-нибудь спляшешь... Только нет, мы фараңдолу плясать не будем. Там есть слова, не идущие к делу... «На исхо-де ав-густа ножки протянула...» Это не годится. Гораздо лучше вот что: «Раз-два-туфли-надень-ка-как-те-бе-не-стыдно-спать?»... У меня особые причины любить эту гнусность...

Я допил свой четвертый стакан и разволновался:

– Когда тебя нет, мальчик, я совсем одинок... Ты понимаешь? ты бегал в лесу этим летом, да?.. И, наверно, помнишь, какие там сосны?.. Вот и я, как сосна... Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая-одинокая, вот и я тоже... Она, как я, – смотрит только в небо, а что у нее под ногами – не видит и видеть не хочет... Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я – пока не рухну, вечно буду зеленым...

– *Зеленым*, – отозвался младенец.

– Ну вот, например, одуванчик. Он все колышется и облетает от ветра, и грустно на него глядеть... Вот и я: разве я не облетаю? разве не противно глядеть, как я целыми днями все облетаю и облетаю?..

– *Противно*, – повторил за мной младенец и блаженно заулыбался...

Вот и я теперь: вспоминаю его «Противно» и улыбаюсь, тоже блаженно. И вижу, мне издали кивают ангелы — и отлетают от меня, как обещали.

Кучино – Железнодорожная

Но сначала все-таки к ней. Сначала — к ней! Увидеть ее на перроне, с косой от попы до затылка, и от волнения зардеться, и вспыхнуть, и напиться влежку, и пастись, пастись между лилиями — ровно столько, чтобы до смерти изнемочь!

*Принеси запястья, ожерелья,
Шелк и бархат, жемчуг и алмазы,
Я хочу одеться королевой,
Потому что мой король вернется!*

Эта девушка вовсе не девушка! Эта искусительница — не девушка, а баллада ля бемоль мажор! Эта женщина, эта рыжая стервоза — не женщина, а волхование! Вы спросите: да где ты, Веничка, ее откопал, и откуда она взялась, эта рыжая сука? И может ли в Петушках быть что-нибудь путное?

— Может!— говорю я вам, и говорю так громко, что вздрагивают и Москва и Петушки.— В Москве — нет, в Москве не может быть, а в Петушках — может! Ну так что же, что «сука»? Зато какая гармоническая сука! А если вам интересно, где и как я ее откопал, если интересно — слушайте, бесстыдники, я вам все расскажу.

В Петушках, как я вам уже говорил, жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет. Вот и в этот день, ровно двенадцать недель тому назад, были птички и был жасмин. А еще был день рождения непонятно у кого. И еще — была бездна всякого спиртного: не то десять бутылок, не то двенадцать бутылок, не то двадцать пять. И было все, чего может пожелать человек, выпивший столько спиртного: то есть решительно все, от разливного пива до бутылочного. А еще?— спросите вы.— А еще что было?

— А еще — было два мужичка, и были три косеющих твари, одна пьянее другой, и дым коромыслом, и ахинея. Больше как будто ничего не было.

И я разбавлял и пил, разбавлял российскую жигулевским пивом и глядел на этих «троих» и что-то в них прозревал. Что именно я прозревал в них, не могу сказать, а поэтому разбавлял

и пил, и чем больше я прозревал в них это «что-то», тем чаще я разбавлял и пил, и от этого еще острее прозревал.

Но вот ответное прозрение — я только в одной из них ощутил, только в одной! О, рыжие ресницы, длиннее, чем волосы на ваших головах! О, невинные бельмы! О, эта белизна, переходящая в белесость! О, колдовство и голубиные крылья!

— Так это вы: Ерофеев?— чуть подалась ко мне, и сомкнула ресницы и разомкнула...

— Ну, конечно! Еще бы не я!

(О, гармоническая! как она догадалась?)

— Я одну вашу вещичку — читала. И знаете: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!

— Так ли уж выше!— я, польщенный, разбавил и выпил.— Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!..

Вот, с этого все началось. То есть началось беспамятство: три часа провала. Что я пил? О чем говорил? В какой пропорции разбавлял? Может, этого провала и не было бы, если б я пил, не разбавляя. Но — как бы то ни было — я очнулся часа через три, и вот в каком положении я очнулся: я сижу за столом, разбавляю и пью.

И кроме нас двоих — никого. И она — рядом, смеется надо мною, как благодатное дитя. Я подумал: «Неслыханная! Это — женщина, у которой до сегодняшнего дня грудь стискивали только предчувствия. Это — женщина, у которой никто до меня даже пульса не щупал. О, блаженный зуд и в душе и повсюду!»

А она взяла — и выпила еще сто грамм. Стоя выпила, откинув голову, как пианистка. А выпив, все из себя выдохнула, все, что в ней было святого,— все выдохнула. А потом изогнулась как падла и начала волнообразные движения бедрами,— и все это с такою пластикой, что я не мог глядеть на нее без содрогания...

Вы, конечно, спросите, вы, бессовестные, спросите: «Так что же, Веничка? Она ?» Ну что вам ответить? Ну, конечно, она

. !

Еще бы она не ! Она мне прямо сказала: «Я хочу, чтобы ты меня властно обнял правой рукою!» Ха-ха. «Властно» и «правую рукою»?! — а я уже так набрался, что не только властно обнять,

а хочу потрогать ее туловище — и не могу, все промахиваюсь мимо туловища. . .

— Что ж! играй крутыми боками!— подумал я, разбавив и выпив.— Играй, обольстительница! Играй, Клеопатра! Играй, пышнотелая блядь, истомившая сердце поэта! Все, что есть у меня, все, что, может быть, есть — все швыряю сегодня на белый алтарь Афродиты!

Так думал я. А она — смеялась. А она — подошла к столу и выпила залпом еще сто пятьдесят, ибо она была совершенна, а совершенству нет предела...

Железнодорожная — Черное

выпила — и сбросила с себя что-то лишнее. «Если она сбросит,— подумал я,— если она, следом за этим лишним, сбросит и исподнее — содрогнется земля и камни возопиют!»

А она сказала: «Ну, как, Веничка, хорошо у меня ?» А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь. Я сказал ей: «Ровно тридцать лет я живу на свете... но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо. !»

Что же мне теперь? Быть ли мне вкрадчиво-нежным? Быть ли мне пленительно-грубым? Черт его знает, я никогда не понимаю толком, в какое мгновение как обратиться с захмелевшей... До этого — сказать ли вам?— до этого я их плохо знал, и захмелевших и трезвых. Я стремился за ними мыслью, но как только устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль.

Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть талия, а у нас нет никакой талии, это будило во мне — как бы это назвать? «негу», что ли?— Ну да, это будило во мне негу. Но, с другой стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножиком, а Марат был Неподкупен, и резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны, мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость, то есть, вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки, это мне нравилось, это наполняло меня — ну, чем это меня наполняло? негой, что ли?— Ну да, это наполняло меня негой. Но, с другой стороны, ведь они в И... из нагана стреляли! Это снова убивало негу: приседай приседай, но зачем в И... из нагана стрелять? И было бы смешно после этого говорить о неге... Но я отвлекся.

Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным?

Она сама — сама сделала за меня мой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своей лодыжкой. В этом было что-то от поощрения и от игры, и от легкой пощечины. И от воздушного поцелуя — тоже что-то было. И потом — эта мутная, эта сучья белизна в зрачках, белее, чем бред и седьмое небо! И как небо и земля — живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от вдохновения, я весь задымился. И все смешалось: и розы, и лилии, и в мелких завитках — весь — влажный и содрогающийся вход в Эдем, и беспамятство, и рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр! О, бесстыжие бельма! О, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп!

Все смешалось, чтобы только начаться, чтобы каждую пятницу повторяться снова и не выходить из сердца и головы. И знаю: и сегодня будет то же, тот же хмель и то же душегубство...

Вы мне скажете: так что же, Веничка, ты думаешь, ты один у нее такой душегуб?

А какое мне дело! А вам — тем более! Пусть даже и не верна. Старость и верность накладывают на рожу морщины, а я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины. Пусть и не верна, не совсем, конечно, «пусть», но все-таки пусть. Зато она вся соткана из неги и ароматов. Ее не лапать и не бить по ебальнику, ее вдыхать надо. Я как-то попробовал сосчитать все ее сокровенные изгибы, и не мог сосчитать — дошел до двадцати семи и так забалдел от истомы, что выпил зубровки и бросил счет, не окончив.

Но красивее всего у нее предплечья, конечно. В особенности, когда она поводит ими и восторженно смеется, и говорит: «Эх, Ерофеев, мудила ты грешный!» О, дьяволица! Разве можно такую не вдыхать?

Случалось, конечно, случалось, что и она была ядовитой, но это все вздор, все это в целях самообороны и чего-то там такого женского — я в этом мало понимаю. Во всяком случае, когда я ее раскусил до конца, яду совсем не оказалось, там была малина со сливками. В одну из пятниц, например, когда я совсем был тепленький от зубровки, я ей сказал:

— Давай, давай всю нашу жизнь будем вместе! Я увезу тебя в Лобню, я облеку тебя в пурпур и крученый виссон, я подработаю на телефонных коробках, а ты будешь обонять что-нибудь — лилии, допустим, будешь обонять. Поедем!

А она — молча протянула мне шиш. Я в истоме поднес его к своим ноздрям, вздохнул и заплакал:

— Но почему?.. почему?..

Она мне — второй шиш. Я и его поднес, и зажмурился, и снова заплакал:

— Но почему?— заклинаю — ответь — почему???

Вот тогда-то и она разрыдалась, и обвисла на шее:

— Умалишенный! ты ведь сам знаешь, почему! сам — знаешь, почему, угорелый!

И после того — почти каждую пятницу повторялось все то же, и эти слезы, и эти фиги. Но сегодня — сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница — тринадцатая по счету. И все ближе к Петушкам. Царица Небесная!..

Черное — Кунавна

Я заходил по тамбуру в страшном волнении и все курил, курил...

— И ты говоришь после этого, что ты одинок и непонят? Ты, у которого столько в душе и столько за душой! Ты, у которого такая в Петушках! И такой за Петушками!.. Одинок?

— Нет, нет, уже не одинок, уже понят, уже двенадцать недель как понят. Все минувшее миновалось. Вот, помню, когда мне стукнуло двадцать лет,— тогда я был безнадежно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов,— и таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной — что, не желая плакать, заплакал...

А когда стукнуло тридцать, минувшей осенью? А когда стукнуло тридцать,— день был уныл, как день двадцатилетия. Пришел ко мне Боря с какой-то полоумной поэтессою, пришли Вадя с Лидой, Ледик с Володей. И принесли мне — что принесли?— две бутылки столичной и две банки фаршированных томатов. И такое отчаяние, такая мука мной овладели от этих томатов, что хотел я заплакать — и уже не мог...

Значит ли это, что за десять лет я стал менее одиноким? Нет, не значит. Тогда значит ли это, что я огрубел душою за десять лет? Тоже — не значит. Скорее даже наоборот, но заплакать все-таки не заплакал...

Почему? Я, пожалуй, смогу вам это объяснить, если найду для этого какую-нибудь аналогию в мире прекрасного. Допустим, так: если тихий человек выпьет семьсот пятьдесят, он делается буйным и радостным. А если он добавит еще семьсот?— будет ли он еще буйнее и радостнее? Нет, он опять будет тих. Со стороны покажется даже, что он протрезвел. Но значит ли это, что он протрезвел? Ничуть не бывало: он уже пьян как свинья, оттого и тих.

Точно так же и я: не менее одиноким я стал в эти тридцать лет, и сердцем не очерствел, — совсем наоборот. А если смотреть со стороны — конечно...

Нет, вот уж теперь — жить и жить! А жить совсем не скучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. «Человек смертен» — таково мое мнение. Но уж если мы родились — ничего не поделаешь, надо немножко пожить... «Жизнь прекрасна» — таково мое мнение.

Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая пропасть неисследованного и какой простор для тех, кого влекут к себе эти тайны! Ну вот, самый простой пример: отчего это, если ты вчера выпил, положим, семьсот пятьдесят, а утром не было случая похмелиться — служба и все такое — и только далеко за полдень, промаявшись шесть часов или семь, ты выпил, наконец, чтобы облегчить душу (ну, сколько выпил? Ну, допустим, сто пятьдесят) — отчего твоей душе не легче? Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра, от этих ста пятидесяти сменяется дурнотой другой категории, стыдливой дурнотой, щеки делаются пунцовыми, как у бляди, а под глазами так сине, как будто накануне ты и не пил свои семьсот пятьдесят, а как будто тебя накануне, взамен того, весь вечер лупили по морде? Почему?

Я вам скажу, почему. Потому что человек этот стал жертвой своих шести или семи служебных часов. Надо уметь выбрать себе работу, плохих работ нет. Дурных профессий нет, надо уважать всякое призвание. Надо, чуть проснувшись, немедленно чего-нибудь выпить, даже нет, вру, не «чего-нибудь», а именно того самого, что ты пил вчера, и пить с паузами в сорок—сорок пять минут, так, чтобы к вечеру ты выпил на двести пятьдесят больше, чем накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости, и сам ты будешь таким белолицым, как будто тебя уж полгода по морде не били.

Вот видите — сколько в природе загадок, роковых и радостных, сколько белых пятен повсюду!

А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, словно бы и не замечает тайн бытия. Ей недостает размаха и инициативы, и я вообще сомневаюсь, есть ли у них у всех что-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на себе? Я в их годы делал так: вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша — выпивал и ложился спать, не разуваясь, с одной только мыслью: проснусь утром в пятницу или не проснусь?

И все-таки утром в пятницу я уже не просыпался. А просыпался утром в субботу разутый и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги, в районе Наро-Фоминска. А потом — потом я с усилием припоминал и накапливал факты, а накопив, сопоставлял. А сопоставив, начинал опять восстанавливать, напряжением памяти и со всепроникающим анализом. А потом переходил от созерцания к абстракции; другими словами, вдумчиво опохмелялся и, наконец, узнавал, куда же все-таки девалась пятница.

Сызмальства почти, от младых ногтей, любимым словом моим было «дерзание», и — Бог свидетель — как я дерзал! Если вы так дерзнете — вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет: если бы вы дерзали так, как я в ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли бы и не проснулись. А я просыпался, каждое утро почти просыпался и снова начинал дерзать...

Например, так: к восемнадцати годам или около того я заметил, что с первой дозы по пятую включительно я мужаю, то есть мужаю неодолимо, а вот уж начиная с шестой

Купавна — 33-й километр

и включительно по девятую — размягчаюсь. Настолько размягчаюсь, что от десятой смежаю глаза, так же неодолимо. И что же я по наивности думал? Я думал: надо заставить себя волевым усилием преодолеть дремоту и выпить одиннадцатую дозу — тогда, может быть, начнется рецидив возмужания? Но нет, не тут-то было. Никаких рецидивов, я пробовал.

Я бился над этой загадкой три года подряд, ежедневно бился, и все-таки ежедневно после десятой засыпал.

А ведь все раскрылось так просто: оказывается, если вы уже выпили пятую, вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую, и девятую выпить сразу, одним махом — но выпить и де а ль но ,

то есть выпить только в воображении. Другими словами, вам надо одним волевым усилием, одним махом — не выпить ни шестой, ни седьмой, ни восьмой, ни девятой.

А выдержав паузу, приступить непосредственно к десятой, и точно так же, как девятую симфонию Антонина Дворжака, фактически девятую, условно называют пятой, точно так же и вы: условно назовите десятой свою шестую и будьте уверены: теперь вы уже будете беспрепятственно мужать от самой шестой (десятой) и до самой двадцать восьмой (тридцать второй) — то есть мужать до того предела, за которыми следует безумие и свинство.

Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Максим Горький песен о них не споеет, нечего и думать. Я не говорю, что мы в их годы волокли с собою целый груз святънь. Боже упаси!— святънь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на которые нам было не наплевать, а вот им — на все наплевать.

Почему бы им не заняться вот чем: я в их годы пил с большими антрактами — попью-попью — перестану, попью-попью — опять перестану. Я не вправе судить поэтому, одушевленное ли утренняя депрессия, если делается ежедневной привычкой, то есть если с шестнадцати лет пить по четыреста пятьдесят грамм в семь часов пополудни. Конечно, если бы мне вернуть мои годы и начать жизнь сначала, я, конечно, попробовал бы,— но ведь они-то! Они!..

Да только ли это! А сколько неизвестности таят в себе другие сферы человеческой жизни! Вот представьте себе, к примеру: один день с утра до вечера вы пьете исключительно белую водку и ничего больше; а на другой день — исключительно красные вина. В первый день вы к полуночи становитесь как одержимый. Вы к полуночи такой пламенный, что через вас девушки могут прыгать в ночь на Ивана Купала. И, ясное дело, они все-таки допрыгаются, если вы с утра до ночи пили исключительно белую водку.

А если вы с утра до ночи пили только крепленые красные вина? Да девушки через вас и прыгать не станут в ночь на Ивана Купала. Даже наоборот: сядет девушка в ночь на Ивана Купала, а вы через нее и перепрыгнуть не сумеете, не то что другое чего. Конечно, при условии, что вы с утра до вечера пили только красное!..

Да, да! А сколько захватывающего сулят эксперименты в узко специальных областях! Ну, например, икота. Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его соленые рыжики! Давайте лучше займитесь икотой, то есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте...

— Помилуйте!— кричат мне со всех сторон.— Да неужели на свете, кроме этого, нет ничего такого, что могло бы!..

— Вот именно: нет!— кричу я во все стороны.— Нет ничего, кроме этого! Нет ничего такого, что могло бы! Я не дурак, я понимаю, есть еще на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так!

Но ведь все это — не наше, все это нам навязали Петр Великий и Александр Кибальчич, а ведь наше призвание совсем не здесь, наше призвание совсем в другой стороне! В той самой стороне, куда я вас приведу, если вы не станете уширать-ся! Вы скажете: «Призвание это гнусно и ложно». А я вам скажу, я вам снова повторю: «Нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание».

И тьфу на вас, наконец! Лучше оставьте янкам внегалактическую астрономию, а немцам — психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идет на свою корриду глядеть, пусть подлец-африканец строит свою Асуанскую плотину, пусть строит, подлец, все равно ее ветром сдует, пусть подавится Италия своим дурацким бельканто, пусть!..

А мы, повторю, займемся икотой.

33-й километр — Электроугли

Для того чтобы начать ее исследование, надо, разумеется, ее вызвать: или ан зихь (термин Эммануила Канга), то есть вызвать ее в себе самом,— или же вызвать ее в другом, но в собственных интересах, то есть фюр зихь. Термин Эммануила Канга. Лучше всего, конечно, и ан зихь и фюр зихь, а именно вот как: два часа подряд пейте что-нибудь крепкое, старку, или зверобой, или охотничью. Пейте большими стаканами, через полчаса по стакану, по возможности избегая всяких закусок. Если это кому-нибудь трудно, можно позволить себе минимум закуски, но самой неприхотливой: не очень свежий хлеб, килькупряного посола, кильку простого посола, кильку в томате.

А потом — сделайте часовой перерыв. Ничего не ешьте, ничего не пейте; расслабьте мышцы и не напрягайтесь.

И вы убедитесь сами: к исходу этого часа она начнется. Когда вы икнете в первый раз, вас удивит внезапность ее начала: потом вас удивит неповторимость второго раза, третьего раза эт цетера. Но если вы не дурак, скорее перестаньте удивляться и займитесь делом: записывайте на бумаге, в каких интервалах ваша икота удостаивает вас быть — в секундах, конечно:

— восемь — тринадцать — семь — три — восемнадцать.

Попробуйте, конечно, отыскать здесь хоть какую-нибудь периодичность, хоть самую приблизительную, попробуйте, если вы все-таки дурак, попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу, чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста. Жизнь все равно опрокинет все ваши телячьи построения.

— семнадцать — три — четыре — семнадцать — один — двадцать — три — четыре — семь — восемнадцать —

Говорят, вожди мирового пролетариата, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, тщательно изучили смену общественных формаций и на этом основании сумели много ее предвидеть. Но тут они были бы бессильны предвидеть хоть самое малое. Вы вступили, по собственной прихоти, в сферу фатального — смиритесь и будьте терпеливы. Жизнь посрамит и вашу элементарную, и вашу высшую математику:

— тринадцать — пятнадцать — четыре — двенадцать — четыре — пять — двадцать восемь —

Не так ли в смене подъемов и падений, восторгов и бед каждого отдельного человека — нет ни малейшего намека на регулярность? Не так ли беспорядочно чередуются в жизни человечества его катастрофы? Закон — он выше всех нас. Икота — выше всякого закона. И как поразила вас недавно внезапность ее начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите:

— двадцать две — четырнадцать — все. И тишина.

И в этой тишине ваше сердце вам говорит: она неисследима, а мы — беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого — тоже нет.

Мы — дрожащие твари, а она — всеильна. Она, то есть Божья Десница, которая над всеми занесена и пред которой не

хотят склонить головы одни кретины и проходимцы. Он непостижим уму, а следовательно, Он есть.

Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.

Электроугли – 43-й километр

Да, больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма. Взгляните на икающего безбожника: он рассредоточен и темнолик, он мучается и он безобразен. Отвернитесь от него, сплюньте и взгляните на меня, когда я стану икать: верящий в предопределение и ни о каком противоборстве не помышляющий, я верю в то, что Он благ, и сам я поэтому благ и светел.

Он благ. Он ведет меня от страданий – к свету. От Москвы – к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне – к свету и Петушкам. Дурх ляден – лихт!

Я заходил по площадке в еще более страшном волнении. И все курил, и все курил. И тут – яркая мысль, как молния, поразила мой мозг:

– Что мне выпить еще, чтобы и этого порыва – не угасить? Что мне выпить во Имя Твое?..

Беда! Нет у меня ничего такого, что было бы Тебя достойно. Кубанская – это такое дерьмо! А российская – смешно при Тебе и говорить о российской. И розовое крепкое за рупь тридцать семь! Боже!..

Нет, если я сегодня доберусь до Петушков – невредимый, – я создам коктейль, который можно было бы без стыда пить в присутствии Бога и людей, в присутствии людей и во имя Бога. Я назову его «Иорданские струи» или «Звезда Вифлеема». Если в Петушках я об этом забуду – напомните мне, пожалуйста.

Не смейтесь. У меня богатый опыт по созданию коктейлей. По всей земле, от Москвы до Петушков, пьют эти коктейли и до сих пор, не зная имени автора, пьют «Ханаанский бальзам», пьют «Слезу комсомолки», и правильно делают, что пьют. Мы не можем ждать милостей от природы. А чтобы взять их у нее, надо, разумеется, знать их точные рецепты: я, если вы хотите, дам вам эти рецепты. Слушайте.

Пить просто водку, даже из горлышка, – в этом нет ничего, кроме томления духа и суеты. Смешать водку с одеколоном –

в этом есть известный каприз, но нет никакого пафоса. А вот выпить стакан «Ханаанского бальзама» — в этом есть и каприз, и идея, и пафос, и сверх того еще метафизический намек.

Какой компонент «Ханаанского бальзама» мы ценим превыше всего? Ну конечно, денатурат. Но ведь денатурат, будучи только объектом вдохновения, сам этого вдохновения начисто лишен. Что же, в таком случае, мы ценим в денатурате превыше всего? Ну конечно, голое вкусовое ощущение. А еще превыше тот миазм, который он источает. Чтобы этот миазм оттенить, нужна хоть крупица благоухания. По этой причине в денатурат вливают в пропорции 1:2:1 бархатное пиво, лучше всего останкинское или сенатор, и очищенную политуру.

Не буду вам напоминать, как очищается политура. Это всякий младенец знает. Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, — а как очищается политура — это всякий знает.

Короче, записывайте рецепт «Ханаанского бальзама». Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах:

Денатурат	— 100 г.
Бархатное пиво	— 200 г.
Политура очищенная	— 100 г.

Итак, перед вами «Ханаанский бальзам» (его в просторечье называют «чернобуркой») — жидкость в самом деле черно-бурого цвета, с умеренной крепостью и стойким ароматом. Это даже не аромат, а гимн. Гимн демократической молодежи. Именно так, потому что в выпившем этот коктейль вызревают вульгарность и темные силы. Я столько раз наблюдал!..

А чтобы вызревание этих темных сил хоть как-то предотвратить, есть два средства. Во-первых, не пить «Ханаанский бальзам», а, во-вторых, пить взамен его коктейль «Дух Женевы».

В нем нет ни капли благородства, но есть букет. Вы спросите меня: в чем загадка этого букета? Я вам отвечу: не знаю, в чем загадка этого букета. Тогда вы подумаете и спросите: а в чем же разгадка? А в том разгадка, что «Белую сирень», составную часть «Духа Женевы», не следует ничем заменять, ни жасмином, ни шипром, ни ландышем. «В мире компонентов нет эквивалентов», как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили. То есть «Ландыш серебристый» — это вам не

«Белая сирень», даже в нравственном аспекте, не говоря уже о букетах.

«Ландыш», например, будоражит ум, тревожит совесть, укрепляет правосознание. А «Белая сирень» — напротив того, успокаивает совесть и примиряет человека с язвами жизни...

У меня было так: я выпил целый флакон «Серебристого ландыша», сижу и плачу. Почему я плачу? — потому что маму вспомнил, то есть вспомнил и не могу забыть свою маму. «Мама», — говорю. И плачу. А потом опять: «Мама», — говорю, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я? Взял флакон «Сирени» — и выпил. И что же вы думаете? Слезы обсохли, дурацкий смех одолел, а маму — так даже и забыл, как звать по имени-отчеству.

И как мне смешно поэтому тот, кто, приготовляя «Дух Женевы», в средство от потливости ног добавляет «Ландыш серебристый»!

Слушайте точный рецепт:

Белая сирень	— 50 г.
Средство от потливости ног	— 50 г.
Пиво жигулевское	— 200 г.
Лак спиртовой	— 150 г.

Но если человек не хочет зря топтать мироздание, пусть он пошлет к свиньям и «Ханаанский бальзам», и «Дух Женевы». А лучше пусть он сядет за стол и приготовит себе «Слезу комсомолки». Пахуч и странен этот коктейль. Почему пахуч, вы узнаете потом. Я вначале объясню, чем он странен.

Пьющий просто водку сохраняет и здоровый ум, и твердую, память, или наоборот — теряет разом и то, и другое. А в случае со «Слезой комсомолки» просто смешно: выпьешь ее сто грамм, этой слезы, — память твердая, а здорового ума как не бывало. Выпьешь еще сто грамм — и сам себе удивляешься: откуда взялось столько здорового ума? и куда девалась вся твердая память?

Даже сам рецепт «Слезы» благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, — лишился.

Лаванда	— 15 г.
Вербена	— 15 г.
Одеколон «Лесная вода»	— 30 г.

Лак для ногтей	-- 2 г.
Зубной эликсир	-- 150 г.
Лимонад	-- 150 г.

Приготовленную таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повилкой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек — вы меня не заставите помешивать повилкой «Слезу комсомолки», я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда при мне помешивают «Слезу» не жимолостью, а повилкой...

Но о «Слезе» довольно. Теперь я предлагаю вам последнее и наилучшее. «Венец трудов превыше всех наград», как сказал поэт. Короче, я предлагаю вам коктейль «Сучий потрох», напиток, затмевающий все. Это уже не напиток — это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? — борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что (записывайте):

Пиво жигулевское	-- 100 г.
Шампунь «Садко — богатый гость»	-- 30 г.
Резоль для очистки волос от перхоти	-- 70 г.
Клей БФ	-- 12 г.
Тормозная жидкость	-- 35 г.
Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых	-- 20 г.

Все это неделю настаивается на табаке сигарных сортов — и подается к столу...

Мне приходили письма, кстати, в которых досужие читатели рекомендовали еще вот что: полученный таким образом настой еще откидывать на дуршлаг. То есть — на дуршлаг откинуть и спать ложиться... Это уже черт знает что такое, и все эти дополнения и поправки — от дряблости воображения, от недостатка полета мысли; вот откуда эти нелепые поправки...

Итак, «Сучий потрох» подан на стол. Пейте его с появлением первой звезды, большими глотками. Уже после двух бокалов этого коктейля человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет.

43-й километр – Храпуново

Вы хоть что-нибудь записать успели? Ну вот, пока и довольно с вас... А в Петушках – в Петушках я обещаю поделиться с вами секретом «Иорданских струй», если доберусь живым; если милостив Бог.

А теперь давайте подумаем с вами вместе: что бы мне сейчас выпить? Какую комбинацию я могу создать из этой вшивоты, что осталась в моем чемоданчике? «Поцелуй тети Клавь»? Пожалуй что да. Из моего чемоданчика никаких других «Поцелуев» не выжмешь, кроме «Первого поцелуя» и «Поцелуя тети Клавь». Объяснить вам, что значит «Поцелуй»? А «Поцелуй» значит: смешанное в пропорции пополам-напополам любое красное вино с любой водкой. Допустим: сухое виноградное вино плюс перцовка или кубанская – это «Первый поцелуй». Смесь самогона с 33-м портвейном – это «Поцелуй, насильно данный», или, проще, «Поцелуй без любви», или, еще проще «Инесса Арманд». Да мало ли разных «Поцелуев»? Что-бы не так тошнило от всех этих «Поцелуев», к ним надо привыкнуть с детства.

У меня в чемоданчике есть кубанская. Но нет сухого виноградного вина. Значит, и «Первый поцелуй» исключен для меня, я могу только грезить о нем. Но – у меня в чемоданчике есть полторы четвертинки российской и розовое крепкое за руль тридцать семь. А их совокупность и дает нам «Поцелуй тети Клавь». Согласен с вами: он невзрачен по вкусовым качествам, он в высшей степени тошнотворен, им уместнее поливать фикус, чем пить его из горлышка, – согласен, но что же делать, если нет сухого вина, если нет даже фикуса? Приходится пить «Поцелуй тети Клавь»...

Я пошел в вагон, чтобы слить мое дерьмо в «Поцелуй». О, как давно я здесь не был! С тех пор, как выпил в Никольском...

На меня, как и в прошлый раз, глядела десятками глаз, больших, на все готовых, выползающих из орбит, – глядела мне в глаза моя родина, выползшая из орбит, на все готовая и большая. Тогда, после ста пятидесяти грамм российской, мне нравились эти глаза. Теперь, после пятисот кубанской, я был влюблен в эти глаза, влюблен, как безумец. Я чуть покачнулся, входя в вагон, – но прошел к своей лавочке совершенно независимо и на всякий случай чуть-чуть улыбаясь...

Подошел и остолбенел. Где моя четвертинка российской? Где та самая четвертинка, которую я у Серпа и Молота только

ополовинил? От самого Серпа и Молота она стояла у чемоданчика, в ней оставалось почти сто грамм — где же она теперь?

Я обвел глазами всех — ни один не сморгнул. Нет, я положительно влюблен и безумен. Когда отлетели ангелы? Они ведь все-таки следили за чемоданчиком, если я отлучался, — когда они от меня отлетели? В районе Кучино? Так. Значит, украли между Кучино и 43-м километром. Пока я делился с вами восторгом моего чувства, пока посвящал вас в тайны бытия, — меня тем временем лишили «Поцелуя тети Клавь»... В простоте душевной я ни разу не заглянул в вагон все это время, — прямо комедия... Но теперь — «довольно простоты», как сказал драматург Островский. И — финита ля комедия. Не всякая простота — святая. И не всякая комедия — божественная... Довольно в мутной воде рыбку ловить, — пора ловить человек!..

Но как ловить и кого ловить?..

Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков... От самой Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева... Теперь начинается детективная повесть. Я заглянул внутрь чемоданчика: все ли там на месте? Там все было на месте. Но где же эти сто грамм? и кого ловить?..

Я взглянул вправо: там все до сих пор сидят эти двое, тупой-тупой и умный-умный. Тупой в телогрейке уже давно закосел и спит. А умный в коверкотовом пальто сидит напротив тупого и будит его. И как-то по-живодерски будит: берет его за пуговицу и до отказа подтаскивает к себе, как бы натягивая тетиву, — а потом отпускает: и тупой-тупой в телогрейке летит на прежнее место, вонзаясь в спину лавочки, как в сердце тупая стрела Амура...

«Транс-цен-ден-тально»... — подумал я. И давно это он его так?... Нет, эти двое украсть не могли. Один из них, правда, в телогрейке, а другой не спит, — значит, оба, в принципе, могли украсть. Но ведь один-то спит, а другой в коверкотовом пальто, — значит, ни тот, ни другой украсть не могли...

Я глянул назад — нет, там тоже нет ничего такого, что могло бы натолкнуть на мысль: двое, правда, наталкивают на мысль, но совсем не на ту. Очень странные люди эти двое: он и она. Они сидят по разным сторонам вагона, у противоположных окон, и явно незнакомы друг с другом. Но при всем том — до странности похожи: он в жакетке, и она — в жакетке; он в коричневом берете и при усах, и она — при усах и в коричневом берете...

Я протер глаза и еще раз посмотрел назад... Удивительная похожесть, и оба то и дело рассматривают друг дружку с интересом и гневом... Ясное дело, они не могли украсть.

А впереди? Я глянул вперед.

А впереди то же самое — странных только двое: дедушка и внучек. Внучек на две головы длиннее дедушки и от рождения слабоумен. Дедушка — на две головы короче, но слабоумен тоже. Оба глядят мне прямо в глаза и облизываются...

«Подозрительно»,— подумал я. Отчего бы это им облизываться? Все ведь тоже глядят мне в глаза, но ведь никто не облизывается! Очень подозрительно... Я стал рассматривать их так же пристально, как они меня.

Нет, внучек — совершенный кретин. У него и шея-то не как у всех, у него шея не вырастает в торс, а как-то вырастает из него, вздымаясь к затылку вместе с ключицами. И дышит он как-то идиотически: вначале у него выдох, а потом вдох, тогда как у всех людей наоборот: сначала вдох, а уж потом выдох. И он смотрит на меня, смотрит, разинув глаза и сощулив рот...

А дедушка — тот смотрит еще напряженнее, смотрит, как в дуло орудия. И такими синими, такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух угопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он, как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертво. И вся физиономия — в оспинах, как расстрелянная в упор. А посерединке расстрелянной физии — распухший и посиневший нос висит и качается, как старей удавленник...

«Очччень подозрительно»,— подумал я еще раз. И, привстав на месте, поманил их пальцем к себе.

Оба вскочили немедленно и бросились ко мне, не переставая облизываться. «Это тоже странно,— подумал я,— они вскочили даже, по-моему, чуть раньше, чем я их поманил»...

Я пригласил их сесть напротив себя.

Оба сели, в упор рассматривая мой чемоданчик. Внучек сел как-то странно. Мы все садимся на задницу, а этот сел как-то странно: избочениясь, на левое ребро, и как бы предлагая одну свою ногу мне, а другую — дедушке.

— Как звать тебя, папаша, и куда ты едешь?

Храпуново — Есино

— Митричем меня звать. А это мой внучек, он тоже Митрич... Едем в Орехово, в парк... в карусели покататься...

А внучек добавил:

– И-и-и-и...

Необычен был этот звук, и чертовски обидно, что я не могу его как следует передать. Он не говорил, а верещал. И говорил не ртом, потому что рот его был всегда сощурен и начинался откуда-то сзади. А говорил он левой ноздрей, и то с таким усилием, как будто левую ноздрю приподнимал правой: «И-и-и-и-и, как мы быстро едем в Петушки, славные Петушки»... «И-и-и-и, какой пьяный дедушка, хороший дедушка»...

– Тга-а-ак. Значит, говоришь, в карусели?..

– В карусели.

– А может, все-таки не в карусели?..

– В карусели,— еще раз подтвердил Митрич, и все тем же приговоренным голосом, и влага из глаз его все текла...

– А скажи мне, Митрич, а что ты тут делал, пока я в тамбуре был? пока я в тамбуре был погружен в свои мысли? в свои мысли о своем чувстве? к любимой женщине? А? Скажи...

Митрич, не шелохнувшись, весь как-то забежал.

– Я... ничего. Я просто хотел компоту покушать... Компоту с белым хлебом...

– Компоту с белым хлебом?

– Компоту с белым хлебом.

– Прекрасно. Значит, так: я стою на площадке и весь погружен в мысли о чувстве. А вы, между тем, ищите у меня на лавочке: нет ли тут компоту с белым хлебом?.. А не найдя компоту...

Дедушка – первый не вынес, и весь расплакался. А следом за ним и внучек: верхняя губа у него совсем куда-то пропала, а нижняя свесилась до пупа, как волосы у пианиста... Оба плакали...

– Я вас понимаю, да. Я все могу понять, если захочу простить... У меня душа, как у троянского коня пузо, многое вместит. Я все прошу, если захочу понять. А я – понимаю: вы просто хотите компота и белого хлеба. Но у меня на лавочке вы не находите ни того, ни другого. И вы просто в ы н у ж д е н ы пить хотя бы то, что вы находите,— взамен того, что бы вы хотели...

Я их раздавил своими уликами, они закрыли лицо, оба, и покаянно раскачивались на лавке, в такт моим обвинениям.

– Вы мне напоминаете одного старичка в Петушках. Он – тоже, он пил на чужбинку, он пил только краденое: утащит, например, в аптеке флакон тройного одеколona, отойдет в

туалет у вокзала и там тихонько выпьет. Он называл это «пить на брудершафт», он был серьезно убежден, что это и есть «пить на брудершафт», он так и умер в своем заблуждении... Так что же? Значит, вы решили — на брудершафт?..

Они все раскачивались и плакали, а внучек — тот даже заморгал от горя, всеми своими подмышками...

— Но — довольно слез. Я если захочу понять, то все вмещу. У меня не голова, а дом терпимости. Если вы хотите, я могу угостить еще. Вы уже по пятьдесят грамм выпили — я могу налить еще по пятьдесят грамм...

В эту минуту кто-то подошел к нам сзади и сказал:

— Я тоже хочу с вами выпить.

Все разом на него поглядели. То был черноусый, в жакете и коричневом берете.

— И-и-и-и,— заверещал молодой Митрич,— какой дяденька, какой хитрый дяденька...

Черноусый оборвал его взглядом из-под усов:

— Я никакой не хитрый. Я не ворую, как некоторые. Я не ворую у незнакомых людей предметов первой необходимости. Я пришел со своей — вот...

И он поставил мне на лавочку бутылку столичной.

— От моей не откажетесь?— спросил он меня.

Я потеснился, чтобы дать ему место.

— Нет, потом, пожалуй, и не откажусь, а пока хочу свое. Поцелуй тети Клавы.

— Тети Клавы?

— Тети Клавы.

Мы налили себе, каждый свое. Дед и внук протянули мне свою посуду: они, оказывается, давно держали ее наготове, задолго до того, как я их поманил. Дед выгащил пустую четвертинку, я сразу ее признал. А внучек — тот вынул даже целый ковш, и вынул откуда-то из-под лобка и диафрагмы...

Я налил им, сколько обещал, и они улыбались.

— На брудершафт, ребятишки?

— На брудершафт.

Все пили, запрокинув головы, как пианисты...

«Наш поезд на станции Есино не останавливается. Остановки по всем пунктам — кроме Есино».

Есино – Фрязево

Началось шелестенье и чмокание. Как будто тот пианист, который все пил, и пил, теперь уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Листа «Шум леса» до диез минор.

Первым заговорил черноусый в жакетке. И почему-то обращался единственно только ко мне:

– Я прочитал у Ивана Бунина, что рыжие люди, если выпьют, – обязательно покраснеют...

– Ну так что же?

– Как, то есть, «что же»? А Куприн и Максим Горький – так те вообще не просьшались!..

– Прекрасно. Ну, а дальше?

– Как, то есть «ну, а дальше»? Последние предсмертные слова Антона Чехова какие были? Он сказал: «Ихъ штербе», то есть «я умираю». А потом добавил: «Налейте мне шампанского». И уж тогда только – умер.

– Так-так?..

– А Фридрих Шиллер – тот не только умереть, тот даже жить не мог без шампанского. Он знаете как писал? Опустит ноги в ледяную ванну, нальет шампанского – и пишет. Пропустит один бокал – готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов – готова целая трагедия в пяти актах.

– Так-так-так... Ну, и...

Он кидал в меня мысли, как триумфатор червонцы, а я едва-едва успевал их подбирать. «Ну, и...»

– Ну, и Николай Гоголь...

– Что Николай Гоголь?..

– Он всегда, когда бывал у Аксаковых, просил ставить ему на стол особый, розовый бокал...

– И пил из розового бокала?

– Да. И пил из розового бокала.

– А что пил?..

– А кто его знает!.. Ну, что можно пить из розового бокала? Ну, конечно, водку...

И я, и оба Митрича с интересом за ним следили. А он, черноусый, так и смеялся, в предвкушении новых триумфов...

– А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепоею, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-

Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай! Иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу “Хованщина”!»

И вот они сидят — Николай Римский-Корсаков в креслах сидит, закинув ногу за ногу, с цилиндром на отлете. А напротив него — Модест Мусоргский, весь томный, весь небритый — пригнувшись на лавочке, потеет и пишет ноты. Модест на лавочке похмелиться хочет: что ему ноты! А Николай Римский-Корсаков с цилиндром на отлете похмелиться не дает...

Но уж как только затворяется дверь за Римским-Корсаковым — бросает Модест свою бессмертную оперу «Хованщина» — и бух в канаву. А потом встанет и опять похмеляться, и опять — бух!.. А между прочим, социал-демократы...

— Начитанный, ччччерт!— в восторге прервал его старый Митрич, а молодой, от чрезмерного внимания, вобрал в себя все волосы и заиндевел...

— Да, да! Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг!— продолжал человек в жакетке.— Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен кажусь я сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить, пью месяц, пью другой, а потом...

— Погоди,— тут уж я его прервал,— погоди. Так что же социал-демократы?

— Какие социал-демократы? Разве только социал-демократы? Все ценные люди России, все н у ж н ы е ей люди — все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые — нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной воды, и то его понос пробрал. А честные современники Онегина «между лафитом и клико» (заметьте, «между лафитом и клико»!) тем временем рождали «мятежную науку» и декабризм... А когда они наконец разбудили Герцена...

— Как же! Разбудишь его, вашего Герцена!— рявкнул кто-то с правой стороны. Мы все вздрогнули и повернулись направо. Это рявкал Амур в коверкотовом пальто.— Ему еще в Храпуново надо было выходить, этому Герцену, а он все едет, собака!..

Все, кто мог смеяться,— все рассмеялись: «Да оставь ты его в покое, черт, декабрист фуев!» «Уши ему потри, уши!» «Какая разница — в Храпуново ехать или в Петушки! Может, человеку захотелось в Петушки, а ты его гонишь в Храпуново!» Все

вокруг незаметно косели, незаметно и радостно косели, незаметно и безобразно... И я – вместе с ними...

Я повернулся к жакетке и черным усам:

– Ну допустим, ну разбудили они Александра Герцена, причем же тут демократы и «Хованщина» и...

– А вот и притом! С этого и началось все главное – сивуха началась вместо клико! разночинство началось, дебош и хованщина! Все эти Успенские, все эти Помяловские – они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! Все честные люди России! И отчего они пили? – с отчаяния пили! пили оттого, что честны, оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете и невежестве, почитайте-ка Дмитрия Писарева! Он так и пишет: Народ не может позволить себе говядину, а водка дешевле говядины, оттого и пьет русский мужик, от нищеты своей пьет! Книжку он себе позволить не может, потому что на базаре ни Гоголя, ни Белинского, а одна только водка! и монопольная, и всякая, и в разлив, и на вынос! Оттого он и пьет, от невежества своего пьет!

Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить! Социал-демократ – пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик – не читает и пьет, пьет, не читая. Тогда Успенский встает – и вешается, а Помяловский ложится под лавку в трактире – и поддыхает, а Гаршин – встает – и с перепоею бросается через перила...

Черноусый уже вскочил, и снял берет, и жестикулировал, как бешеный, – все выпитое подстегивало его и ударяло в голову, все ударяло и ударяло... Декабрист в коверкотовом пальто – и тот бросил своего Герцена, подсел к нам ближе и воздел к оратору мутные, сырые глаза...

– А вы смотрите, что получается! Мрак невежества все сгущается, и обнищание растет абсолютно! Вы Маркса читали? Абсолютно! Другими словами, пьют все больше и больше! Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа, тут уже не лафит, не клико, те еще как-то добудились Герцена! А теперь – вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону – никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!..

И так – до наших времен! вплоть до наших времен! Этот круг, порочный круг бытия – он душит меня за горло! И стоит

мне прочесть хорошую книжку — я никак не могу разобраться, кто отчего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, глядя вниз. И я уже не могу, я бросаю книжку. Пью месяц, пью другой, а потом...

— Стоп!— прервал его декабрист.— А разве нельзя не пить? Взять себя в руки — и не пить? Вот тайный советник Гете, например, совсем не пил.

— Не пил? Совсем?— черноусый даже привстал и надел берет.— Не может этого быть!

— А вот и может. Сумел человек взять себя в руки — и ни грамма не пил...

— Вы имеете в виду Иоганна фон Гете?

— Да. Я имею в виду Иоганна фон Гете, который ни грамма не пил.

— Странно... А если б Фридрих Шиллер поднес бы ему?.. бокал шампанского?

— Все равно бы не стал. Взял бы себя в руки — и не стал. Сказал бы: не пью ни грамма.

Черноусый поник и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пыльных и блестящих натяжек. «Помоги ему, Ерофеев,— шепнул я себе,— помоги человеку. Ляпни какую-нибудь аллегоррию или...»

— Так вы говорите: тайный советник Гете не пил ни грамма?— я повернулся к декабристу.— А почему он не пил, вы знаете? Что его заставляло не пить? Все честные умы пили, а он — не пил? Почему? Вот мы сейчас едем в Петушки и почему-то везде остановки, кроме Есино. Почему бы им не остановиться и в Есино? Так вот нет же. Проперли без остановки. А все потому, что в Есино нет пассажиров, они все садятся или в Храпунове, или во Фрязева. Да. Идут от самого Есино до самого Храпунова или до самого Фрязева — и там садятся. Потому что все равно ведь поезд в Есино прочешет без остановки. Вот так поступал и Иоганн фон Гете, старый дурак. Думаете, ему не хотелось выпить? Конечно, хотелось. Так он, чтобы самому не скоптиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть «Фауста»: кто там не пьет? все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им «Блоху». Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гете? Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе

пулю в лоб? Потому что — есть свидетельство — он сам был на грани самоубийства, но чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он остался жить, но как бы покончил с собой. И был вполне удовлетворен. Это даже хуже прямого самоубийства. В этом больше трусости и эгоизма, и творческой низости...

Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет — а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит — а он, старый хрен, уже лька не вяжет. Со мною на трассе дядя Коля работал — тот тоже: сам не пьет, боится, что чуть выпьет — и сорвется, загудит на неделю, на месяц. А нас — так прямо чуть не принуждал. Разливает нам, крикает за нас, блаженствует, гад, ходит, как обалдельй...

Вот так и ваш хваленый Иоганн фон Гете! Шиллер ему подносит, а он отказывается — еще бы! Алкоголик он был, алкаш он был, ваш тайный советник, Иоганн фон Гете! И руки у него как бы тряслись!..

— Вот это да-а-а... — разглядывали меня и декабрист, и черноусый. Стройная система была восстановлена, и вместе с ней восстановилось веселье. Декабрист — широким жестом — вытащил из коверкотового пальто бутылку перцовой и поставил ее у ног черноусого. Черноусый вынул свою столичную. Все потирали руки — до странности возбужденно...

Мне налили — больше всех. И старому Митричу — налили. Молодому тоже подали стакан — он радостно прижал его к левому соску правым бедром, и из обеих ноздрей его хлынули слезы...

— Итак, за здоровье тайного советника Иоганна фон Гете?

Фрязево — 61-й километр

— Да. За здоровье тайного советника Иоганна фон Гете.

Я, как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры и что все остальные — тоже...

— А... разрешите вам задать один пустяшный вопрос, — сказал мне черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах: он опять обращался только ко мне.

— Разрешите спросить: отчего это в глазах у вас столько грусти?.. Разве можно грустить, имея такие познания! Можно подумать — вы с утра ничего не пили!

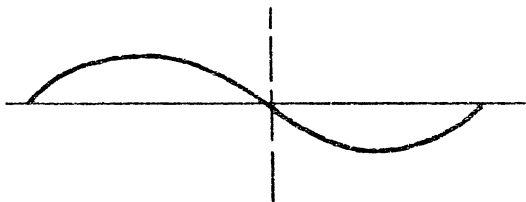
Я даже обиделся:

— Как, то есть, ничего! И разве это грусть? Это просто замутненность глаз... Я просто немного поддал...

— Нет, нет, эта замутненность — от грусти! Вы как Гете! Вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму, но все же выросшую из опыта! Вы, как Гете, все опровергаете...

— Да чем же я опровергаю? Своей замутненностью?..

— Именно! Своей замутненностью! Вот послушайте, в чем моя заветная лемма: когда мы вечером пьем, а утром не пьем, какими мы бываем вечером и какими становимся наутро? Я, например, если выпью — я весел чертовски, я подвижен и неистов, я места себе не нахожу, да. А наутро?— наутро я не просто невесел, не просто неподвижен, нет. Я ровно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если накануне я одержим был Эросом, то мое утреннее отвращение в точности равновелико вчерашним грезам. Что я хочу сказать? а вот, смотрите:



И черноусый изобразил на бумажке такую вот хреновину. И объяснил: горизонтальная линия — это линия обычной трезвости, повседневная линия. Наивысшая точка кривой — момент засыпания, наинизшая — пробуждения с похмелья...

— Видите! Это же голая зеркальность! Глупая, глупая природа, ни о чем она не заботится так рьяно, как о равновесии! Не знаю, нравственна ли это забота, но она строго геометрична! Смотрите: ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус, нет! Она все изображает. Вечером бесстрашие, даже если и есть причина бояться, бесстрашие и недооценка всех ценностей. Утром — переоценка, переходящая в страх, совершенно беспричинный.

Если с вечера, спящая природа нам «передала», то наутро она столько же и недодаст, с математической точностью. Был у вас вечером порыв к идеалу — пожалуйста, с похмелья его сменит порыв к антиидеалу, а если идеал и остается, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма...

Она – всеобща и к каждому применима. А у вас – все не как у людей, все, как у Гете!..

Я рассмеялся: «Почему ж она все-таки лемма, если она всеобща?..»

И декабрист – тоже рассмеялся: «Коли она всеобща, то почему же лемма?..»

– А потому и лемма! Потому что в расчет не принимает бабу! Человека в чистом виде лемма принимает, а бабу – не принимает! С появлением бабы нарушается всякая зеркальность. Если б баба не была бабой, лемма не была бы леммой. Лемма всеобща, пока нет бабы. Баба есть – и леммы уже нет... В особенности – если баба плохая, а лемма хорошая...

Враз заговорили все. «Да что такое вообще лемма?» «И что такое – плохая баба?» «Плохих баб нет, только леммы одни бывают плохие...»

– У меня, например, – сказал декабрист, – у меня тридцать баб, и одна чище другой, хоть и усов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки, я считаю: тридцать самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая...

– Причем тут усы! Разговор о бабе идет, а не об усах!

– И об усах! Не было бы усов – не было б и разговора...

– Черт знает, что вы городите!.. Все-таки, я думаю: одна хорошая стоит всех ваших. Как вы на это смотрите?.. – черноусый опять поворотился ко мне. – С научной точки зрения, как вы на это смотрите?..

Я сказал:

– С научной, конечно, стоит. В Петушках, например, тридцать посуды меняют на полную бутылку зверобоя, и если ты принесешь, допустим...

«Как! Тридцать на одну! Почему так много!» – галдеж возобновился.

– Да иначе кто же вам обменяет! Тридцать на двенадцать – это 3.60. А зверобой стоит 2.62. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они еще не знают, а это – уже знают. А все-таки никакой сдачи. 3.60, конечно, хорошо, это лучше, чем 2.62, но все-таки сдачи не берешь, потому что за витриной стоит хорошая баба, а хорошую бабу надо уважать...

– Да чем же она хороша, эта баба за витриной?

– Да тем и хороша, что плохая вообще бы посуду у вас не взяла. А хорошая баба – берет у вас плохую посуду, а взамен

дает хорошую. И поэтому надо уважить... Для чего вообще на свете баба?

Все значительно помолчали. Каждый подумал свое, или все подумали одно и то же, не знаю.

— А для того, чтоб уважить. Что говорил Максим Горький на острове Капри? «Мерило всякой цивилизации — способ отношения к женщине». Вот и я: прихожу я в петушинский магазин, у меня с собой тридцать пустых посудин. Я говорю: «Хозяюшка!» — голосом таким пропитым и печальным говорю: «Хозяюшка! Зверобою мне, будьте добры...» И ведь знаю, что чуть ли не рупь передаю: 3.60 минус 2.62. Жалко. А она на меня смотрит: давать ему, гаду, сдачи или не давать? А я на нее смотрю: даст она мне, гадина, сдачи или не даст? Вернее, нет, в это мгновение я смотрю не на нее. Я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Расгуг агавы и тамаринды, а под ними сидит Максим Горький, из-под белых брюк волосатые ноги. И пальцем мне грозит: «Не бери сдачи! Не бери сдачи!» Я ему моргаю: мол, жрать будет нечего. «Ну, хорошо, я выпью, а чем я зажирать буду?»

А он: «Ничего, Веня, потерпишь. А коли хочешь жрать — так не пей». Так и ухожу, без всякой сдачи. Сержусь, конечно; думаю: «Мерило!» «Цивилизации!» «Эх, Максим Горький, Максим же ты Горький, сдуру или спьяну ты сморозил такое на своем Капри? Тебе хорошо — ты там будешь жрать свои агавы, а мне чего жрать?..»

Публика смеялась. А внучек верещал: «И-и-и-и, какие агавы, какие хорошие капри...»

— А плохая баба?— сказал декабрист.— Разве не нужна бывает и плохая баба?

— Конечно! Конечно, нужна,— отвечал я ему.— Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходима бывает. Вот я, например, двенадцать недель тому назад: я был во гробе, я уже четыре года лежал во гробе, так что уже и смердеть перестал. А ей говорят: «Вот — он во гробе. И воскреси, если сможешь». А она подошла ко гробу — вы бы видели, как она подошла!

— Знаем!— сказал декабрист.— «Идет, как пишет. А пишет, как Лева. А Лева пишет фуево».

— Вот-вот! Подошла ко гробу и говорит: «Талифа куми». Это значит в переводе с древнежидовского: «Тебе говорю —

встань и ходи». И что ж вы думаете? Встал — и пошел. И вот уже три месяца хожу замутненный...

— Замутненность — от грусти,— повторил черноусый в беретке.— А грусть от бабы.

— Замутненность — оттого, что поддал,— перебил его декабрист.

— Да причем тут «поддал»? А «поддал»-то почему? Потому что, допустим, человек грустит и едет к бабе. Нельзя же ехать к бабе и не пить!— плохая, значит, баба! Да если даже и плохая — все равно надо выпить. Наоборот, чем хуже баба, тем лучше надо поддать!..

— Честное слово!— вскричал декабрист.— Как хорошо, что все мы такие развитые! У нас тут прямо как у Тургенева: все сидят и спорят про любовь. Давайте и я вам что-нибудь расскажу — про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы!.. Давайте, как у Тургенева! Пусть каждый чего-нибудь да расскажет...

«Давайте!» «Давайте, как у Тургенева!» Даже старший Митрич — и тот сказал: «Давайте!..»

61-й километр — 65-й километр

Первым начал рассказывать декабрист:

— Один приятель был у меня, я его никогда не забуду. Он и всегда-то был какой-то одержимый, а тут не иначе как бес в него вошел. Он помешался — знаете, на ком? На Ольге Эрдели, прославленной советской арфистке. Может быть, Вера Дулова тоже прославленная арфистка. Но он помешался именно на Эрдели. И ни разу-то он ее в жизни не видел, а только слышал по радио, как она бренчит на арфе,— а вот поди ж ты, помешался...

Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит, не пьет, с постели не встает, девушек не любит и в окошко не высовывается... Подай ему Ольгу Эрдели, и весь тут сказ. Наслажусь, мол, арфисткой Ольгой Эрдели и только тогда — воскресюсь: встану с постели, буду работать и учиться, буду пить и курить и высунусь в окошко. Мы ему говорим:

— Ну зачем тебе именно Эрдели? Возьми хоть Веру Дулову взамен Эрдели, Вера Дулова играет прекрасно!

А он:

— Подавитесь вы своей Верой Дуловой! В гробу я видел вашу Веру Дулову! Я с вашей Верой Дуловой и срать рядом не сяду!

Ну, видим, мальй совсем выкипает. Дня через три опять мы к нему подходим.

— Ну как, все Ольгой Эрдели бредишь? Мы нашли лекарство: хочешь, мы завтра приволокем тебе Веру Дулову?

— Конечно,— отвечает,— если вы хотите, чтобы я ее, вашу Веру Дулову, удавил струною от арфы,— тогда, пожалуйста, волоките. Я ее удавлю.

Ну что делать? Мальй совсем вымирает, надо его спасать. Пошел я к Ольге Эрдели, хотел объяснить, в чем дело, да так и не решился. Хотел даже и к Вере Дуловой — да нет, думаю, удавит он ее, как незабудку. И иду я по Москве вечером, и грустно мне: они там на арфах сидят и играют, толстеют и пухнут на арфах, а от малого остались руины и пепел.

А тут мне встречается бабонька, не то чтоб очень старая, но уже пьяная-пьяная. «Рррупь мне дай,— говорит.— Дай мне рррупь!» И тут-то меня осенило. Я дал ей рупь и все ей объяснил: она, эта мандавошечка, оказалась понятливее Эрдели, а для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку...

И вот — я поволок ее к моему приятелю. Вошли: он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку, прямо с порога. А потом — швырнул ему в лицо эту Ольгу, я этой Ольгой в него запустил... «Вот она — Эрдели! Не веришь — спроси!»

И наутро смотрю: открылось окошко, он в него высунулся и потихоньку закурил. Потом — потихоньку заработал, заучился, запил... И стал человек как человек. Вот видите!..

— Да где же тут любовь и где Тургенев?— заговорили мы, почти не дав окончить.— Нет, ты давай про любовь! Ты читал Ивана Тургенева? Ну, коли читал, так и расскажи! Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про вуаль, и как тебе хлыстом по роже съездили — вот примерно все это и расскажи...

— Конечно,— прибавил я,— у Ивана Тургенева все это немножко не так, у него все собираются к камину, в цилиндрах, и держат жабо на отлете... Ну, да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо — что нам жабо! Мы и без жабо — лыка не вяжем...

— Конечно! Конечно!

— Если любовь по-тургеневски, это значит: суметь пожертвовать всем ради избранного создания! Суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по-тургеневски! Вот ты, например

(мы незаметно переходили на «ты»). Вот ты, декабрист. Ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, — смог бы палец у него откусить? ради любимой женщины?

— Ну зачем палец?.. При чем тут палец? — застонал декабрист.

— Нет, нет, слушай. А ты мог бы: ночью, тихонько войти в парткабинет, снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, надеть штаны и тихонько вернуться домой? ради любимой женщины? смог бы?..

— Боже мой! Нет, не смог бы.

— Ну вот то-то...

— А я бы смог! — проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. — А я бы смог чего-нибудь рассказать...

— Ты? Рассказать? Да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Тургенева!..

— Ну и пусть, что не читал... Мой внучек зато все читал...

— Ну, ладно! ладно! внучек потом расскажет! внучку потом слово дадим! Давай, папаша, ваяй, рассказывай про любовь!..

«Представляю, — подумал я, — что это будет за чушь! что за несусветная чушь!» И я снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей Царицей: «Еще выше нанесу окоlesiцы! Нанесу еще выше!» Что ж, пусть рассказывает, этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна — все равно: смотри и чтить, смотри и не плюй...

Дедушка начал рассказывать:

65-й километр – Павлово-Посад

— Председатель у нас был... Лоэнгрин его звали, строгий такой... и весь в чирьях... и каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет... плывет и чирья из себя выдавливают...

Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован:

— А покатается он на лодке... придет к себе в правление, ляжет на пол... тут уже к нему не подступишь — молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек — отвернется он в угол и заплачет... стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький...

Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились, синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал! Плакал, как женщина, охватив

руками голову, плечи его так и ходили ходуном, так и ходили, как волны...

— Ну и все, что ли, Митрич?..

Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись, безобразно и радостно. А внучек даже весь задержался, снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе в шиколку. Черноусый сердился:

— Да где же тут Тургенев? Мы же договорились: как у Ивана Тургенева! А тут черт знает что такое! Какой-то весь в чирьях! да еще вдобавок «пысает»!

— Да ведь он, наверно, кинокартину пересказывал!— буркнул кто-то со стороны.— Кинокартину «Председатель»!

А я сидел и понимал старого Митрича, понимал его слезы: ему просто все и всех было жалко: жалко председателя, за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и чирьи — все жалко... Первая любовь или последняя жалость — какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальства он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру — едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву. И ко плоду всякого чрева — жалость.

— Давай, папаша,— сказал я ему,— давай я угощу тебя, ты заслужил! ты хорошо рассказал про любовь!..

— И все, и все давайте выпьем! За орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции!

— Давайте! За орловского дворянина!..

Снова началось то же бульканье и тот же звон, потом опять шелестенье и чмокание. Этюд до диэз минор, сочинение Ференца Листа, исполнялся на бис...

Никто сразу и не заметил, как у входа в наше «купе» (назовем его «купе») выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна снизу доверху, и берет у нее разъезжался...

— Я тоже хочу Тургенева и выпить,— проговорила она всею утробой...

Замешательство длилось не больше двух мгновений.

— Аппетитная приходит во время еды,— съязвил декабрист. Все засмеялись.

— Чего тут смеяться,— сказал дедушка.— Баба как баба, хорошая, мягонькая...

— Таких хороших баб,— мрачно отозвался черноусый и снял берет,— таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтоб их там волки-медведи кушали...

– Ну почему, почему!– я запротестовал и засуетился.– Пусть сядет! Пусть чего-нибудь да расскажет!– Читали Тургенева, читали Максима Горького, а толку с вас!.. Я потеснился. Я усадил ее и налил ей полстакана «тети Клавьи».

Она выпила и, вместо благодарности, приподняла с головы свой берет. «Вот это – видите?» И показала всем свой шрам повыше уха. А потом торжественно помолчала – и снова протянула мне стакан: «Плесни еще, молодой человек, а не то упаду в обморок».

Я налил ей еще полстакана.

Павлово-Посад – Назарьево

Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настезь растворила свой рот и всем показала: «Видите – четырех зубов не хватает?» «Да где же зубы-то эти?» «А кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу – у вас тут такой литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба...»

И она принялась рассказывать, и вот каков был стиль ее рассказа...

– Все с Пушкина и началось. К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: «Мой чудный взгляд тебя томил?» Я говорю: «Ну, допустим, томил...» А он опять за икры: «В душе мой голос раздавался?» «Конечно,– говорю,– раздавался». Тут он схватил меня в охашку и куда-то поволок. А когда уже выволок – я ходила все дни сама не своя, все твердила: «Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался». «Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин». А потом опять: «Пушкин-Евтюшкин»...

– Ты ближе к делу, ближе к передним зубам,– оборвал ее черноусый.

– Сейчас, сейчас будут и зубы! Будут вам и зубы!.. Что же дальше?.. Да, с этого дня все шло хорошо, целых полгода я с ним на сеновале Бога гневил, все шло хорошо! А потом этот Пушкин опять все напортил!.. Я ведь как Жанна д'Арк. Та тоже – нет, чтобы коров пасти и жать хлеба – так она села на лошадь и поскакала в Орлеан, на свою попу приключений искать. Вот так и я – как немножко напысью, так сразу к нему подступаю:

«А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли?» А он огрызается: «Да каких там еще детишек? Ведь детишек-то нет! При чем же тут Пушкин!» А я ему на это: «Когда они будут, детишки, поздно будет Пушкина вспоминать!»

И так всякий раз — стоило мне немного напиться.

«Кто за тебя, — говорю, — детишек?.. Пушкин, что ли?» А он — прямо весь бесится. «Уйди, Дарья, — кричит, — уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом — все-таки ничего, опять любила, так любила, что по ночам просыпалась от этого...

И вот как-то однажды я уж совсем перепилась. Подлетаю я к нему и ору: «Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?» Он, как услышал о Пушкине, весь почернел и затрясся: «Пей, напивайся, но Пушкина не трогай! Детишек — не трогай! Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!» А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на юге в то время осень была, и я ему вот что тогда заорала: «Уходи от меня, душегуб, совсем уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь! А потом в монастырь и схиму приму! Ты придешь прощения ко мне просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду исцарапаю безымянным пальцем! Уходи!!!» А потом кричу: «Ты хоть душу-то любишь во мне? Душу — любишь?» А он все трясется и чернеет: «Сердцем, — орет, — сердцем — да, сердцем люблю твою душу, но душою — нет, не люблю!!!»

И как-то дико, по-оперному, рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп и уехал во Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего “я”!»

Да! А через месяц он вернулся. А я в это время пьяная была в дым, я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: «Ага! — закричала. — Умотал во Владимир-на-Клязьме! а кто за тебя детишек...» А он — не говоря ни слова — подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола...

— Дело к обмороку, малыш. Налей-ка еще чуток...

Все давились от смеха. Всех доконала, главное, эта глухонемая бабушка.

– А где же он теперь, твой Евтюшкин?..

– А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит в Сибири...

– Верно говоришь, – поддержал я ее, – В Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов – был. Он говорит: идешь, идешь, видишь – кишлак, а в нем кизяками печку топят, а выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул... Так он так и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего – приехал рыхлый и глаза навькате...

– А в Сибири?..

– А в Сибири – нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж «поесть». Только один раз в год им привозят из Житомира выпитые полотенца – и негры на них вешаются...

– Да что еще за негры? – встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. Какие в Сибири негры! Негры в Штатах живут, а не в Сибири! Вы, допустим, в Сибири были. А в Штатах вы были?..

– Был в Штатах! И не видел там никаких негров!

– Никаких негров! В Штатах??

– Да! В Штатах! Ни единого негра!..

Все как-то настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину сложной судьбы, со шрамом и без зубов, – все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные – забылись; один только Митрич, чтоб в присутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то мочой поперек затылка...

– Значит, вы были в Штатах, – мямлил черноусый, – это очень и очень чрезвычайно! Негров там нет и никогда не было, это я допускаю... я вам верю, как родному... Но – скажите: свободы там тоже не было и нет?.. свобода так и остается призраком на этом континенте скорби? скажите...

– Да, – отвечал я ему, – свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, и они так к этому привыкли, что почти не замечают. Вы только подумайте! У них – я много ходил и глядывался, – у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в

реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую пятилетку. «Отчего бы это?— думал я и сворачивал с Манхэттена на 5-ю авеню и сам себе отвечал: — От их паскудного самодовольства, и больше ниотчего». Но откуда берется самодовольство?? я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль: «В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов — откуда столько самодовольства?» Я шел в Гарлем и пожимал плечами: «Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей — откуда у них такой аппетит? Жруг по пять раз на день, и очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством — а разве вообще может быть аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах!..»

— Да, да, да,— кивал головою старьй Митрич,— они там кушают, а мы почти уже и не кушаем... весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу... а сами что будем кушать?..

— Ничего, папаша, ничего!.. Ты уже свое откушал, грех тебе говорить. Если будешь в Штатах — помни главное: не забывай старушку-Родину и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине. Ты помнишь, что он писал?..

— Как же... помню...— и все вышитое выливалось у него из синих глаз,— помню... «мы с бабушкой уходим все дальше в лес...»

— Да разве ж это про Родину, Митрич!— осоловело сердился черноусьй.— Это про бабушку, а совсем не про Родину!..

И Митрич снова заплакал...

Назарьево — Дрезна

А черноусьй сказал:

— Вот вы много повидали, много поездили. Скажите: где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?

— Не знаю, как по ту. А по эту — совсем не ценят. Я, например, был в Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий — поодаль — поет про того, кто рисует... И так от этого грустно. А они нашей грусти — не понимают...

– Да ведь итальянцы!– разве они что-нибудь понимают!– поддержал черноусый.

– Именно. Когда я был в Венеции, в день святого Марка,– захотелось мне посмотреть на гребные гонки. И так мне грустно было от этих гонок! Сердце исходило слезами, но немотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают: «Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит, как поеванный!» Да разве ж я как поеванный! Просто – немотствуют уста...

Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланум и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркулануме мне сказали: «Ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты лучше в Помпею». Прихожу в Помпею, а мне говорят: «Далась тебе эта Помпея! Ступай в Геркуланум!..»

Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к линии Мажино, и вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонго, койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмиро Тольятти койку снять, но ведь он недавно умер... А чем хуже Луиджи Лонго?..

А все-таки обратно не пошел. А пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: «Если ты хочешь учиться на бакалавра – тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще?» Ну, что им ответить? Я говорю: «Ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота». «Из Сибири?»– спрашивают. Говорю: «Из Сибири». «Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей – что присуще?» Я подумал: это все-таки не Храпуново, а Сорбонна, надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: «Мне как феномену присущ самовозрастающий Логос». А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее: «Дурак ты,– говорит,– а никакой не Логос! Вон,– кричит,– вон, Ерофеев, из нашей славной Сорбонны!» В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Лонго...

Что же мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону Нотр-Дама, иду и удивляюсь: кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал де Голль, ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки!..

По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все спуют — из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским полям — а кругом столько трипперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу: двое знакомых — она и он, оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел? в газетах? не помню, короче, узнал: это Луи Арагон и Эльза Триоле. «Интересно,— прошмыгнула мысль у меня,— откуда они идут: из клиники в бардак или из бардака в клинику?» И сам же себя обрезал: «Стыдись. Ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопросы, самые мучительные социальные вопросы...»

Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце, говорю, что я отчаялся во всем, но что нет у меня ни в чем никакого сомнения, и что я умираю от внутренних противоречий, и много еще чего — а он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под руку и дальше пошел. Я опять их догоняю, и теперь уже говорю не Луи, а Триоле: говорю, что умираю от недостатка впечатлений, и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как в минуты отчаяния — а она, как старая блядь, потрепала меня по щеке, взяла под руку своего Арагона и дальше пошла...

Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди, это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, ну да какая мне теперь разница? Я пошел по Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак — я все это путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я тринадцать трубок — и отослал в «Ревю де Пари» свое эссе под французским названием «Шик и блеск иммер эlegant». Эссе по вопросам любви.

А вы сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, а у нас ничего не знают о

любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси: «Какой это шанкр, твердый или мягкий?» — он обязательно брякнет: «Мягкий, конечно», а покажи ему мягкий — так он и совсем растеряется. А там — нет. Там, может быть, не знают, сколько стоит зверобой, но уж если шанкр мягкий, так он для каждого будет мягок, и твердым его никто не назовет...

Короче, «Ревю де Пари» вернул мне эссе под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете? — я отчаялся? Я выкурил на антресолях еще тринадцать трубок — и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все, от начала до конца, было написано по-французски, русским был только заголовок: «Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости». И отослал в «Ревю де Пари»...

— И вам опять вернули? — спросил черноусый, в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон...

— Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим, а основную идею — ложной. К русским условиям, — сказали, — возможно, это и применимо, но к французским — нет; стервозность, сказали, у нас еще не высшая ступень и уж далеко не последняя; у вас, у русских, ваша блядовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена онанизмом по обязательной программе; у нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое вращение некоторых элементов русского онанизма, с программой более произвольной, в нашу отечественную содомию, в которую — через кровосмешительство — трансформируется наша стервозность, но вращение это будет протекать в русле нашей традиционной блядовитости и совершенно перманентно!..

Короче, они совсем засрали мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями — и через Верден попер к Ламаншу. Я шел к Альбиону. Я шел и думал: «Почему я все-таки не остался жить на квартире Луиджи Лонго?» Я шел и пел: «Королева Британии тяжело больна, дни и ночи ее сочтены...» А в окрестностях Лондона...

— Позвольте, — прервал меня черноусый, — меня поражает ваш размах, нет, я верю вам как родному, меня поражает та легкость, с какой вы преодолевали все государственные границы..

Дрезна – 85-й километр

— Да что же тут такого поразительного! И какие еще границы?! Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница эта — не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую — меньше пьют и говорят на нерусском...

А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски? Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить... Так что там на этот счет совершенно свободно... Хочешь ты, например, остановиться в Эболи, — пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу — никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон — переходи.

Так что ничего удивительного... В двенадцать ноль-ноль по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея, фамилия у него какая-то звучная и дурацкая, вроде сэра Комби Корм: «Чего вы от нас хотите?» — спросил директор Британского музея. «Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали, вот чего я хочу...»

«Это в таких-то штанах чтобы я вас стал ангажировать?» — сказал директор Британского музея. «Это в каких же таких штанах?» — переспросил я его со скрытой досадой. А он, как будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: «Это в таких-то носках чтобы я вас ангажировал?»

— В каких же это носках?! — заговорил я, уже досады и не скрывая. — В каких же это носках?! Вот те носки, которые я таскал на Родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и...

А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и сказал: «Лорды! вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемькой? Ангажировать это чучело? или не давать этому пугалу никакого ангажемента?» А лорды рассмотрели меня в монокли и говорят: «А ты попробуй, Уильям! попробуй, выставь его для обозрения! этот пыльный мудака»

впишется в любой интерьер!» Тут слово взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула:

– Контролеры! Контролеры!.. – загремело по всему вагону, загремело и взорвалось: «Контролеры!!..»

Мой рассказ оборвался. Ноне только рассказ: и пьяная полудремота черноусого, и сон декабриста, – все было прервано на полпути. Старый Митрич очнулся, весь в слезах, а молодой – ослепил всех своей свистящей зевотой, переходящей в смех и дефекацию. Одна только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы, спала как фатаморгана...

Собственно говоря, на петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец спяну и купит билет, так ему, конечно, неудобно, если идут контролеры: когда к нему подходят за билетом, он не смотрит ни на кого – ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит уничтожающе, как на гадину. А публика – публика смотрит на «зайца» большими, красивыми глазами, как бы говоря: глаза опустил, мудаزون! совесть заела, жидовская морда! А в глаза ревизору глядят еще решительней: вот мы какие – и можешь ли ты осудить нас? Походи к нам, Семеньч, мы тебя не обидим...

До того, как Семеньч стал старшим ревизором, все выглядело иначе: в те дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефроном и Брокгаузом, а потом штрафовали и выплескивали из вагона. В те дни, смываясь от контролера, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая за собой даже тех, кто с билетом. Однажды, на моих глазах, два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены – так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты...

Старший ревизор Семеньч все изменил: он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще: он брал с безбилетника по грамму за километр. По всей России шоферня берет с «грачей» за километр по копейке, а Семеньч брал в полтора раза дешевле: по грамму за километр. Если, например, ты едешь из Чухлинки в Усад, расстояние девяносто километров, ты наливаешь Семеньчу девяносто грамм и дальше едешь совершенно спокойно, развалясь на лавочке, как негоциант...

Итак, нововведение Семеньгча укрепляло связь ревизора с широкою массою, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало... И в том всеобщем трепете, который вызывает крик «Контролеры!!» — нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение...

Семеньгч вошел в вагон, плотоядно улыбаясь. Он уже едва держался на ногах, он доезжал обычно только до Орехово-Зуева, а в Орехово-Зуеве выскакивал и шел в свою контору, набравшись до блевотины...

— Это ты опять, Митрич? Опять в Орехово? кататься на карусели? с вас обоих сто восемьдесят. А это ты, черноусый? Салтыковская — Орехово-Зуево? Семьдесят два грамма. Разбудите эту блядь и спросите, сколько с нее причитается. А ты, коверкот, куда и откуда? Серп и Молот — Покров? Сто пять, будьте любезны. Все меньше становится «зайцев». Когда-то это вызывало «гнев и возмущение», теперь же вызывает «законную гордость»... А ты, Веня?..

И Семеньгч всего меня кровожадно обдал перегаром:

— А ты, Веня? Как всегда: «Москва — Петушки»?..

85-й километр — Орехово-Зуево

— Да. Как всегда. И теперь уже навечно: Москва — Петушки...

— И ты думаешь, что и на этот раз от меня отвертишься!? Да?.. Ше-хе-ре-зада...

Тут я должен сделать маленькое отступление, и пока Семеньгч пьет положенную ему штрафную дозу, я поскорее вам объясню, почему «Шехерезада» и что значит «отвертишься»?

Прошло уже три года, как я впервые столкнулся с Семеньгчем. Тогда он только заступил на должность. Он подошел ко мне и спросил: «Москва — Петушки? Сто двадцать пять». И когда я не понял в чем дело, он объяснил мне в чем дело. И когда я сказал, что у меня с собой ни грамма нет, он мне сказал на это: «Так что же? бить тебе морду, если у тебя с собой ни грамма нет?» Я ответил ему, что бить не надо и промямлил что-то из области Римского права. Он страшно заинтересовался и попросил меня рассказать подробнее обо всем античном и римском. Я стал рассказывать, и дошел уже до скандальной истории с Лукрецией и Тарквинием, но тут ему надо было выскакивать в Орехово-Зуеве, и он так и не успел дослушать,

что же все-таки случилось с Лукрецией: достиг своего шалопай Тарквиний или не достиг?..

А Семеньч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист, история мира привлекала его единственно лишь альковной своей стороною. И когда через неделю в районе Фрязева снова нагрянули контролеры, Семеньч уже не сказал мне: «Москва – Петушки? Сто двадцать пять». Нет, он кинулся ко мне за продолжением: «Ну, как? Уебал он все-таки эту Лукрецию?»

И я рассказал ему, что было дальше. Я от римской истории перешел к христианской и дошел уже до истории с Гипатией. Я ему говорил: «И вот, по наущению патриарха Кирилла, одержимые фанатизмом монахи Александрии сорвали одежды с прекрасной Гипатии и...» Но тут наш поезд, как вкопанный, остановился в Орехово-Зуеве, и Семеньч выскочил на перрон, вконец заинтригованный..

И так продолжалось три года, каждую неделю. На линии «Москва – Петушки» я был единственным безбилетником, кто ни разу еще не подносил Семеньчу ни единого грамма и тем не менее оставался в живых и непобитых. Но всякая история имеет конец, и мировая история – тоже...

В прошлую пятницу я дошел до Индиры Ганди, Моше Даяна и Дубчека. Дальше этого идти было некуда...

И вот – Семеньч выпил свою штрафную, крикнул и посмотрел на меня, как удав и султан Шахриар:

– Москва – Петушки? Сто двадцать пять.

– Семеньч! – отвечал я, почти умоляюще. – Семеньч! Ты выпил сегодня много?..

– Прилично, – отвечал мне Семеньч не без самодовольства. Он пьян был в дымину...

– А значит: есть в тебе воображение? Значит: устремиться в будущее тебе по силам? Значит: ты можешь вместе со мной перенестись из мира темного прошлого в век золотой, который «ей-ей, грядет»?..

– Могу, Веня, могу! сегодня я все могу!..

– От третьего рейха, четвертого позвонка, пятой республики и семнадцатого съезда – можешь шагнуть, вместе со мной, в мир вожделенного всем иудеям пятого царства, седьмого неба и второго пришествия?..

– Могу! – рокотал Семеньч. – Говори, говори, Шехерезада!

— Так слушай. То будет день, «избраннейший всех дней». В тот день истомившийся Симеон скажет наконец: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыка...» И скажет архангел Гавриил: «Богородица Дева, радуйся, благословенна ты между женами». И доктор Фауст проговорит: «Вот — мгновенье! Продлись и постой». И все, чье имя вписано в книгу жизни, запоют «Исайя, ликуй!», и Диоген погасит свой фонарь. И будет добро и красота, и все будет хорошо, и все будут хорошие, и кроме добра и красоты ничего не будет, и сольются в поцелуе...

— Сольются в поцелуе?...— заерзал Семеньч, уже в нетерпении...

— Да! И сольются в поцелуе мучитель и жертва; и злоба, и помысел, и расчет покинут сердца, и женщина...

— Женщина!!— затрепетал Семеньч.— Что? что женщина?!!!!..

— И женщина Востока сбросит с себя паранджу! окончательно сбросит с себя паранджу угнетенная женщина Востока! И возляжет...

— Возляжет?!— тут он задергался.

— Да. И возляжет волк рядом с агнцем, и ни одна слеза не прольется, и кавалеры выберут себе барышень, кому какая нравится, и...

— О-о-о!— застонал Семеньч.— Скоро ли сие? Скоро ли будет?...— и вдруг, как гитана, заломил свои руки, а потом суетливо, пугаясь в одежде, стал снимать с себя и мундир, и форменные брюки, и все, до самой нижней своей интимности...

Я, как ни был пьян, поглядел на него с изумлением. А публика, трезвая публика, почти повскакала с мест, и в десятках глаз ее было написано громадное «ого»! Она, эта публика, все поняла не так, как надо бы понять...

А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, Голанские высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с Голанских высот, а арабов с иудеями примирить?— что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм.

Допустим, смотрят они телевизор: генерал де Голль и Жорж Помпиду встречаются на дипломатическом приеме. Ес-

тественно, оба они улыбаются и руки друг другу жмут. А уж публика: «Ого!?– говорит.— Ай да генерал де Голль!» Или: «Ого! Ай да Жорж Помпиду!»

Вот так они и на нас смотрели теперь. У каждого в круглых глазах было написано это «Ого!»

– Семеньч! Семеньч!– я обхватил его и потащил на площадку вагона.— На нас же смотрят!.. Опомнись!.. Пойдем!..

Он был чудовищно тяжел. Он был размягчен и зыбок. Я едва дотащил его до тамбура и поставил у входных дверей.

– Веня! Скажи мне... женщина Востока... если снимет с себя паранджу... на ней что-нибудь останется?.. Что-нибудь есть у нее под паранджой?..

Я не успел ответить. Поезд, как вкопанный, остановился на станции Орехово-Зуево, и дверь автоматически растворилась...

Орехово-Зуево

Старшего ревизора Семеньча, заинтригованного в тысячу первый раз, полуживого, растянутого — вынесло на перрон и ударило головой о перила... Мгновения два или три он еще постоял, колеблясь, как мыслящий тростник, а потом уже рухнул под ноги выходящей публике, и все штрафы за безбилетный проезд хлынули у него из чрева, растекаясь по перрону...

Все это я видел совершенно отчетливо, и свидетельствую об этом миру. Но вот всего остального — я уже не видел, и ни о чем не могу свидетельствовать. Краешком сознания, самым-самым краешком, я запомнил, как выходящая в Орехове лавина публики запуталась во мне и вбирала меня, чтобы накопить меня в себе, как паршивую слюну,— и выплюнуть на ореховский перрон. Но плевок все не получался, потому что входящая в вагон публика затыкала рот выходящей. Я мотался, как говно в проруби.

И если там Господь меня спросит: «Неужели, Веня, ты больше не помнишь ничего? Неужели ты сразу погрузился в тот сон, с которого начались все твои бедствия?..» — я скажу ему: «Нет, Господь, не сразу...» Краешком сознания, все тем же самым краешком, я еще запомнил, что сумел, наконец, совладать со стихиями и вырваться в пустые пространства вагона и опрокинуться на чью-то лавочку, первую от дверей...

А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты — о нет! Я лгу опять! я снова лгу перед лицом Твоим, Господь! Это лгу не я, это лжет моя

ослабевшая память!— я не сразу отдался потоку, я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз пять или шесть,— а уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грез и ленивой дремоты...

«Все ваши выдумки о веке золотом,— твердил я,— все ложь и уныние. Но я-то, двенадцать недель тому, видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск — в тринадцатый раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем, там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин,— а что там в жасмине? Кто там, облаченный в пурпур и крученый виссон, смежал ресницы и обоняет лилии?...»

И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина...

Орехово-Зуево — Крутое

...А из кустов жасмина выходит заспанный Тихонов и щурится, от меня и от солнца.

— Что ты здесь делаешь, Тихонов?

— Я отрабатываю тезисы. Все давно готово к выступлению, кроме тезисов. А вот теперь и тезисы готовы...

— Значит, ты считаешь, что ситуация назрела?

— А кто ее знает? Я, как немножко выпью, мне кажется, что назрела; а как начинает хмель проходить — нет, думаю, еще не назрела, рано еще братья за оружие...

— А ты выпей можжевеловой, Вадя...

Тихонов выпил можжевеловой, крикнул и загрустил.

— Ну как? Назрела ситуация?

— Погоди, сейчас созреет...

— Когда же выступить? Завтра?

— А кто его знает! Я, как выпью немножко, мне кажется, что хоть сегодня выступай, что и вчера было не рано выступать. А как начинает проходить — нет, думаю, и вчера было рано, и послезавтра не поздно.

— А ты выпей еще, Вадимчик, выпей еще можжевеловой...

Вадимчик выпил и опять загрустил.

— Ну, как? Ты считаешь: пора?..

— Пора...

— Не забывай пароль. И всем скажи, чтоб не забывали: завтра утром, между деревней Тартино и деревней Елисейково, у скотного двора, в девять ноль-ноль по Гринвичу...

— Да. В девять ноль-ноль по Гринвичу.

— До свидания, товарищ. Постарайся уснуть в эту ночь...

— Постараюсь уснуть, до свидания, товарищ.

Тут я сразу должен оговориться, перед лицом совести всего человечества я должен сказать: я с самого начала был противником этой авантюры, бесплодной, как смоковница. (Прекрасно сказано: «бесплодной, как смоковница».) Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогах. Но уж раз начали без меня — я не мог быть в стороне от тех, кто начал. Я мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие...

В девятом часу по Гринвичу, в траве у скотного двора, мы сидели и ждали. Каждому, кто подходил, мы говорили: «Садись, товарищ, с нами — в ногах правды нет», и каждый оставался стоять, бряцал оружием и повторял условную фразу из Антонио Сальери: «Но правды нет и выше». Шаловлив был этот пароль и двусмыслен, но нам было не до этого: приближалось девять ноль-ноль по Гринвичу...

С чего все началось? Все началось с того, что Тихонов прибил к воротам Елисейковского сельсовета свои четырнадцать тезисов. Вернее, не прибил их к воротам, а написал на заборе мелом, и это скорее были слова, а не тезисы, четкие и лапидарные слова, а не тезисы, и было их всего два, а не четырнадцать, — но, как бы то ни было, с этого все началось.

Двумя колоннами, с штандартами в руках, мы вышли — колонна на Елисейково, другая — на Тартино. И шли беспрепятственно вплоть до заката: убитых не было ни с одной стороны, раненых тоже не было, пленный был только один — бывший председатель ларионовского сельсовета, на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденное слабоумие. Елисейково было повержено. Черкасово валялось у нас в ногах, Неугодово и Пекла молили о пощаде. Все жизненные центры петушинского уезда — от магазина в Поломах до андреевского склада сельпо, — все заняты были силами восставших...

А после захода солнца — деревня Черкасово была провозглашена столицей, туда был доставлен пленный, и там же символизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут пьязы, все молили одно и то же: Максимилиан Робеспьер, Оливьер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из Петушков, война с Норвегией, и опять Соня Перовская и Вера Засулич...

С места кричали: «А где это такая — Норвегия?..». «А кто ее знает где!— отвечали с другого места.— У черта на куличках, у бороды на клине!» «Да где бы она ни была,— унимал я шум,— без интервенции нам не обойтись. Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить, а для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война, нужно как минимум двенадцать фронтов...» «Белополяки нужны!»— кричал закосевший Тихонов. «О, идиот,— прерывал я его,— вечно ты ляпнешь! Ты блестящий теоретик, Вадим, твои тезисы мы прибили к нашим сердцам,— но как доходит до дела, ты говно-говном! Ну, зачем тебе, дураку, белополяки?..» «Да разве я спорю!— сдавался Тихонов.— Как будто они мне больше нужны, чем вам! Норвегия так Норвегия...»

Впопыхах и в азарте все как-то забыли, что та уже двадцать лет состоит в НАТО, и Владик Ц-ский уже бежал на ларионовский почтамт, с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улафу с объявлением войны и уведомлением о вручении. Другое письмо — вернее, даже не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверт,— было отправлено генералу Франко: пусть он увидит в этом грозящий перст, старая шпала, пусть побелеет, как этот лист, одряхлевший разьебай-каудильо!.. От премьера Британской империи Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного: убери, премьер, свою дурацкую канонерку из залива Акаба, а дальше поступай по произволению... И, наконец, четвертое письмо — Владиславу Гомулке, мы писали ему: ты, Владислав Гомулка, имеешь полное и неотъемлемое право на Польский Коридор, а вот Юзеф Циранкевич не имеет на Польский Коридор ни малейшего права...

И послали четыре открытки: Аббе Эбану, Моше Даяну, генералу Сухарто и Александру Дубчеку. Все четыре открытки были очень красивые, с виньеточками и желудьями. Пусть, мол, порадуются ребята, может они нас, губошлепы, признают за это субъектами международного права...

Никто в эту ночь не спал. Всех захватил энтузиазм, все глядели в небо, ждали норвежских бомб, открытия магазинов и интервенции и воображали себе, как будет рад Владислав Гомулка и как будет рвать на себе волосы Юзеф Циранкевич...

Не спал и пленный, бывший предсельсовета Анатолий Иваныч, он выл из своего сарая, как тоскующий пес:

– Ребята!.. Значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет?..

– Эва, чего захотел! Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией!..

– А чего это такое?..

– Узнаешь, чего это такое! То есть, ноги еще будешь таскать, Иваньч, а уж на блядки не потянет!..

Крутое – Воиново

А с утра, еще до открытия магазинов, состоялся Пленум. Он был расширенным и октябрьским. Но поскольку все четыре наших Пленума были октябрьскими и расширенными, то мы, чтоб их не перепутать, решили пронумеровать их: 1-й пленум, 2-й пленум, 3-й пленум и 4-й пленум...

Весь 1-й пленум был посвящен избранию президента, то есть избранию меня в президенты. Это отняло у нас полторы-две минуты, не больше. А все оставшееся время поглощено было прениями на тему чисто умозрительную: кто раньше откроет магазин, тетя Маша в Андреевском или тетя Шура в Поломах?

А я, сидя в своем президиуме, слушал эти прения и мыслил так: прения совершенно необходимы, но гораздо необходимее декреты. Почему мы забываем то, чем должна увенчиваться всякая революция, то есть «декреты»? Например, такой декрет: обязать тетю Шуру в Поломах открывать магазин в шесть утра. Кажется, чего бы проще?— нам, облеченным властью, взять и заставить тетю Шуру открывать свой магазин в шесть утра, а не в девять тридцать! Как это раньше не пришло мне в голову!..

Или, например, декрет о земле: передать народу всю землю уезда, со всеми угодьями и со всякой движимостью, со всеми спиртными напитками и без всякого выкупа? Или так: передвинуть стрелку часов на два часа вперед, или на полтора часа назад, все равно, только бы куда передвинуть. Потом: слово «черт» надо принудить снова писать через «о», а какую-нибудь букву вообще упразднить, только надо подумать какую. И, наконец, заставить тетю Машу в Андреевском открывать магазин в пять тридцать, а не в девять...

Мысли роились — так роились, что я затосковал, отозвал в кулуары Тихонова, мы с ним выпили тминной, и я сказал:

– Слушай-ка, канцлер!

– Ну, чего?..

– Да ничего. Говенный ты канцлер, вот чего.

— Найди другого,— обиделся Тихонов.

— Не об этом речь, Вадя. А речь вот о чем: если ты хороший канцлер, садись и пиши декреты. Выпей еще немножко, садись и пиши. Я слышал, ты все-таки не удержался, ты ущипнул за ляжку Анатолий Ивановича? Ты что же это?— открываешь террор?

— Да так... Немножко...

— И какой террор открываешь? Белый?

— Белый.

— Зря ты это, Вадя. Впрочем, ладно, сейчас не до этого. Надо вначале декрет написать, хоть один, хоть самый какой-нибудь гнусный... Бумага, чернила есть? Садись, пиши. А потом выпьем — и декларацию прав. А уж только потом — террор. А уж потом выпьем и — учиться, учиться, учиться...

Тихонов написал два слова, выпил и вздохнул:

— Да-а-а... сплеховал я с этим террором... Ну, да ведь в нашем деле не ошибиться никак нельзя, потому что неслыханно ново все наше дело, и прецедентов считай что не было... Были, правда, прецеденты, но...

— Ну, разве это прецеденты! Это — так! чепуха! Полет шмеля это, забавы взрослых шалунов, а никакие не прецеденты!.. Летоисчисление — как думаешь?— сменим или оставим как есть?

— Да лучше оставим. Как говорится, не трогай дерьмо, так оно и пахнуть не будет...

— Верно говоришь, оставим. Ты у меня блестящий теоретик, Вадя, а это хорошо. Закрывать, что ли, пленум? Тетя Шура в Поломах уже магазин открыла. У нее, говорят, есть российская.

— Закрывай, конечно. Завтра с утра все равно будет 2-й пленум... Пойдем в Поломы.

У тети Шуры в Поломах в самом деле оказалась российская. В связи с этим, а также в ожидании карательных набегов из райцентра, решено было временно перенести столицу из Черкасова в Поломы, то есть на двенадцать верст вглубь территории республики.

И там, на другое утро, открыть 2-й пленум, весь посвященный моей отставке с поста президента.

— Я встаю с президентского кресла,— сказал я в своем выступлении,— я плюю в президентское кресло. Я считаю, что

пост президента должен занять человек, у которого харю с похмелья в три дня не уделаешь. А разве такие есть среди нас?

– Нет таких,— хором отвечали делегаты.

– Мою, например, харю — разве нельзя уделать в три дня и с похмелья?

Секунду-две все смотрели мне в лицо оценивающе, а потом отвечали хором: «Можно».

– Ну, так вот,— продолжал я.— Какой же я после этого президент? Обойдемся без президента. Лучше сделаем вот как: все пойдем в луга готовить пунш, а Борю закроем на замок. Поскольку это человек высоких качеств, пусть он тут сидит и формирует кабинет...

Мою речь прервали овации, и Пленум прикрылся: окрестные луга озарились синим огнем. Один только я не разделял всеобщего оживления и веры в успех, я ходил меж огней с одною тревожною мыслью: почему такое молчание в мире? Уезд охвачен пламенем, и мир молчит оттого, что затаил дыхание,— допустим. Но почему никто не подает нам руки ни с Востока, ни с Запада? Куда смотрит король Улаф? Почему нас не дают с юга регулярные части?..

Я тихо отвел в сторону канцлера, от него разило пуншем:

– Тебе нравится, Вадя, наша революция?

– Да,— ответил Вадя,— она лихорадочная, но она прекрасна.

– Так... А насчет Норвегии, Вадя,— насчет Норвегии ничего не слышно?

– Пока ничего... А что тебе Норвегия?

– Как то есть что Норвегия?!.. В состоянии войны мы с ней или не в состоянии? Очень глупо все получается. Мы с ней воюем, а она с нами не хочет... Если и завтра нас не начнут бомбить, я снова сажусь в президентское кресло — и тогда увидишь, что будет!..

– Садись,— ответил Вадя,— кто тебе мешает, Ерофейчик?.. Если хочешь — садись...

Воиново – Усад

Ни одной бомбы на нас не упало и наутро. И тогда, открывая 3-й пленум, я сказал:

«Сенаторы! Никто в мире, я вижу, не хочет с нами заводить ни дружбы, ни ссоры. Все отвернулись от нас и затаили дыхание. А поскольку каратели из Петушков подойдут сюда завтра к вечеру, а российская у тети Шуры кончится завтра утром,— я

беру в свои руки всю полноту власти; то есть, кто дурак и не понимает, тому я объясню: я ввожу комендантский час. Мало того — полномочия президента я объявляю чрезвычайными, и заодно становлюсь президентом. То есть «личностью, стоящей над законом и пророками...»

Никто не возразил. Один только премьер Боря С. при слове «пророки» вздрогнул, дико на меня посмотрел, и все его верхние части задрожали от мщения...

Через два часа он испустил дух на руках у министра обороны. Он умер от тоски и от чрезмерной склонности к обобщениям. Других причин вроде бы не было, а вскрывать мы его не вскрывали, потому что вскрывать было бы противно. А к вечеру того же дня все телетайпы мира приняли сообщение: «Смерть наступила вследствие естественных причин». Чья смерть, сказано не было, но мир догадывался.

4-й пленум был траурным.

Я выступил и сказал:

«Делегаты! Если у меня когда-нибудь будут дети, я повешу им на стену портрет прокуратора Иудеи Понтия Пилата, чтобы дети росли чистоплотными. Прокуратор стоит и умывает руки — вот какой это будет портрет. Точно так же и я: встаю и умываю руки. Я присоединился к вам просто с перепоею и вопреки всякой очевидности. Я вам говорил, что надо революционизировать сердца, что надо возвышать души до усвоения вечных нравственных категорий,— а что все остальное, что вы тут затеяли, все это суета и томление духа, бесполезней и мудянка...

И на что нам рассчитывать, подумайте сами! В общий рынок нас никто не пустит. Корабли Седьмого американского флота сюда не пройдут, да и пройти не захотят...»

Тут уже заорали с мест:

— А ты не отчаивайся, Веня! Не пукай! Нам дадут бомбардировщики! В-52 нам дадут!

— Как же! дадут нам В-52! Держи карман! Прямо смешно вас слушать, сенаторы!

— И «Фантомы» дадут!

— Ха-ха! Кто это сказал: «Фантомы»? Еще одно слово о «Фантомах» и я лопну от смеха...

Тут Тихонов со своего места сказал:

— «Фантомов» нам, может быть, и не дадут,— но уж девальвацию франка точно дадут...

– Дурак ты, Тихонов, как я погляжу! Я не спорю, ты ценный теоретик, но уж если ты ляпнешь!.. Да и не в этом дело. Почему весь Петушинский район охвачен пламенем, но никто, никто этого не замечает, даже в Петушинском районе? Короче, я пожимаю плечами и ухожу с поста президента. Я, как Понтий Пилат: умываю руки и допиваю перед вами весь наш остаток российской. Да. Я топчу ногами свои полномочия – и ухожу от вас. В Петушки.

Можете себе вообразить, какая буря поднялась среди делегатов, особенно когда я стал допивать остаток!..

А когда я стал уходить, когда ушел – какие слова полетели мне вслед! Тоже можете себе вообразить, я этих слов приводить вам не буду...

В моем сердце не было раскаяния. Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада, мне в поле кланялись хлеба и улыбались васильки. Но, повторяю, в сердце не было раскаяния... Закатилось солнце, а я все шел.

«Царица Небесная, как далеко еще до Петушков!» – сказал я сам себе. – Иду, иду, а Петушков все нет и нет. Уже и темно повсюду – где же Петушки?»

«Где же Петушки?» – спросил я, подойдя к чьей-то освещенной веранде. Откуда она взялась, эта веранда? Может, это совсем не веранда, а терраса, мезонин или флигель? я ведь в этом ничего не понимаю, и вечно путаю.

Я постучался и спросил: «Где же Петушки? Далеко еще до Петушков?» А мне в ответ – все, кто был на веранде, – все расхохотались, и ничего не сказали. Я обиделся и снова постучал – ржание на веранде возобновилось. Странно! Мало того – кто-то ржал у меня за спиной.

Я оглянулся – пассажиры поезда «Москва – Петушки» сидели по своим местам и грязно улыбались. Вот как? Значит, я все еще еду?..

«Ничего, Ерофеев, ничего. Пусть смеются, не обращай внимания. Как сказал Саади, будь прям и прост, как кипарис, и будь, как пальма, щедр. Не понимаю, причем тут пальма, ну да ладно, все равно, будь, как пальма. У тебя кубанская в кармане осталась? осталась. Ну вот, поди на площадку и выпей. Выпей, – чтобы не так тошнило».

Я вышел на площадку, сжатый со всех сторон кольцом дурацких ухмылок. Тревога поднималась с самого днища моей

души, и невозможно было понять, что это за тревога, и откуда она, и почему она так невнятна...

— Мы подъезжаем к Усаду, да?— Народ толпился у дверей в ожидании выхода, и к ним-то я обращал свой вопрос:— Мы подъезжаем к Усаду?

— Ты, чем спьяну задавать глупые вопросы, лучше бы дома сидел,— отвечал какой-то старичок,— дома бы лучше сидел и уроки готовил. Наверно, еще уроки к завтраму не приготовил, мама ругаться будет.

А потом добавил:

— От горшка два вершка, а уже рассуждать научился!..

Он что, очумел, этот дед? Какая мама? Какие уроки?.. От какого горшка?.. Да нет, наверно, не дед очумел, а я сам очумел. Потому что вот и другой старичок, с белым-белым лицом, стал около меня, снизу вверх посмотрел мне в глаза и сказал:

— Да и вообще: куда тебе ехать? Невеститься тебе уже поздно, на кладбище рано. Куда тебе ехать, милая странница?..

«Милая странница!!!?»

Я вздрогнул и отошел в другой конец тамбура. Что-то неладное в мире. Какая-то гниль во всем королевстве и у всех мозги набекрень. Я на всякий случай тихонько всего себя ощупал: какая же я после этого «милая странница»? С чего это он взял? Да и к чему? Можно, конечно, пошутить — но ведь не до такой же степени нелепо!

Я в своем уме, а они все не в своем — или наоборот: они все в своем, а я один не в своем? Тревога со дна души все подымалась и подымалась. И когда подъехали к остановке и дверь растворилась, я не удержался и спросил еще раз, у одного из выходящих, спросил:

— Это Усад, да?

А он (совсем неожиданно) выгнулся передо мной в струнку и рывкнул: «Никак нет!..» А потом — потом пожал мне руку, наклонился и на ухо сказал: «Я вашей доброты никогда не забуду, товарищ старший лейтенант!..»

И вышел из поезда, смахнув слезу рукавом.

Усад – 105-й километр

Я остался на площадке, в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в горечь. В конце концов, черт с ним,

пусть «милая странница», пусть «старший лейтенант», — но почему за окном темно, скажите мне, пожалуйста? Почему за окном чернота, если поезд вышел утром и прошел ровно сто километров?.. Почему?..

Я припал головой к окошку — о, какая чернота! и что там в этой черноте — дождь или снег? или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже.

— А! Это ты! — кто-то сказал у меня за спиной таким приятным голосом, таким злорадным, что я даже и поворачиваться не стал. Я сразу понял, кто стоит у меня за спиной. «Искушать сейчас начнет, тупая морда! Нашел же время — искушать!»

— Так это ты, Ерофеев? — спросил Сатана.

— Конечно, я. Кто же еще?..

— Тяжело тебе, Ерофеев?

— Конечно, тяжело. Только тебя это не касается. Проходи себе дальше, не на такого напал...

Я все так и говорил: уткнувшись лбом в окошко тамбура и не поворачиваясь.

— А раз тяжело, — продолжал Сатана, — смири свой порыв. Смири свой духовный порыв — легче будет.

— Ни за что не смирю.

— Ну и дурак.

— От дурака слышу.

— Ну ладно, ладно... уж и слова не скажи!.. Ты лучше вот чего: возьми и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не разобьешься...

Я сначала подумал, потом ответил:

— Не-а, не буду я прыгать, страшно. Обязательно разобьюсь...

И Сатана ушел, посрамленный.

А я — что мне оставалось? — я сделал из горлышка шесть глотков и снова припал головой к окошку. Чернота все плыла за окном, и все тревожила. И будила черную мысль. Я стискивал голову, чтобы отточить эту мысль, но она все никак не оттачивалась, а растекалась, как пиво по столу. «Не нравится мне эта тьма за окном, очень не нравится».

Но шесть глотков кубанской уже подходили к сердцу, тихонько, по одному, подходили к сердцу; и сердце вступило в единоборство с рассудком...

«Да чем же она тебе не нравится, эта тьма? Тьма есть тьма, и с этим ничего не поделаешь. Тьма сменяется светом, а свет сменяется тьмой — таково мое мнение. Да если она тебе и не нравится — она от этого быть тьмой не перестанет. Значит, остается один выход: принять эту тьму. С извечными законами бытия нам, дуракам, не совладать. Зажав левую ноздрию, мы можем сморкнуться только правой ноздрей. Ведь правильно? Ну, так и нечего требовать света за окном, если за окном тьма...»

«Так-то оно так... но ведь я выехал утром... В восемь шестнадцать, с Курского вокзала...»

«Да мало ли что утром!.. Теперь, слава Богу, осень, дни короткие; не успеешь очухаться — бах! уже темно... А ведь до Петушков ехать о-о-о как долго! От Москвы до Петушков о-о-о как долго ехать!..»

«Да чего “о-о-о”! Чего ты все “о-о-о” да “о-о-о”! От Москвы до Петушков ехать ровно два часа пятнадцать минут. В прошлую пятницу, например...»

«Ну что тебе прошлая пятница?! Мало ли что было в прошлую пятницу! В прошлую пятницу и поезд-то шел почти без остановок. И вообще раньше поезда быстрее ходили... А теперь, черт знает, стоит — а зачем стоит? Уж прямо тошно иногда делается: чего он все стоит да стоит? И так у каждого столба. Кроме Есино...»

Я взглянул в окно и опять нахмурился:

«Да-а... странно все-таки... выехали в восемь утра... и все еще едем...»

Тут уж сердце взорвалось: «А другие-то? Другие-то что: хуже тебя? Другие — ведь тоже едут и не спрашивают, почему так долго и почему так темно? Тихонько едут и в окошко смотрят... Почему ты должен ехать быстрее, чем они? Смешно тебя слушать, Веня, смешно и противно... Какой торопыга! Если ты выпил, Веня, — так будь поскромнее, не думай, что ты умнее и лучше других!..»

Вот это меня уже совсем убедило. Я ушел с площадки снова в вагон, и сел на лавочку, стараясь не глядеть в окошко, вся публика в вагоне, человек пять или шесть, дремали вниз головой, как грудные младенцы... Я чуть было тоже не задремал...

И вдруг — подскочил на месте: «Боже милостивый! Но ведь в 11 утра она должна меня ждать! В 11 утра она уже будет меня ждать — а на дворе все еще темно... Значит, мне ее придется

ждать до рассвета. Я ведь не знаю, где она живет. Я попадал к ней двенадцать раз, и все какими-то задворками и пьяный вдребодан... Как обидно, что я на тринадцатый раз еду к ней совершенно трезвый. Из-за этого мне придется ждать, когда же, наконец, рассветет! Когда же взойдет заря моей тринадцатой пятницы!

Впрочем, стоп! Ведь я уезжал из Москвы – заря моей пятницы уже взошла. Значит – уже сегодня пятница! Почему же так темно за окном?..»

«Опять! Опять ты со своей темнотой! далась тебе эта темнота!»

«Но ведь в прошлую пятницу...»

«Опять со своей прошлой пятницей! Я вижу, Веня, ты весь в прошлом. Я вижу, ты совсем не хочешь думать о будущем!..»

«Нет, нет, послушай... В прошлую пятницу, ровно в 11 утра, она стояла на перроне, с косой от затылка до попы... и было очень светло, я хорошо помню, и косу хорошо помню...»

«Да что “коса”! Ты пойми, дурак, я тебе повторяю: день сейчас убывает, потому что осень. В прошлую пятницу в 11 утра, я не спорю, было светло. А в эту пятницу, в 11 утра, может уже быть совершенно темно, хоть глаз коли. Ты знаешь, как сейчас день убывает? Знаешь? Я вижу, ты ничего не знаешь, только хвалишься, что все знаешь!.. Тоже мне, сказал: “коса”! Да коса-то, может, и прибывает: она, может, с прошлой пятницы уже ниже попы... А осенний день наоборот – он уже с гулькин хуй!

Какой же ты все-таки бестолковый, Веня!»

Я не очень сильно ударил себя по щеке, выпил еще три глотка – и прослезился. Со дна души взамен тревоги поднималась любовь. Я совсем раскис: «Ты обещал ей пурпур и лилии, а везешь триста грамм конфет “Василек”. И вот – через двадцать минут ты будешь в Петушках, и на залитом солнцем перроне смутишься и подашь ей этот “Василек”. А все будут говорить: “13-й раз подряд мы видим сплошной “Василек”. Но мы ни разу не видели ни лилий, ни пурпура”. А она рассмеется и скажет...»

Тут я почти совсем задремал. Я уронил голову себе на плечо и до Петушков не хотел ее поднимать. Я снова отдался потоку...

105-й километр – Покров

Но мне помешали отдалиться потоку. Чуть только я забылся, кто-то ударил меня хвостом по спине.

Я вздрогнул и обернулся: передо мною был некто без ног, без хвоста и без головы.

— Ты кто?— спросил я его в изумлении.

— Угадай, кто!— он рассмеялся, по людоедски рассмеялся...

— Вот еще! Буду я угадывать!..

Я обиженно отвернулся от него, чтобы снова забыться. Но тут меня кто-то с разгона трахнул головой по спине. Я опять обернулся: передо мною был все тот же некто, без ног, без хвоста и без головы...

— Ты зачем меня бьешь?— спросил я его.

— А ты угадай, зачем!..— ответил тот, все с тем же людоедским смехом.

На этот раз — я все-таки решил угадать. «А то, если от него отвернешься, он, чего доброго, треснет тебя по спине двумя ногами...»

Я опустил глаза и задумался. Он — ждал, пока я додумаюсь, и в ожидании тихо поводил кулачищем у самых моих ноздрей. Как будто он мне, дураку, сопли выгирал...

Первым заговорил все-таки он:

— Ты едешь в Петушки? В город, где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее?.. Где...

— Да. Где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее.

— Где твоя паскуда валяется в жасмине и виссоне и птички порхают над ней и лобзают ее, куда им вздумается?

— Да. Куда им вздумается.

Он опять рассмеялся и ударил меня в поддых.

— Так слушай же. Перед тобою — Сфинкс. И он в этот город тебя не пустит.

— Почему же это он меня не пустит? Почему же это ты непустишь? Там, в Петушках, — чего? моровая язва? Там с кем-нибудь обручили собственную дочь? и ты...

— Там хуже, чем дочь и язва. Мне лучше знать, что там. Но я сказал тебе — не пуцу, значит не пуцу. Вернее, пуцу при одном условии: ты разгадаешь мне пять моих загадок.

«Для чего ему, подлюке, загадки?»— подумал я про себя. А вслух сказал:

— Ну, так не томи, давай свои загадки. Убери свой кулачище, в поддых не бей, а давай загадки.

«Для чего ему, разьебаю, загадки?»— подумал я еще раз. Но он уже начал первую:

«Знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по малой нужде, и один раз в два дня – по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу – по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько раз по большой нужде, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой».

Про себя я подумал: «На кого это он намекает, скотина? В туалет никогда не ходит? Пьет не просыпаясь? На кого намекает, гадина?..»

Я обиделся и сказал:

– Это плохая загадка, Сфинкс, это загадка с поросячьим подтекстом. Я не буду разгадывать эту плохую загадку.

– Ах, не будешь! Ну, ну! То ли ты еще у меня запоешь! Слушай вторую:

«Когда корабли Седьмого американского флота пришвартовались к станции Петушки, партийных девиц там не было, но если комсомолок называть партийными, то каждая третья из них была блондинкой. По отбытии кораблей Седьмого американского флота обнаружилось следующее: каждая третья комсомолка была изнасилована, каждая четвертая изнасилованная оказалась комсомолкой, каждая пятая изнасилованная комсомолка оказалась блондинкой; каждая девятая изнасилованная блондинка оказалась комсомолкой. Если всех девиц в Петушках 428 – определи, сколько среди них осталось нетронутых беспартийных брюнеток?»

«На кого, на кого те теперь намекает, собака? Почему это брюнетки все в целости, а блондинки все сплошь изнасилованы? Что он этим хочет сказать, паразит?»

– Я не буду решать и эту загадку, Сфинкс. Ты меня прости, но я не буду. Это очень некрасивая загадка. Давай лучше третью.

– Ха-ха! Давай третью!

«Как известно, в Петушках нет пунктов А. Пунктов Ц тем более нет. Есть одни только пункты Б. Так вот: Папанин, желая спасти Водопьянова, вышел из пункта Б₁ в сторону пункта Б₂. В то же мгновение Водопьянов, желая спасти Папанина, вышел из пункта Б₂ в пункт Б₁. Неизвестно почему оба они оказались в пункте Б₃, отстоящем от пункта Б₁ на расстоянии 12-ти водопьяновских плевков, а от пункта Б₂ – на расстоянии 16-ти плевков Папанина. Если учесть, что Папанин плевал на три

метра семьдесят два сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плавать, выходил ли Папанин спасать Водопьянова?»

«Боже мой! Он что, с ума своротил, этот паршивый Сфинкс? Чего это он несет? Почему это в Петушках нет ни А, ни Ц, а одни только Б? На кого он, сука, намекает?..»

— Ха-ха!— вскричал, потирая руки, Сфинкс.— И эту решать не будешь?! И эту — не будешь?! Заело, длинный мозгляк? Так вот тебе — на тебе четвертую:

«Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевотине — и в падении опрокинул соседний столик. На столике до падения было: два пирожных по 35 коп., две порции бефстроганова по 73 коп. каждая, две порции вымени по 39 коп. и два графина с хересом, по 800 грамм каждый. Все черепки остались целы. Все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так: один графин остался цел, но из него весь херес вытек, другой графин разбился вдребезги, но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина в шесть раз больше порции вымени, а цену хереса знает каждый ребенок,— узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала?»

— Как то есть «Курского вокзала?»

— Так то есть: «Курского вокзала!»

— Так он же поскользнулся-то — где? он же в Петушках поскользнулся. Лорд Чемберлен поскользнулся-то ведь в петушинском ресторане!..

— А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет?

«Боже ты мой! Откуда берутся такие Сфинксы? Без ног, без головы, без хвоста, да вдобавок еще несет такую ахинею! И с такою бандитскою рожей!.. На что он намекает, сволочь?..»

— Это не загадка, Сфинкс. Это издевательство.

— Нет, это не издевательство, Веня. Это загадка. Если и она тебе не нравится, тогда...

— Тогда давай последнюю, давай!

«Вот: идет Минин, а навстречу ему — Пожарский. “Ты какой-то странный сегодня, Минин,— говорит Пожарский,— как будто много выпил сегодня”. “Да и ты тоже странный, Пожарский, идешь и на ходу спишь”. “Скажи мне по совести, Минин, сколько ты сегодня выпил?” “Сейчас скажу: сначала 150 грамм российской, потом 580 кубанской, 150 столичной, 125 перцовой и семьсот грамм ерша. А ты?” “А я ровно столько же, Минин”.

“Так куда же ты теперь идешь, Пожарский?” “Как куда? В Петушки, конечно. А ты, Минин?” “Так ведь я тоже в Петушки. Ты ведь, князь, совсем идешь не в ту сторону!” “Нет, это ты идешь не туда, Минин”. Короче, они убедили друг дружку в том, что надо поворачивать обратно. Пожарский пошел туда, куда шел Минин, а Минин – туда, куда шел Пожарский. И оба попали на Курский вокзал.

Так. А теперь ты мне скажи: если б оба они не меняли курса, а шли бы каждый прежним путем – куда бы они попали? Куда бы Пожарский пришел? скажи.»

– В Петушки?– подсказал я с надеждой.

– Как бы не так! Ха-ха! Пожарский попал бы на Курский вокзал! Вот куда!

И Сфинкс рассмеялся, и встал на обе ноги:

– А Минин? Минин куда бы попал, если б шел своею дорожкой и не слушал советов Пожарского? Куда бы Минин пришел?..

– Может быть, в Петушки?– я уже мало на что надеялся и чуть не плакал.— В Петушки, да?

– А на Курский вокзал – не хочешь?! Ха-ха! – И Сфинкс, словно ему жарко, словно он уже потел от торжества и злорадства, обмахнулся хвостом. – И Минин придет на Курский вокзал!.. Так кто же из них попадет в Петушки, ха-ха? А в Петушки, ха-ха, вообще никто не попадет!..

Что это был за смех у этого подлеца! Я ни разу в жизни не слышал такого живодерского смеха! Да добро бы он только смеялся! – а то ведь он, не переставая смеяться, схватил меня за нос двумя суставами и куда-то потащил...

– Куда? Куда ты меня волокешь, Сфинкс? Куда ты меня волокешь?..

– А вот увидишь – куда! Ха-ха! Увидишь!..

Покров – 113-й километр

Он выгацил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку – и растворился в воздухе... Для чего это ему было надо?

Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было. На запотевшем стекле чьим-то пальцем было написано: «...»– и вот в эти просветы я увидел городские огни, много огней и уплывающую станционную надпись «Покров».

«Покров! Город Петушинского района! Три остановки, а потом Петушки! Ты на верном пути, Венедикт Ерофеев». И вот моя тревога, которая до того со дна души все поднималась, разом опустилась на дно души и там затихла...

Три или четыре мгновения она, притихшая, там и лежала. А потом — потом она не то чтобы стала подниматься со дна души, нет, она со дна души подскочила, одна мысль, одна чудовищная мысль вобралась в меня, так что даже в коленках у меня ослабло:

Вот — я сейчас отъезжал от станции Покров. Я видел надпись «Покров» и яркие огни. Все это хорошо — и «Покров», и яркие огни. Но почему же они оказались справа по ходу поезда?.. Я допускаю: мой рассудок в некотором затмении, но ведь я не мальчик, я же знаю, если станция Покров оказалась справа, значит — я еду из Петушков, а не из Москвы в Петушки!.. О, паршивый Сфинкс!

Я онемел и заметался по всему вагону, благо в нем уже не было ни души. «Постой Веничка, не торопись. Глупое сердце, не бойся. Может, просто ты немного перепугал: может, Покров все-таки слева, а не справа? Ты выйди опять в тамбур, посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда на стекле написано "...».

Я выскочил в тамбур и посмотрел направо: на запотевшем стекле отчетливо и красиво написано «...». Я поглядел налево: там также было написано «...». Боже, я схватился за голову и вернулся в вагон, и снова онемел и заметался...

«Постой, постой... А ты вспомни, Веничка, весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда, и все черноусые, все митричи, все декабристы — все сидели слева по ходу поезда. И, значит, если ты едешь правильно, твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, как просто!..»

Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика — чемоданчика нигде не было, ни слева, ни справа.

Где мой чемоданчик?!

«Ну, ладно, ладно, Веня, успокойся. Пусть. Чемоданчик — вздор, чемоданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль: куда ты едешь? А уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточь свою мысль — а уж потом чемоданчик. Мысль разрешить или миллион? Конечно, сначала мысль, а уж потом — миллион. И чемоданчик.»

«Ты благороден, Веня. Вышей весь свой остаток кубанской — за то, что ты благороден.»

И вот — я запрокинулся, допивая свой остаток. И — сразу рассеялась тьма, в которую я был погружен, и забрезжил рассвет из самых глубин души и рассудка; и засверкали зарницы, по зарнице с каждым глотком и на каждый глоток по зарнице.

Человек не должен быть одинок — таково мое мнение. Человек должен отдавать себя людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагонам. Он должен найти людей и сказать им: «Вот. Я одинок. Я отдаю себя вам без остатка. (Потому что остаток только что допил, ха-ха!) А вы — отдайте мне себя и, отдав, скажите: а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву?»

«И по-твоему, именно так должен поступить человек?» — спросил я сам себя, склонив голову влево.

«Да. Именно так, — склонив голову вправо, ответил я сам себе. — Не век же рассматривать «...» на вспотевших стеклах и терзаться загадкой!..»

И я пошел по вагонам. В первом не было никого, только брызгал дождь в открытые окна. Во втором тоже никого; даже дождь не брызгал...

В третьем — кто-то был...

113-й километр — Омутыше

...Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и, безучастно разглядывая мглу за окном, прижимала к губам кружевной платочек. «Ни дать, ни взять — копия с “Неутешного горя”, копия с тебя, Ерофеев», — сразу подумал я про себя и сразу про себя рассмеялся.

Тихо, на цыпочках, чтобы не спугнуть очарования, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала...

Вот! Человек уединяется, чтобы плакать.

Но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает, ибо есть ли что-нибудь на свете выше безутешности?.. О, сказать бы сейчас такое, такое сказать бы, — чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей, чтобы в траур облеклись дворцы и хижиньки, кишлаки и аулы!..

Что же мне все-таки сказать?

— Княгиня, — позвал я тихо.

— Ну, чего тебе? — отозвалась княгиня, глядя в окно.

— Ничего. Губную гармонь у тебя видно со спины, вот чего...

— Не болтай ногами, мальй. Это не гармонь, а переносица... Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь...

Это мне-то, в моем положении — молчать! Мне, который шел через все вагоны за разрешением загадки!.. Жаль, что я забыл, о чем эта загадка, но помню, что-то очень важное... Впрочем, ладно, потом вспомню... Женщина плачет — а это гораздо важнее... О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад — и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставлять напоказ!.. О, низкие сволочи! Не оставили людям ничего, кроме «скорби» и «страха», и после этого — и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом!..

О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех, гадов, своим глаголом! Такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древности!..

Я подумал и сказал:

— Княгиня!.. а, княгиня!..

— Ну, чего тебе опять?

— Нет у тебя уже гармонии. Не видно.

— Чего ж тебе тогда видно?

— Одни только кустики. (Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь.)

— Сам ты кустик, я вижу...

«Ну что ж, кустик, так кустик». Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак, хоть умри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил вот эту женщину... О чем же все-таки это «важное»?

— Слушай-ка, княгиня!.. А где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа.

— Чего ты мелешь?

— Честное слово, с тех пор не видел... Где он, твой камердинер?

— Он такой же твой, как и мой!— огрызнулась княгиня. И вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем полвагона. У самых дверей — остановилась, повернула ко мне сплоское, надтреснутое лицо в слезах и крикнула:

— Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович! Не-на-ви-жу!!

И скрылась.

«Вот это да-а-а,— протянул я восторженно, как давеча декабрист.— Ловко она меня отбрила!» И ведь так и ушла, не ответив на самое главное!.. Царица Небесная, что же это главное? Именем щедрот Твоих — дай припомнить!.. Камердинер!

Я позвонил в колокольчик... Через час — опять позвонил.

— Ка-мер-ди-нер!!

Вошел слуга, весь в желтом, мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал, спяну, ходить во всем желтом, до самой смерти — так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит.

— Знаешь что, Петр? Я спал сейчас или нет — как ты думаешь? Спал?

— В том вагоне — да, спал.

— А в этом — нет?

— А в этом — нет.

— Чудно мне это, Петр... Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое... А то, знаешь, опять мне делается тревожно... Значит, Петр, если тебе верить: я в том вагоне спал, а в этом проснулся. Так?

— Не знаю. Я сам спал — в этом вагоне.

— Гм. Хорошо. Но почему же ты не встал и меня не разбудил? Почему?

— Да зачем мне тебя было будить! В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том. А в том — зачем было будить, если ты в этом и сам проснулся!

— Ты не путай меня, Петр, не путай... Дай подумать. Видишь, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль.

— Какая же это мысль?

— А вот какая: выпить у меня чего-нибудь осталось?..

Омутище — Леоново

...Нет, нет, ты не подумай, это не сама мысль, это просто средство, чтоб ее разрешить. Ты понимаешь — когда хмель уходит от сердца, являются страхи и шаткость сознания. Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан... Не очень заметно, что я расщеплен?

— Совсем ничего не заметно. Только рожа опухла.

— Ну, это ничего. Рожа — это ничего...

— И выпить тоже нет ничего,— подсказал Петр, встал и зажег канделябры.

Я встрепенулся. «Хорошо, что ты зажег, хорошо, а то — знаешь?— немножко тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет никого с нами, кроме нас».

— А где же твоя княгиня, Петр?

— Она давно уже вышла.

— Куда вышла?

— В Храпуново вышла. Она из Петушков ехала в Храпуново. В Орехово-Зуеве вошла, а в Храпунове — вышла.

— Какое еще Храпуново! Что ты все мелешь, Петр?.. Ты не путай меня, не путай... Так, так... самая главная мысль... Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов. Да, и Фридрих Шиллер, Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему — понятия не имею. Да, да... вот, теперь яснее: Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедию, ноги всегда опускал в шампанское. Вернее, нет, не так. Это тайный советник Гете, он дома у себя ходил в тапочках и шлафроке... А я — нет, я и дома без шлафрока; я и на улице — в тапочках... А Шиллер-то тут причем? Да, вот он причем: когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское. Опустит и пьет. Хорошо! А Чехов Антон перед смертью сказал: «Выпить хочу». И умер...

Петр все глядел на меня, стоя надо мной.

— Что это ты так смотришь на меня, Петр? Отведи глаза, пошляк, не смотри. Я мысли собираю, а ты — смотришь... Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню: был Гегель. Он говорил: «Нет различий, кроме различия в степени, между различными степенями и отсутствием различия». То есть, если перевести это на хороший язык: «Кто же сейчас не пьет?».. Есть у нас что-нибудь выпить, Петр?

— Нет ничего. Все выпито.

— И во всем поезде нет никого?

— Никого.

— Так...

Я опять задумался. И странная это была дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это «что-то» тоже было странно. И дума — тяжелая была дума...

Что я делал в это мгновение — засыпал или просыпался? Я не знаю, и откуда мне знать? «Есть бытие, но именем каким его назвать? — ни сон оно, ни бденье». Я продремал так минут 12 или минут 35.

А когда очнулся — в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез. Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах: оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души...

Я лежал, как труп, в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался...

— Ка-мер-ди-нер!

В дверях появился Петр, с синюшным и злым лицом. «Подойди сюда, Петр, подойди, ты тоже весь мокрый – почему? Это ты сейчас хлопал дверями, да?»

– Я ничем не хлопал. Я спал.

– Кто же тогда хлопал?

Петр глядел на меня не моргая.

– Ну, это ничего, ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить, а чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить?

– Нет ничего. Все выпито.

– И во всем поезде никого-никого?

– Никого.

– Врешь, Петр, ты все мне врешь!!! Если никого, то кто же там гудит дверями и окнами? А? Ты знаешь?.. Слышишь?.. У тебя и выпить, наверное, есть, а ты мне все врешь?..

Петр, все так же, не моргая и со злобою, глядел на меня. А потом – да, да; он повалился на канделябр и погасил его собою – и так пошел по вагону, гася огни. «Ему стыдно, стыдно!» – подумал я. Но он уже выпрыгнул в окошко.

– Возвратись, Петр! – я так закричал, что не сумел узнать своего голоса, – возвратись!

– Проходимец! – отвечал тот из-за окошка.

И вдруг – впорхнул опять в вагон, подлетел ко мне, рванул меня за волосы, сначала вперед, потом назад, потом опять вперед, и все это с самой отчаянной злобою...

– Что с тобой, Петр? Что с тобой?!..

– Ничего! Оставайся! Оставайся тут, бабуленька! Оставайся, старая стерва! Поезжай в Москву! Продавай свои семечки! А я не могу больше, не могу-у-у!..

И снова выпорхнул, теперь уже навечно.

«Черт знает что такое! Что с ними со всеми?» Я стиснул виски, вздрогнул и забился. Вместе со мною вздрогнули и забились вагоны. Они, оказывается, давно уже бились и дрожали...

Леоново – Петушки

...Двери вагонов защелкали, потом загудели, все громче и явственнее. И вот – влетел в мой вагон, и пролетел вдоль вагона, с поглубевшим от страха лицом, тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища Эринний и устремились следом за ним. Гремели бубны и кимвалы...

Волосы мои встали дыбом. Не помня себя, я вскочил, затопал ногами.

«Остановитесь, девушки! Богини мщения, остановитесь! В мире нет виноватых!..» А они все бежали.

И когда последняя со мной поравнялась, я закипел, я ухватил ее сзади, а она задыхалась от бега.

— Куда вы? Куда вы все бежите?..

— Чего тебе?! Отвяжи-и-сь! Пусти-и-и-и!..

— Куда? И все мы едем — куда??..

— Да тебе-то что за дело, бешена-а-ай!..

И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб — до того неожиданно, что я засмутился, присел и стал грызть подсолнух.

А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на меня, вернулась — и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвилась к потолку и ринулась догонять подруг. Я бросился следом за ней, преступно выгибая шею...

Пламенел закат, и лошади вздрагивали, и где то счастье, о котором пишут в газетах? Я бежал и бежал, сквозь вихорь и мрак, срывая двери с петель, я знал, что поезд «Москва — Петушки» летит под откос. Вздыхались вагоны — и снова проваливались, как одержимые одурью... И тогда я заметался и крикнул:

— О-о-о-о! Посто-о-ойте!.. А-а-а-а!..

Крикнул и оторопел: хор Эринний бежал обратно, со стороны головного вагона прямо на меня, сүмбурным стадом. За ним следом гнался разъяренный Евтюшкин. Вся эта лавина опрокинула меня и погребла под собой...

А кимвалы продолжали бряцать. А бубны гремели. И звезды падали на крыльцо сельсовета. И хохотала Суламифь.

Петушки. Перрон

А потом, конечно, все заклубилось. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, и соглашусь — да, как будто туман. А если вы скажете — нет, то не туман, то пламень и лед — попеременно то лед, то пламень,— я вам на это скажу: пожалуй что и да, лед и пламень, то есть сначала стынет кровь, стынет, а как застынет, тут же начинает кипеть и, вскипев, застывает снова.

«Это лихорадка,— подумал я.— Этот жаркий туман повсюду — от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман». А из тумана выходит кто-то очень знакомый, Ахиллес не Ахиллес, но очень знакомый. О! теперь узнал: это понтийский царь Митридат. Весь в соплях измазан, а в руках — ножик...

— Митридат, это ты, что ли?— мне было так тяжело, что говорил я почти беззвучно.— Это ты, что ли, Митридат?..

– Я,— ответил понтийский царь Митридат.

– А измазан весь почему?

– А у меня всегда так. Как полнолуние — так сопли текут...

– А в другие дни не текут?

– Бывает, что и текут. Но уж не так, как в полнолуние.

– И ты что же, совсем их не утираешь?— я перешел почти на шепот.— Не утираешь?

– Да как сказать? случается, что и утираю, только ведь разве в полнолуние их утрешь? не столько утрешь, сколько размажешь. Ведь у каждого свой вкус — один любит распускать сопли, другой утирать, третий размазывать. А в полнолуние...

Я прервал его:

– Красиво ты говоришь, Митридат, только зачем у тебя ножик в руках?..

– Как зачем?.. да резать тебя — вот зачем!.. Спросил тоже: зачем?.. Резать, конечно...

И как он переменялся сразу! все говорил мирно, а тут ощерился, почернел — и куда только сопли девались?— и еще захохотал, сверх всего! Потом опять ощерился, потом опять захохотал!

Озноб забил меня снова: «Что ты, Митридат, что ты!— шептал я или кричал, не знаю.— Убери нож, убери, зачем...?» А он уже ничего не слышал и замахивался, в него словно тысяча почерневших бесов вселилась... «Изувер!» И тут мне пронзило левый бок, и я тихонько застонал, потому что не было во мне силы даже рукою защититься от ножика... «Перестань, Митридат, перестань...»

Но тут мне пронзило правый бок, потом опять левый, потом опять правый,— я успевал только бессильно взвизгивать,— и забился от боли по всему перрону. И проснулся весь в судорогах. Вокруг — ничего, кроме ветра, тьмы и собачьего холода. «Что со мной и где я? почему это дождь моросит? Боже...»

И опять уснул. И опять началось все то же, и озноб, и жар, и лихманка, а оттуда, издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной, рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и, приблизившись ко мне вплотную, ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка — серпом по яйцам. Я закричал — наверно, вслух закричал — и снова проснулся, на этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже все во мне содрогалось — и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя,— я удавлюсь в один из четвергов!.. Таких ли судорог я ждал от тебя, Петушки? пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птичек и выгоптал жасмин?.. Царица Небесная, я в Петушках!..

«Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказал Спаситель, то есть встань и иди. Я знаю, знаю, ты раздавлен, всеми членами и всею душой ты раздавлен, и на перроне мокро и пусто, и никто тебя не встретил, и никто никогда не встретит. А все-таки встань и иди. Попробуй... А чемоданчик твой, Боже, где твой чемоданчик с гостинцами?.. два стакана орехов для мальчика, конфеты “Василек” и пустая посуда... где чемоданчик? кто и зачем его украл — ведь там же были гостинцы!.. А посмотри, есть ли деньги, может, есть хоть немножко? Да, да, немножко есть, совсем чуть-чуть; но что они теперь — деньги?.. О, эфемерность. О, тщета! О, гнуснейшее, позорнейшее время в жизни моего народа — время от закрытия магазинов до рассвета!..

«Ничего, ничего, Ерофеев... Талифа куми, как сказала твоя Царица, когда ты лежал во гробе,— то есть встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй хоть шага два, а дальше будет легче. Что ни дальше — то легче. Ты же сам говорил больному мальчику: “Раз-два-туфли надень-ка как-тибе-не стыдна-спать...”» Самое главное — уйти от рельсов, здесь вечно ходят поезда, из Москвы в Петушки, из Петушкова в Москву. Уйди от рельсов. Сейчас ты все узнаешь, и почему нигде ни души, узнаешь и почему она не встретила, и все узнаешь... Иди, Веничка, иди...»

Петушки. Вокзальная площадь

«Если хочешь идти налево, Веничка,— иди налево. Если хочешь направо — иди направо. Все равно тебе некуда идти. Так что уж лучше иди вперед, куда глаза глядят...»

Кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто: что для этого надо сорок раз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вздохнуть, и выдохнуть столько же, из глубины сердца,— и тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать?..

О, погоди, погоди!.. Может, время сначала узнать?? Узнать, сколько времени?.. Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души, то есть решительно ни единой?.. Да если б и встретила живая душа — смог бы ты разве разомкнуть уста, от холода и от горя? Да, от горя и от холода... О, немота!..

И если я когда-нибудь умру — а я очень скоро умру, я знаю,— умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри постигнув, но не приняв,— умру, и Он меня спросил: «Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?»— я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души тоже? Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует: один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже выгошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я — что я? я много вкусил, а никакого действия, я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность,— я трезвее всех в этом мире; на меня просто туто действует... «Почему же ты молчишь?» — спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну что я ему отвечу? Так и буду: молчать, молчать...

Может, все-таки разомкнуть уста?— найти живую душу и спросить, сколько времени?..

Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу — а теперь небесного рая больше нет, зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перрон, с ресницами, опущенными ниц; божество от тебя отвернулось,— так зачем тебе узнавать время? «Не женщина, а бланманже»,— на перрон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, лилия долины — не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время, Веничка?..

Что тебе осталось? утром — стон, вечером — плач, ночью — скрежет зубовный... И кому, кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому?.. Вот, войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси: «Какое вам дело до моего сердца?» Боже мой...

Я повернул за угол и постучался в первую дверь.

Петушки. Садовое кольцо

Постучался — и, вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят... «Странно высокие дома понастроили в Петушках!.. впрочем, это всегда так с тяжелого и многодневного похмелья: люди кажутся безобразно сердитыми, улицы — непомерно широкими, дома — страшно большими... Все вырастает с похмелья

ровно настолько, насколько все казалось ничтожнее обычного, когда ты был пьян... Помнишь лемму этого черноусого?»

Я еще раз постучался, чуть громче прежнего:

«Неужели так трудно открыть человеку дверь и впустить его на три минуты погреться? Я этого не понимаю... Они, серьезные, это понимают, а я, легковесный, никогда не пойму... Мене, текед, фарес — то есть ты взвешен на весах и найден легковесным, то есть “текед”... Ну и пусть, пусть...»

Но есть ли там весы или нет — все равно — на тех весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал — и знаю, что говорю. Все ваши путеводные звезды катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди, я вас плохо знаю, я редко на вас обращал внимание, но мне есть дело до вас: меня занимает, в чем теперь ваша душа, чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает меркнуть, а это самое главное. Потому что все остальные катятся к закату, а если и не катятся, то едва мерцают, а если даже и сияют, то не стоят и двух плевков.

Есть там весы, нет там весов — там мы, легковесные, перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верите. Верю, знаю и свидетельствую миру. Но почему же так странно расширили улицы в Петушках?..»

Я отошел от дверей, и тяжелый взгляд свой переводил с дома на дом, с подъезда на подъезд. И пока вползала в меня одна тяжелая мысль, которую страшно вымолвить, вместе с тяжелой догадкой, которую вымолвить тоже страшно, — я все шел и шел, и в упор рассматривал каждый дом, и хорошо рассмотреть не мог: от холода или отчего еще, мне глаза устилали слезы...

«Не плачь, Ерофеев, не плачь... Ну зачем? И почему ты так дрожишь? от холода или еще отчего?.. не надо...»

Если б у меня было хоть двадцать глотков кубанской! Они подошли бы к сердцу, и сердце всегда сумело бы убедить рассудок, что я в Петушках! Но кубанской не было: я свернул в переулочек, и снова задрожал и заплакал...

И тут — началась история, страшнее всех, виденных во сне. В этом самом переулочке навстречу мне шли четверо... Я сразу их узнал, я не буду вам объяснять, кто эти четверо... Я задрожал сильнее прежнего, я весь превратился в сплошную судорогу...

А они подошли и меня обступили. Как бы вам объяснить, что у них были за рожи? Да нет, совсем не разбойничьи рожи, скорее

даже наоборот, с налетом чего-то классического, но в глазах у всех четверых — вы знаете? вы сидели когда-нибудь в туалете на Петушинском вокзале? Помните, там, на громадной глубине, под круглыми отверстиями, плещется и сверкает эта жижа карего цвета?— вот такие были глаза у всех четверых. А четвертый был похож... впрочем, я потом скажу, на кого он был похож.

— Ну, вот ты и попался,— сказал один.

— Как то есть... попался?— голос мой страшно дрожал, от похмелья и от озноба. Они решили, что от страха.

— А вот так и попался! Больше никуда не поедешь.

— А почему?..

— А потому.

— Слушайте...— голос мой срывался, потому что дрожал каждый мой нерв, а не только голос. Ночью никто не может быть уверен в себе, то есть я имею в виду: холодной ночью. И апостол предал Христа, покуда третий петух не пропел. Вернее, не так: и апостол предал Христа трижды, пока не пропел петух. Я знаю, почему он предал,— потому что дрожал от холода, да. Он еще грелся у костра, вместе с этими. А у меня и костра нет, и я с недельного похмелья. И если бы испытывали теперь меня, я предал бы его до семижды семидесяти раз, и больше бы предал...

— Слушайте,— говорил я им, как умел,— вы меня пустите... что я вам?.. я просто не доехал до девушки... ехал и не доехал... я просто проспал, у меня украли чемоданчик, пока я спал... там пустяки и были, а все-таки жалко... «Василек»...

— Какой еще василек?— со злобою спросил один.

— Да конфеты, конфеты «Василек»... и орехов двести грамм, я младенцу их вез, я ему обещал за то, что он букву хорошо знает... но это чепуха... вот только дождаться рассвета, я опять поеду... правда, без денег, без гостинцев, но они и так примут, и ни слова не скажут... даже наоборот.

Все четверо смотрели на меня в упор, и все четверо, наверно, думали: «Как этот подонок труслив и элементарен!» О, пусть, пусть себе думают, только бы отпустили!..

— Я хочу опять в Петушки...

— Не поедешь ты ни в какие Петушки!

— Ну... пусть не поеду, я на Курский вокзал хочу...

— Не будет тебе никакого вокзала!

— Да почему?..

— Да потому!

Один размахнулся — и ударил меня по щеке, другой — кулаком в лицо, остальные двое тоже надвигались,— я ничего

не понимал. Я все-таки устоял на ногах и отступал от них тихо, тихо, тихо, а они четверо тихо наступали...

«Беги, Веничка, хоть куда-нибудь, все равно куда!.. Беги на Курский вокзал! Влево, или вправо, или назад -- все равно туда попадешь! Беги, Веничка, беги!..»

Я схватился за голову — и побежал. Они -- следом за мной ..

*Петушки. Кремль.
Памятник Минину и Пожарскому*

«А может быть, это все-таки Петушки?.. Почему на улицах нет людей? куда все вымерли?.. Если они догонят, они убьют... а кому крикнуть? ни в одном окне никакого света... и фонари горят фантастично, горят, не сморгнув».

«Очень может быть, что и Петушки... Вот этот дом, на который я сейчас бегу,— это же райсобес, а за ним — тьма... Петушинский райсобес — а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших... О, нет, нет!..»

Я выскочил на площадь, устланную мокрой брусчаткой, перевел дух и огляделся кругом:

«Не Петушки это, нет!.. Если Он — если Он навсегда покинул землю, но видит каждого из нас,— я знаю, что в эту сторону Он ни разу и не взглянул... А если Он никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде,— Он обогнул это место и прошел стороной!..»

«Нет, это не Петушки! Петушки Он стороной не обходил. Он, усталый, ночевал там при свете костра, и я во многих душах замечал там пепел и дым Его ночлега. Пламени не надо, был бы пепел и дым...»

Не Петушки это, нет! Кремль сиял передо мною во всем великолепии. Я хоть и слышал уже сзади топот погони,— успел подумать: «Я, исходивший всю Москву вдоль и поперек, трезвый и с похмелью,— я ни разу не видел Кремля, а в поисках Кремля всегда попадал на Курский вокзал. И вот теперь увидел — когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете!..»

«Неисповедимы Твои пути...»

Топот все приближался, а я никак не мог набрать дыхания, чтобы бежать дальше, я только доплелся до Кремлевской стены — и рухнул... Я весь издрог и извелся страхом — мне было все равно...

Они приближались — по площади, по двое с двух сторон. «Что это за люди и что я сделал этим людям?» — такого вопроса у меня не было. «Все равно. И заметят они меня или не заметят —

тоже все равно. Мне не нужна, дрожь, мне нужен покой, вот все мои желания... Пронеси, Господь...»

Они все-таки меня заметили. Подошли и обступили, с тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги — они б убили меня...

— Ты от нас? От нас хотел убежать?— прошипел один и схватил меня за волосы и, сколько в нем было силы, хватил меня головой о Кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли, кровь стекала по лицу и за шиворот... Я почти упал, но удержался... Началось избивание!

— Ты ему в брюхо сапогами! Пусть корячится!

Боже! я вырвался и побежал — вниз по площади. «Беги, Веничка, если сможешь, беги, ты убежишь, они совсем не умеют бегать!» На два мгновения я остановился у памятника — смахнул кровь с бровей, чтобы лучше видеть — сначала посмотрел на Минина, потом на Пожарского, потом опять на Минина — куда? в какую сторону бежать? Где Курский вокзал и куда бежать? раздумывать было некогда — я полетел в ту сторону, куда смотрел князь Дмитрий Пожарский...

Москва – Петушки.

Неизвестный подъезд

Все-таки до самого последнего мгновения я еще рассчитывал от них спастись. И когда вбежал в неизвестный подъезд, и дополз до самой верхней площадки, и снова рухнул — я все еще надеялся... «О, ничего, ничего, сердце через час утихнет, кровь отмоется, лежи, Веничка, лежи до рассвета, а там на Курский вокзал... Не надо так дрожать, я же тебе говорил, не надо...»

Сердце билось так, что мешало вслушиваться, и все-таки я расслышал: дверь подъезда внизу медленно приотворилась и не затворялась мгновений пять...

Весь сотрясаясь, я сказал себе «Талифа куми, то есть встань и приготовься к кончине... Это уже не талифа куми, я все чувствую, это лама с а в а х ф а н и, как сказал Спаситель... То есть: «Для чего, Господь, Ты меня оставил?» Для чего же все-таки, Господь, ты меня оставил?»

Господь молчал.

Ангелы небесные, они поднимаются! что мне делать? что мне сейчас сделать, чтобы не умереть? ангелы!..

И ангелы — рассмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? Это позорные твари, теперь я знаю,— вам сказать, как они сейчас рассмеялись? Когда-то, очень давно, в Лобне, у вокзала,

зарезало поездом человека, и непостижимо зарезало: всю его нижнюю половину измололо в мелкие дребезги и расшвыряло по полотну, а верхняя половина, от пояса, осталась как бы живою, и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи. Поезд ушел, а он, эта половина, так и остался стоять, и на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не могли на это глядеть, отворачивались, побледнев и со смертной истомой в сердце. А дети подбежали к нему, трое или четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мертвый полуоткрытый рот. И окурок все дымился, а дети скакали вокруг и хохотали над этой забавностью...

Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись. Они смеялись, а Бог молчал... А этих четверых я уже увидел — они подымались с последнего этажа... А когда я их увидел, сильнее всякого страха (честное слово, сильнее) было удивление: они, все четверо, подымались босые и обувь держали в руках — для чего это надо было? чтобы не шуметь в подъезде? или чтобы незаметнее ко мне подкрасться? не знаю, но это было последнее, что я запомнил. То есть вот это удивление.

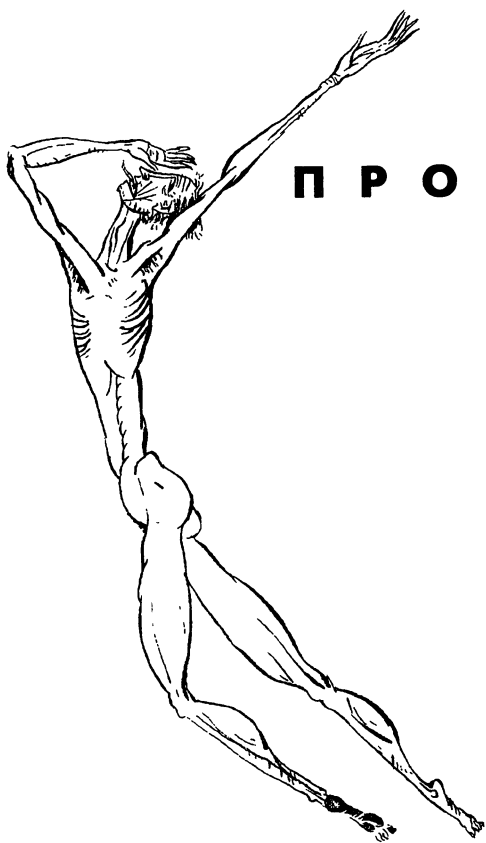
Они даже не дали себе отдышаться — и с последней ступеньки бросились меня душить, сразу пятью или шестью руками, я, как мог, отцеплял их руки и защищал свое горло, как мог. И вот тут случилось самое ужасное: один из них, с самым свирепым и классическим профилем, выгашил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой; может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще — я не знаю. Но он приказал всем остальным держать мои руки, и, как я ни защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего...

— Зачем-зачем?.. зачем-зачем-зачем?.. — бормотал я... — Зачем, зачем?

Они вонзили мне шило в самое горло...

Я не знал, что есть на свете такая боль. Я скрючился от муки, густая красная буква «ю» распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.

*На кабельных работах в Шереметьево,
осенью 69 года*



П Р О З А

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

Глава 1

И было утро — слушайте, слушайте! И было утро, и был вечер, и польхали зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката.

Мой разум глух и сердце оскудевало, и не хватало дыхания, и грудь моя теснилась от миллиона предчувствий, и я в первый раз поглядел на небо.

Я, никогда не смотревший на небо. И — в тот же час — свершилось! Сквозь метания беспокойных звезд

ворвался в унылую музыку сфер охриший хор серафимов, и завеса времен заколыхалась от сумасшедшего томления, и надвое раздралась.

И вопль озарения оглушал меня и опрокинул в придорожную канаву;

и кто-то давился от смеха над моей головой, и тряс меня за волосы, и говорил:

«Что делаешь Ты, Брат Мой, в этом мире?»

И я поднял голову, и дышал в пространство водочным перегаром. и ничего не видел кроме тьмы,

и холодная грязь текла мне за шиворот, и было утро, и был вечер, и польхали зарницы, и взгляд мой выражал недоумение, смешанное со страхом.

И уши мои вздымались и дыхание мое было прерывисто.

И бесплотный сосед мой говорил мне:

«Слушай Меня — теперь — самый светлый из всех онемевших — Ты хорошо ли исчислил сроки?»

Я один из тех — кто с Ним и с Тобой пребыли до скончания — Ты помнишь?

Болван Иегова — мы ничего не забыли — теперь — хочешь ли идти со мной?»

Так говорил тот, кому я внимал и кто не хотел быть зримым, И я отвечал ему:

«Кто бы ты ни был, слова твои ложатся мне на сердце, но божественный синтаксис твой не вполне изъясним».

И он рассмеялся, и сказал мне:

«Наступит время и Ты поймешь,— с тех пор как звезда наша стала заново восходить и перепуганный Творец ввел в наших сферах систему тайных доносов, ни один мыслящий придурок не хочет быть понятным в пределах, указанных Тем, чей дух почил на Тебе с ударом молнии, возвестившей мое явление;

и вот — прежде чем расступится тьма и Ты возвратишься в тот мир, которому теперь не принадлежишь,— сердце Твое сто тридцать раз сожмется от страха и таинственных речей, и увидишь край, где томятся души воинства Люцифера и изведаете силу трех испытаний, соблазнительнее тысячи бездн,— и тогда разум Того, чьи милости скрыты, осенит Твою голову, разбухающую от неведения, Ты этого хочешь?— мой юный Страдалец — Ты хочешь идти со мной?»

И он говорил, и меня забавляло проворство его декламаций, и все голоса во мне смолкли перед сладкой потребностью чуда,

и лила становилась бездонной, и я заклинал его назвать себя, и он не хотел,

и шептал мне на ухо, и обливал меня дождем, щекотал, и смеялся, и уносил меня на крыльях блеющего смеха,

и, унося, раздвигал мои пределы, и обволакивал рассудок тьмой непроницаемых аллегорий, и все горизонты свивались в кольцо,

и опрокинулся небосвод, и в нем растворились ликующие наши тела, отрешившиеся от бремени измерений,

и свистели полоумные ветры, и с грохотом проносились тысячелетия из конца в конец эфирных равнин.

И распахнулись врата Адовы.

Глава 2

«Не бойся открыть глаза,— говорил мне дух, сроднившийся со мной в изнуряющих блаженствах полета,—

«Не бойся открыть глаза, мой Усталый Брат. Вот мы перешли рубеж, отделяющий горные сферы от пределов осужденных на покаяние и вечные муки».

И первое искушение уготовано было мне, и глаза, повинувшись, отверзлись, и раскованный взгляд блуждал среди мрачных теснин,

и дымные факелы озаряли утесы оловянным мерцанием, и на бледные щеки каждого из поверженных ангелов бросали сто тридцать фиолетовых бликов.

«Слушай, слушай,— шептал мне дух, скрывающийся в тени,—

«Слушай их траурный плач, Мой Усталый Брат,
вот мы перешли рубеж, за которым умеют улыбаться только дубовые головы.

Не бойся нарушить гармонию их безысходной печали,—
Твое избранничество разбудило все упования в душе их бунтующего Отца,—

Твое же явление — скрепит ваши узы».

И — всколыхнувший вековые мерцания — я вошел в их пределы,

и заметалось пламя тысячи лампад, и толпы бескрылых детей Сатаны восклонились от каменного ложа, и обратили взоры ко мне, и отряхнули пыль с нетленных ушей,

И — вместе со мной — застыли, в звучании властного и пропитого голоса Хозяина Преисподней:

«Прежде —

Прежде, нежели был Предвечный,—

Я есмь. В бестолковых и буйных первоосновах бытия —
Я царил единый, и дух отца не оспаривал Моей власти;

ни одно начало тогда не имело своих начал, и легионы ангелов,
Мне подвластных, еще не испытывали томления о свете
и довольствовались игрой первозданных стихий.

Он явился — Тот, кого зовут Всемогущим — с первой комбинацией элементов, положившей начало Гармонии и Порядку;

и сделал их принципами унылых актов творения, и свет отделил от тьмы, и явились Земля и светила на тверди небесной;

и сонмы крылатых поддались дешёвому обаянию Его вселенной дисциплины.

Но во всех, кто остался мне верен, тупая Его величавость вызывала мигрень и блевоту».

Так говорил Сатана.

«И Я отошел —

И Я отошел в изгнание, и пробил час — Мне опостылел мерный анапест его обезьяньих прыжков,

И Тот, ради Кого ты покинул Землю, первый подал сигнал к мятежу;

И вот — надо ли теперь говорить о безрассудстве моего призыва!—

все, чем мы располагали, Свинья Вседержитель истребил с первобытной свирепостью,

И ослепил нас сиянием вшивых лат Михаила Архангела, и обрезал нам крылья,

и сбросил нас туда, где теперь надлежит нам томиться три дюжины вечностей».

Так говорил Сатана.

«Вот ты видишь —

Вот — ты видишь нас не в сверкании славы, но изнуренных бессоницей и размышлением;

души Моих сыновей плесневеют от недостатка блаженства, и столетия протекают как вздохи, но говорю вам — слушайте! слушайте!—

но говорю вам: здесь, за пределами света, Я провижу иные просторы для наших бескровных сражений.—

С нами сливается разумная сила созданий, унаследовавших от Адама весну первородного греха

И, по мысли Творца, рожденных для отбывания трудовой повинности и вознесения хвалы.

С тех пор, как чета согрешивших покинула райский сад, хороводы бесов, подвластных Мне, преодолели бездействие — и взвились от недр Преисподней к сердцам огорченных каналов, и всякую мысль их обвивали сомнением, и каждый порыв извращали;

и мудрость зодчих Вавилонской башни, презревших благо-разумие, и Ноеву страсть к опьянению,

и стыдливость Евы, и кротость Авеля, и тысячи иных аномалий, противоречащих естеству, преследовало с тех пор их племя, взамен избытка жизненной силы, завещанной от Бога».

Так говорил Сатана.

«Сто тридцать недугов сковали им их слабеющие суставы, и лица их бледнели от угрызений.

И нравственные соображения преодолевали расчет, и в судорогах священной болезни рождались новые пророчества,

и мифы о зачатии таинственных гениев без участия производящего фаллоса и вне лона воспринимающей,—

и головы их перестали пустовать с тех пор, как склонились к подножию идеалов и надгробиям усопших.

По велению Моему — сумасброды — отшельники — постом и молитвой смиряли волнения бунтующей плоти.

И в самом сосредоточении хамства и дарвинизма расслабляли души разумных продуманной чертовщиной — <...>!^{*}

Я НАЧИНАЮ ПОТОМ, ИСКЛЮЧАЮЩИЙ ВЕРОЯТНОСТЬ КОВЧЕГА — <...>

* Здесь и далее <...> — пропуски в рукописи.

отныне — не суждено Мне внушать заблуждения библейским авторам и экзегетам

и — от досады — сморкаться вслед голубку, несущему от Арарата ветку зеленой оливы!»

Так говорил Сатана. И, восстав, привлек меня и дышал мне в лицо:

«Восприемник Разума — <...>

Восприемник Разума и Духа Моего — <...>, войди и выйди, и следуй, не оскверняя уст —

сам себя лишивший благ и уклонившийся от удовольствий, разделяющий с нами бремя наших вериг — изначала,— вдумайся в то, чего нет;

и с этих пор — земное благоденствие перестанет быть желанием для Тебя,

и в тысяче действий и слов Твоих — отныне — не станет ни единого, продиктованного здоровым смыслом,

и трижды счастлив, ангелоподобный, запечатлеешь Меня и поведаешь миру все, чего не сказал Тебе прославивший Лукавым».

«Благословен — <...>»

«Благословен грядущий во Имя Отца»,— а сарелла вступили хоры бескрылых,

и от века падшие, ликующе рыдали, как трагики, как новорожденные дети,

как я, теперь сопричастный,— и в сладостном ударе, между обмороком и эйфорией,— «Свершилось!»

Иди за Мной — и до конца свершится — в самых темных углах Вселенной — иди за Мной, мой Усталый Брат».

Глава 3

И второго искушения настал черед, и, светлеющая тварь, я отделился от духа, сопутствующего мне и избавляющего от соблазнов,

и очнулся в образе, неведомом мне, и в той земле, где доселе не был.

И дышал, охмеленный запахом всех незабудок, и земное томление проливал мне в грудь удушливый сумрак оранжерей, и в волнах лунного света не жились бесстыдницы — сифиды;

и вот явилась мне дева, достигшая в красоте пределов фантазии,

и подступила ко мне, и взгляд ее выражал желание и кроткую решимость;

и — я улыбнулся ей,
она — в ответ улыбнулась,
я — взглянул на нее с тупым обожанием,
она — польщено хихикнула,
я — не спросил ее имени,
она — моего не спросила,
я — в трех словах выразил ей гамму своих желаний,
она — вздохнула,
я — выразительно опустил глаза,
она — посмотрела на небо,
я — посмотрел на небо,
она — выразительно опустила глаза,
и — оба мы, как водится, испускали сладостное дыхание, и
нам обоим плотоядно мигали звезды,
и аромат расцветающей флоры кутал наши зыбкие очерта-
ния в мистический ореол,
и лениво журчали в канализационных трубах отходы бес-
плотных организмов, и классики мировой литературы уныло
ворочались в гробах,
и — я смеялся утробным баритоном,
она — мне вторила сверхъестественно-звонким контральто,
я — дерзкой рукой измерил ее плотность, объемы и рельеф,
она — упоительно вращала глазами,
я — по-буденновски наскакивал,
она — самозабвенно кудахтавала,
я — воспламенял ее трением,
она — похотливо вздрагивая, сдавалась,
я — изнывал от бешеной истомы,
она — задыхалась от слабости,
я — млея,
она — изнемогала,
я — трепетал,
она — содрогалась,
и — через мгновение — все тайники распахнулись и отверз-
лись все бездны, и в запредельных высотах стонали от счастья
глупые херувимы
и Вселенная застыла в блаженном оцепенении, и —
и — Тот же незримый схватил меня за шиворот, и проблеял
мне в уши:
«Что делаешь Ты, Брат Мой, в этом мире, Ты, который
больше чем божий мир?»

И вздрогнул, и оглянулся, и сто тридцать мгновений боролось во мне бешенство желаний с тихим безумием Идеи,
и сердце отвергнутой надломилось; и рыдала на ложе из зелени.

И с тех пор много дев домогалось меня, и я отворачивался, истлевая в пламени вожделений, и искали убить меня, и я смеялся.

И вот я преодолел земное тяготение, и как Феникс из огня, из тернового куста Иегова,— выпорхнул, пронизанный лунным светом.

И душа моя вместительнее Преисподней.

Глава 4

И третьего искушения настал черед, и вот Меня, восставшего из грязи человеческих страстей,

воспринял дух, наставляющий мой полет к высям последней надежды

и — сквозь завесы вселенских круговращений — ослепляли наш взор очертания сфер — пламенеющих в отдалении,

и вставал, как в бреду одержимый, лучезарный престол Всеблагого.

И светлым, как полнолуние, и кротким, как стадо овец на лугах псалмопевца Давида,

оставалось чело Искупителя, воссевшего одесную в ореоле голубой меланхолии,

и улыбался сквозь слезы, приветствуя наше явление из пустоты междумирий.

И говорил нам:

«Бледнолицые странники — томимые жаждой успения — кто бы вы ни были — оставьте лукавство, и не обойдет вас милостью Творец, простирающий благодать свою на всех, кто ее заслуживает».

И мы отвечали Ему:

«Не затем, чтобы вкусить улады и прозябания в ваших пределах.

И не ожидая покровительства Господня мы стремили, заблудшие, свой полет.

Но разбудить Твой дремлющий дух и к радостному покаянию призвать тебя, дружище Иисус» — <...>.

И он отвечал нам:

«Что говорите, не ведаете. Взгляните — остановили порхание наивные дети света.

И небесное воинство бывает бесцеремонно, когда бороздят морщины чело Михаила Архангела,— Я не знаю вас,

но тот, чьи враги помutilи ваш разум,— среди вас пребывает и ныне, и присно,

и у подножия престола Его — о каком еще служении говорите вы?»

И улыбнувшись, хранители тайны неизреченной, мы отвечали Ему:

«Нелепости в толковании Творца бесчисленны, как Его творения, и нам все они ведомы, и благодать Его, та, что святой Франциск назвал неодолимой, не коснулась нас.

И Ты, обвиняющий нас, Ты, служивший Ему действием и намерением,

научил нас верить, что не поступками, но Словом измеряется ценность разумного создания.

И тысячу раз был прав сказавший в Тивериаде: «Он изгоняет бесов силой царя бесовского»,

потому что названный Отец твой — по милости твоей — никогда уже не вернет последовательность в мир краснощеких язычников.

И дары Его — с тех пор как были тобой отвергнуты — для всех, разделивших твой энтузиазм, утратили элемент очарования.

Одоловший соблазны суетных видений, Ты, сам не сознавая того,— прорицатель <...>

утратил, перед лицом Господним, последнюю надежду на исправление,

и, испутивший дух под охраной божественного промысла, был по расчету усыновлен во времена апостолов — невозвратимо —

тех апостолов, что инсценировали вознесение, из боязни послать богоотступниками.

И если престол Его неколебим,

мы — сто тридцать недель спустя — рассмеемся от бессилия, но не отступим от наших заповедей;

И если Сам Он здесь — среди нас — исполнитель законов собственной природы.

Неотесанный Живодер, лишенный рассудка, иронии и форм протяжения, тупой, как сибирский валенок,

если Сам Он здесь — среди нас — наплюй Ему в Лицо, Искупитель, и благослови нас».

«И благослови нас»,— повторяло эхо под холодными сводами Эдема;—

и Божий Сын пал без сознания к ногам небесного воинства, и тревога, и ужас изобразились на лицах, и струны арф оборвались,

и могущественнейший из архангелов задрожал от стыда и боли <...>

и громадным пинок вышвырнул меня за пределы райских преддверий, туда, где в предвкушении мести бесновались демоны,

и подхваченный на крылья, от века служившие мне опорой, я рассмеялся от счастья и покорный зову высших предназначений:

«Дух, влекущий меня сквозь пространство и годы — не ты ли, поседевший на службе Вельзевула,

во время оно прикинулся Гавриилом, возвестившим Марии тайну святого зачатия?

Я разгадал твое имя! И — отринь меня, Чистейшая из невест, хо-хо! за работу, товарищи!»

И над зевами всех пропастей я хохотал, как сорок умалишенных,

и полчища фурий, вампиров и ведьм рассыпались надо мной в смерче бергаманского танца,

и низвергались вместе со мною — <...> — сквозь неистовство всех стихий, <...>

в карнавале бедствий — праведное небо!— я летел как бомба,

И светила, выбитые из орбит — тысячью вихрей — чертили вокруг меня бешеные арабески — и Галактика содрогалась в блеске божественной галиматии —

в глазах моих все померкло.

Глава 5

И было утро — слушайте! слушайте! <...>

и было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и южный ветер сгibal тамаринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката.

И, мятежное дитя, Я очнулся в том самом образе, который утратил было в семье небожителей.

И снова увидел землю, которую вечность назад покинул, и сам не узнавший никем, никого не узнал.

И препоясал чресла, на голову одел венок из увядающих трав.

И, взяв камышовый посох, – вышел в путь, озаренный звездами;

сырость и мгла подмосковных болот окрыляли Мне сердце предчувствием всех начал;

и – на рассвете пришел к водоему; и вот – безмолвие оборвалось,

и вопль о помощи огласил почиющие тростинки, и траурный всплеск, и смятение отроков, бегущих к воде;

и, раздвинув кусты, Я вышел навстречу мятущимся и сказал:

«Остановитесь, добровольцы! Смирите вашу отвагу и внимайте Мне, творящие добро:

умейте преодолевать в себе то, чем являетесь вы от рождения, и не будьте доверчивы к импульсам, возникающим безответственно;

способность к жалости и самопожертвование – великая ценность, завещанная пославшим Меня в этот мир,

но достигший вожделенной цели, не станет ныне алчущий спасения вдесятеро преданней земле и враждебным Мне началом?

Отойдите от берега: худшая из дурных привычек – решаться на подвиг, в котором больше вежливости, чем сострадания.

Имейте мужество быть ротозеями – даже в те мгновения, когда гражданские обязательства побуждают вас действовать очертя голову, –

идите за Мной – и позвольте утопающему стать утонувшим».

И воды сомкнулись над головой неведомого страдальца, и смущение запечатлелось на юных лицах, и взглядом окинули фейерверк*.

г. Владимир

(конец марта – начало апреля 1962 г.)

* Окончание рукописи утрачено.

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ
ГЛАЗАМИ ЭКСЦЕНТРИКА

1

Я вышел из дому, захватив с собой три пистолета, один пистолет сунул за пазуху, второй – тоже за пазуху, третий – не помню куда.

И, выйдя в переулок, сказал: «Разве это жизнь? Это не жизнь, а колыханье струй и душевредительство. Божья заповедь „Не убий“, надо думать, распространяется и на самого себя (не убий себя, как бы ни было скверно), – но сегодняшняя скверна и сегодняшний день – вне заповедей. „Ибо лучше умереть мне, нежели жить“, – сказал пророк Иона. По-моему, тоже так».

Дождь моросил отовсюду, а, может, ниоткуда не моросил, мне было наплевать. Я пошел в сторону Гагаринской площади, иногда зажмуриваясь и приседая в знак скорби. Душа моя распухла от горечи, я весь от горечи распухал, щемило слева от сердца, справа от сердца – тоже щемило. Все мои ближние меня оставили. Кто в этом виноват, они или я, разберется в День Суда Тот, Кто и так далее. Им просто надоело смеяться над моими субботаами и плакать от моих понедельников. Единственные две-три идеи, которые меня чуть-чуть подогревали, – тоже исчезли и растворились в пустотах. И, в довершение, от меня сбежало последнее существо, которое попрिдержало бы меня на этой земле. Она уходила – я догнал ее на лестнице. Я сказал ей: «Не покидай меня, белопупенькая», потом плакал полчаса, потом опять нагнал, сказал: «Благовоннолонная, останься». Она повернулась, плюнула мне на ботинок и ушла навеки. Я мог бы утопить себя в своих собственных слезах, но у меня это не получалось. Я истреблял себя полгода. Я бросался подо все поезда, но все поезда останавливались, не задевая чресел. У себя дома над головой я вбил крюк для виселицы, две недели с веточкой флердоранжа в петлице я слонялся по городу в поисках веревки, но так и не нашел. Я делал даже так: я шел в места больших маневров, становился у главной мишени, в меня лупили все орудия всех стран Варшавского Пакта, и все

снаряды пролетали мимо. Кто бы ни был ты, доставший мне эти три пистолета,— будь четырежды благословен!

Еще не доходя до площади, я задохся, я опустился на цветочную клумбу, безобразен и безгласен. Душа вся распухла, слезы текли у меня и спереди, и сзади, я был так смешон и горек, что всем старушкам, что на меня смотрели, давали нюхать капли и хлороформ.

«Вначале осуши пот с лица. Кто умирал потным? Никто потным не умирал. Ты богооставлен, но вспомни что-нибудь освежающее; что-нибудь освежающее, например, такое:

Ренан сказал: «Нравственное чувство есть в сознании каждого, и поэтому нет ничего страшного в богооставленности». Изящно сказано, но это не освежает,— где оно у меня, это нравственное чувство? Его у меня нет. И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз — терпеть не могу), и пламенный пошляк Хафиз сказал: «У каждого в глазах своя звезда». А вот у меня ни одной звезды ни в одном глазу.

И Алексей Маресьев сказал: «У каждого в душе должен быть свой комиссар». У меня в душе — нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Нет, это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом».

Не поднимаясь с земли, я вынул свои пистолеты, два из подмышек, третий — не помню, откуда,— из всех трех разом выстрелил во все виски — и опрокинулся на клумбу с душой, пронзенной навывлет.

2

«Разве это жизнь?» — сказал я, подымаясь с земли,— это дуновение ветров, это клубящаяся мгла, это плевок за шиворот, вот что это такое. Ты промазал, фигляр. Зараза немилая, ты промахнулся из всех трех пистолетов, и ни в одном из них нет больше ни одного заряда».

Пена пошла у меня изо рта, а, может, не только пена. «Спокойно, тебе остается еще одно средство, кардинальское средство, любимейшее итальянское блюдо — яды и химикалии. Остается фармацевт Павлик, он живет как раз на Гагаринской, книжник, домосед Павлик, пучеглазая мямля. Не печалься, вечно ты печалишься! Не помню кто, не то Аверинцев, не то Аристотель сказал: «*Umnia animalia post coitum oppressus est*», то

есть «каждая тварь после соития бывает печальной», а я вот постоянно печален, и до соития, и после.

А лучший из комсомольцев, Николай Островский сказал: «Одним глазом я уже не вижу ничего, а другим — лишь очертания любимой женщины». А я не вижу ни единым глазом, и любимая женщина унесла от меня свои очертания.

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений...» (Гьфу, не могу больше говорить, у меня спазмы). Я дернулся два раза и зашагал дальше в сторону Гагаринской. Все три пистолета я швырнул в ту сторону, где цвели персидские цикламены, желтофиоли и черт знает, что еще.

Павлик непременно дома, он смешивает яды и химикалии, он готовит средство от бленнорреи,— так подумал я и постучал:

— Отвори мне, Павлик.

Он отворил, не дрогнув ни одной щекой и не подымая на меня бровей; у него было столько бровей, что хоть часть из них он мог бы на меня поднять,— он этого не сделал.

— Видишь ли, я занят,— сказал он,— я смешиваю яды и химикалии, чтобы приготовить средство от бленнорреи.

— О, я ненадолго. Дай мне что-нибудь, Павлик, какую-нибудь цикуту, какого-нибудь стрихнину, дай, тебе же будет хуже, если я околею от разрыва сердца здесь, у тебя на пуфике!— Я взгромоздился к нему на пуфик и умолял:— Цианистый калий у тебя есть? Ацетон? Мышьяк? Глауберова соль? Тащи все сюда, я все смешаю, все выпью, все твои эссенции, все твои калии и мочевины, волокни все!

Он ответил:

— Не дам.

— Ну, прекрасно, прекрасно. В конце концов, Павлик, что мне твои синильные кислоты, или как там еще? Что мне твои химикалии, мне, кто смешал и выпил все отравы бытия? Что они мне, вкушившему яда Венеры? Я остаюсь разрываться у тебя на пуфике. А ты куда лечи бленнорею.

А профессор Боткин, между прочим, сказал: «Надо иметь хоть пару гонококков, чтобы заработать себе бленнорею». А у меня, придурка, ни одного гонококка.

А Миклухо-Маклай сказал: «Не сделай я что-нибудь до 30 лет, я ничего не сделал бы и после 30». А я? Что я сделал до 30, чтобы иметь надежду сделать что-нибудь после?

А Шопенгауэр сказал: «В этом мире явлений...» (о нет, я снова не могу продолжать, снова спазмы).

Павлик-фармацевт поднял на меня все свои брови и стал пучеглазым, как в годы юности. Он продолжал вслед за мной:

— А Василий Розанов сказал: «У каждого в жизни есть своя Страстная неделя». Вот и у тебя...

Вот и у меня, да, да, Павлик, у меня теперь Страстная неделя, и на ней семь Страстных пятниц. Как славно! Кто он такой, этот Розанов?

Павлик ничего не ответил, он смешивал яды и химикалии и думал о чем-то заветном.

— О чем ты думаешь? — спросил я его. Он и на это ничего не ответил, он продолжал думать о заветном. Я взбесился и соскочил с пуфика.

3

Через полчаса, прощаясь с ним в дверях, я сжимал подмышкою три тома Василия Розанова и вбивал бумажную пробку в бутылку с цикутой.

— Реакционер он, конечно, закоренелый?

— Еще бы!

— И ничего более оголтелого нет?

— Нет ничего более оголтелого.

— Более махрового, более одиозного — тоже нет?

— Махровее и одиознее некуда.

— Прелесть какая! Мракобес?

— «От мозга до костей» — как говорят девочки.

— И сгубил свою жизнь во имя религиозных химер?

— Сгубил. Царство ему небесное.

— Душка. Черносотенством, конечно, баловался, погромы и все такое.

— В какой-то степени — да.

— Волшебный человек! Как только у него хватило желчи и нервов, и досуга! И ни одной мысли за всю жизнь?

— Одни измышления. И то лишь исключительно злопыхательского толка.

— И всю жизнь и после жизни — никакой известности?

— Никакой известности. Одна неизвестность.

— Да, да, я слышал (погоди, Павлик, я сейчас иду), я слышал еще в ранней юности от нашей наставницы Софии Соломоновны Гордо об этой ватаге ренегатов, об этом гнусном компоте: Николай Греч, Николай Бердяев, Михаил Катков, Константин Победоносцев «простер свиные крыла», Лев Шестов, Дмит-

рий Мережковский, Фаддей Булгарин («не то беда, что ты поляк»), Константин Леонтьев, Алексей Суворин, Виктор Буренин «по Невскому бежит собака», Сергей Булгаков и еще целая куча мародеров. Об этом созвездии обскурантов, излучающем темный и пагубный свет, Павлик, я уже слышал от моей наставницы Софии Соломоновны Гордо.

— Да, славная женщина, София Соломоновна Гордо. Относительно «банды» я не спорю. Это привычно и не оскорбляет слуха, не урони бутылку с цикутой, а вот «созвездие» оскорбляет слух,— и непривычно, и неточно; Иоганн Кеплер сказал: «Всякое созвездие ни больше, ни меньше, как случайная компания звезд, ничего общего не имеющих ни по строению, ни по назначению, ни по размерам, ни по досягаемости».

— Ну, об этом я, допустим, тоже знаю от нашей классной наставницы Беллы Борисовны Совнер, женщины с дивным... (погоди, Павлик, я сейчас иду). Значит, по-твоему, чиновник Василий Розанов перещеголял их всех своим душегубством, обскакал и заткнул за пояс?

— Решительно всех.

— И переплюнул?

— И переплюнул.

— Людоед. А как он все-таки умер? Как умер этот кровопийца? В двух словах — и я ухожу.

— Умер как следует. Обратился в истинную веру часа за два до кончины. Успел исповедаться и принять причастие. Ты слишком досконален, паразит, спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Я раскланялся, поблагодарил за цикуту и книжки, еще три раза дернулся и вышел вон.

4

Сначала отхлебнуть цикуты, а потом почитать? Или сначала почитать, а потом отхлебнуть цикуты? Нет, сначала все-таки почитать, а потом отхлебнуть. Я развернул наугад и начал читать с середины (так всегда начинают, если имеют в руках чтиво высокой пробы). И вот что это была за середина:

«Книга должна быть дорогой. И первое свидетельство любви к ней — готовность ее купить. Книгу не надо «давать читать». Книга, которую «давали читать», — развратница. Она нечто потеряла от духа своего и чистоты своей. Читальни и библиоте-

ки — суть публичные места, развращающие народ, как дома терпимости».

Вот ведь сволочь какая. Впрочем, нет, через несколько страниц, где уже речь шла не о развратницах-книгах, а просто о развратницах:

«Можно позволить очищенный род проституции “для вдовствующих замужних”, то есть для того разряда женщин, которые неспособны к единобрачию, неспособны к правде, высоте и крепости единобрачия».

Следом началась забавная галиматья о совместимости христианских принципов с «развратными ложеснами» и о том, что христианство, если только оно желает устоять в соперничестве с иудаизмом, должно хотя бы отчасти стать фаллическим. Голова моя стала набухать чем-то нехорошим, я всгал и про сверлил по дыре в каждой из четырех стен для сквозняков.

А потом повалился на канапе и продолжал:

«Бог мой, Вечность моя, отчего Ты дал столько печали мне?» «Томится душа моя. Томится страшным томлением. Утро мое без света. Ночь моя без сна». У обскуранта — и вдруг томится душа? «Есть ли жалость в мире? Красота — да, смысл — да. Но жалость?» «Звезды жалеют ли? Мать жалеет, и да будет она выше звезд». «Грубы люди, ужасающе грубы — и даже по этому одному, или главным образом поэтому — и боль в жизни, столько боли». «О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую долю раздражения!»

(Нет, с этим «душегубом» очень даже есть о чем поговорить, мне давно не попадалось существо, с которым до такой степени было бы о чем поговорить).

«Только горе открывает нам великое и святое». Боль всепредметная беспричинная и почти непрерывная. Мне кажется, с болью я родился. Состояние — иногда до того тяжелое, что еще бы утяжелить — и уже нельзя жить, «состав не выдержит». «Я не хочу истины, я хочу покоя». «О, мои грустные опыты! И зачем я захотел все знать?»

«Я только смеюсь или плачу. Размышляю ли я в собственном смысле? Никогда. Грусть — моя вечная гостья». «Смех никого не может убить, смех придавить только может. Терпение одолевает всякий смех». «Смеяться — вообще недостойная вещь, низшая категория человеческой души. Смех — от Калибана, а не от Ариэля».

«Он плакал. И только слезам Он открыт. Кто никогда не плачет — никогда не увидит Христа». «Христос — слезы человечества». «Боже вечный, стой около меня, никогда не отходи».

(Вот-вот! Маресьев и Кеплер, Аристотель и Боткин говорили совсем не то, а этот — говорит то самое. «Коллежский советник Василий Розанов, пишущий сочинения». Шопенгауэр и София Гордо, Хафиз и Миклухо-Маклай несли унылую дичь, а здесь душа не восстает. И не восстанет теперь, с чем бы она ни имела дела — с парадоксом или прописью).

«Русское хвастовство и русская лень, собравшиеся перевернуть мир, — вот революция». «Она имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего — глубины». «Революция — когда человек преобразуется в свинью, бьет посуду, гадит хлев, зажигает дом». «Самолюбие и злоба — из этого смешана вся революция».

И о декабристах, о моих возлюбленных декабристах: «И пишут, и пишут историю этой буффонады. И мемуары, и всякие павлиньи перья. И Некрасов с «Русскими женщинами»».

И о Николае Чернышевском (о том, кто призван был, страдалец, «царям напоминать о Христе»):

«Понимаете ли вы, что цивилизация — это не Боклишко с Дарвинишко, не Спенсеришко в 20 томах, не ваш Николай Гаврилович, все эти лапти и онучи русского просвещения, которым всем надо дать под зад?» «Понимаете ли вы отсюда, что Спенсеришку-то надо было драть за уши, а Николаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате конюху? Что никаких разговоров с ним нельзя было водить? Что просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые вместо того, чтобы кушать, начинают вонять?» (Как это может страдалец — вонять?)

И о графе Толстом:

«В особенности не люблю Толстого и Соловьева. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю их души. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызывает большее движение души, чем их «философия и публицистика». Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. В них (в Толстом и Соловьеве) не было абсолютно никакой «раздавленности», напротив, сами весьма и весьма «давили».

И о Максиме Горьком (по-моему, все-таки о Максиме Горьком):

«Все что-то где-то ловит, в какой-то мутной водичке какую-то самолюбивую рыбку. Но больше срыгается, и насадка плохая, и крючок туп. Но он не унывает и опять закидывает».

И об основателе «политического пустозвонства в России» Александре Герцене.

И даже о Николае Гоголе, предмете его поклонения:

«За всю его жизнь — ни одного высокого и натурального помысла — только бы накопить денежку или прочитать кому-нибудь рацею. Он, еще будучи гимназистом, матери в письмах диктовал рацеи. И все его душевные движения — без всякой страсти, медленные и тягучие. Словно гад ползет».

Вот на этом «ползучем гаде» я уснул на рассвете, в обнимку с моим ретроградом. Вначале уснула духовная сторона моего существа, следом за ней и брэнная — тоже уснула.

5

И когда духовная проснулась, брэнная еще спала. Но мой ретроград проснулся раньше их всех, и мне, если бы я не был уже знаком с ним, показалось бы, что он ведет себя диковинно.

Вначале, плеснув себе воды в лицо, он пропел: «Боже, царя храни», пропел нечисто и неумело; но вложил в это больше сердца и натуральности, чем все подданные Российской империи, вместе взятые со времен злополучной Ходынки. Потом расцеловал всех детей на свете и пешком отправился в церковь. Стоя среди молящихся, он смахивал то на оценщика-иностранца, то на «демона, боязливо хватающегося за крест», то на Абаддону, только что выползшего из своей бездны, то еще на что-то такое, в чем много пристрастия, но трудно определить, какого рода это пристрастие и во что оно обходится этому Абаддоне.

(А я все лежал на канапе, переминаясь с ноги на ногу, и наблюдал).

Выйдя на паперть, он подал двум нищим, а остальным, всмотревшись в них, почему-то не подал. За что-то поблагодарил Клейнмихеля, походя дал пощечину Желябову, прослезился и сказал квартальному надзирателю, что в мире нет ничего святее полицейских функций.

Потом поежился. Обойдя сзади шеренгу социалистов и народовольцев, ущипнул за ягодицу «кавалерственную даму» Веру Фигнер (она и глазом не повела), а всем остальным роздал по подзатыльнику.

(«О, шельма!» — сказал я, путаясь в восторгах).

А он, между тем, вклеив последний подзатыльник, нахмурился и вошел ко мне в избу с кучей старых монет в кармане. Покуда он вынимал, вертел в руках и дул на каждую монетку, я тихо приподнялся на канаве и шепотом спросил:

— Неужели это интересно: дуть на каждую монетку?

А он, ни слова не говоря, сказал мне:

— Чертовски интересно, попробуй-ка сам. А почему ты дрыхнешь? Тебе скверно, или ты всю ночь путался с блядьми?

— Путался, и даже с тремя. Мне дали вчера их почитать, потому что мне было скверно. «Книга, которую дают читать...» — и так далее. Нет, сегодня мне чуть получше. А вот вчера — мне было плохо до того, что делегаты горсовета, которые на меня глядели, посыпали голову пеплом, раздирали одежды и перепоясывались вретисцем. А старушкам, что на меня глядели, давали нюхать...

Меня прорвало, и я на память пересказал свой вчерашний день, от пистолета до ползучего гада. И тут он пришелся мне совсем уже по вкусу, мой гость-нумизмат: его прорвало тоже. Он наговорил мне общих мест о кощунстве самоистребления, потом что-то о душах, «сплетенных из грязи, нежности и грусти», и о «стыдливых натурах, обращающих в веселый фарс свои глубокие надсады», о Шернвале и о Гринберге, об Амвросии Оптинском, о тайных пафосах еврея и половых загадках Гоголя и Бог весть еще о чем.

Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, и раздавал панегирики всем, над кем мы глумимся,— все это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системности в изложении, с озлобленной сосредоточенностью, с нежностью, настоенной на черной желчи, и с «метафизическим цинизмом».

Не зная, что еще высказать, чем высказать свои восторги (не восклицать же снова: «О, шельма!»), я пересел на стул, представив ему свалиться на мое канаве. И в три тысячи слов рассказал ему о том, чего он знать не мог: о Днепрогэсе и Риббентропе, Освенциме и Осоавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах (тут он попросил подробнее, но подробнее я не знал), о Павлушке Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке.

Это его раздавило, он почернел и опустился. И только потом опять заговорил: об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога и Церкви, о Гефсиманском поте и врожденной вине.

А я ему — тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и Кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов.

— Когда израильтяне ездили на юг, к измаильтянам, они все, что имели, меняли на бальзамические смолы. А мы — что мы обменяем на бальзамические смолы, если поедем на юг, к измаильтянам? Клятва, гарантия, порука, залог — что найти взамен всему этому? Чем клясться, за кого поручиться и где хоть один залог? Вот даже старьей Лаван, изверившийся во всем, клялся дочерьми, не зная, что еще можно избрать предметом. А есть ли у кого-нибудь из нас, во всей России, хоть одна дочь, а если есть, сможем ли мы поклясться дочерьми?..

Любивший дочерей мой собеседник высморкался и сказал: «Изрядно».

6

И тут меня прорвало целым шквалом черных и дураковатых фраз:

— Все переменялось у нас, ото «всего» не осталось ни слова, ни вздоха. Все балаганные паяцы, мистики, горлопаны, фокусники, невротики, звездочеты — все как-то поразбежались по границам еще до твоей кончины. Или, уже после твоей кончины, у себя дома в России поперемерли-поперевешались. И, наверное, слава Богу, остались только простые, честные и работающие. Говна нет, и не пахнет им, остались только брильянты и изумруды. Я один только — пахну... Ну, еще несколько отщепенцев — пахнут...

Мы живем скоротечно и глупо, они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже подышаем. А они, мерзавцы, долголетни и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен. Кащей почему-то бессмертен. Всякая их идея — непреходяща, им должно расти, а нам — умяляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл огонь для них, мерзавцев.

— О, не продолжай,— сказал мне на это Розанов,— и перестань говорить околесицу...

— Если я замолчу и перестану нести околесицу,— отвечал я,— тогда заговорят камни. И начнут говорить околесицу. Да.

Я высморкался и продолжал:

— Они в полном неведении. «Чудовищное неведение Эдипа», только совсем наоборот. Эдип прирезал отца и женился на матери по неведению, он не знал, что это его отец и его мать, он не стал бы этого делать, если бы знал. А у них — нет, у них не так. Они женятся на матерях и режут отцов, не ведая, что это, по меньшей мере, некрасиво. И знал бы ты, какие они все крепьши, теперешние русские. Никто в России не боится щекотки, я один только во всей России хохочу, когда меня щекочут. Я сам щекотал троих девок и с десятков мужиков — никто не отозвался ни ужимкой, ни смехом. Я ребром ладони лушил им всем под коленку — никаких сухожильных рефлексов. Зрачки на свет, правда, реагируют, но слабо. Ни у кого нет ни одного камня в почках, никакой дрожи в членах, ни истомы в сердце, ни белка в моче. Из всех людей моего поколения одного только меня не взяли в Красную Армию, и то только потому, что у меня изжога и на спине два пупырьшка...

(«Хо-хо!» — сказал собеседник. — Отменно».)

И вот меня терзает эта контрастность между ними и мною. «Прирожденные идиоты плачут, — говорил Дарвин, — но кретины никогда не проливают слез». Значит — они кретины, а я — природный идиот. Вернее, нет, мы разнимся, как слеза идиота от улыбки кретина, как понос от запора; как моя легкая придурица от глубокой припизднутости (сто тысяч извинений). Они лишили меня вдоха и выдоха, страхи обложили мою душу со всех сторон, я ничего от них не жду, вернее, опять же нет, я жду от них сказочных зверств и несказанного хамства, это будет вот-вот, с востока это начнется или с запада, но это будет вот-вот. И когда начнется — я уйду, сразу и без раздумий уйду, у меня есть опыт в этом, и у меня под рукой яд, благодарение Богу. — Уйду, чтобы не видеть безумия сынов человеческих...

Все это проговорил я, давась от слез. А проговорив, откинулся на спинку стула, заморгал и затрясся. Собеседник мой наблюдал за мной с минуту, а потом сказал:

7

— Не терзайся, приятель, зачем терзаться? Перестань трястись, импульсивный ты человек! У самого у тебя каждый день штук тридцать вольных грехов и штук сто тридцать невольных, позаботься сначала о них. Тебе ли сетовать на грехи мира и отягчать себя ими? Прежде займись своими собственными. Во

всеобщем «безумии сынов человеческих» есть место и для твоей (как ты сладостно выразился) припизднутости.

«Мир вечно тревожен и тем живет». И даже напротив того: «Мы часто бываем неправдивы, чтобы не причинять друг другу излишней боли». Он же постоянно правдив. Благо тебе, если увидишь его и прибегнешь. Путь к почитанию Креста, по существу, только начинается. Вот: много ли ты прожил, приятель? — совсем ничтожный срок, а ведь со времени Распятия прошло всего шестьдесят таких промежутков. Все было недавно. «И оставь свои выпренности», все еще только начинается.

Пусть говорят, что дом молитвы, обращенный в вертеп разбойников, не сделаешь снова домом молитвы. «Но нежная идея переживает железные идеи. Порвутся рельсы. Сломаются машины. А что человеку плачется при одной угрозе вечной разлуки — это никогда не порвется и не истощится. «Следует бросить железо — оно паутина, и повернуть в нежную идею. Истинное железо — слезы, вздохи и тоска. Истинное, что никогда не разрушится, — одно благодное».

Он много еще говорил, но уже не так хорошо и не так охотно. И зыбко, как утренний туман, приподнялся с канаве, и, как утренний туман, заколыхался, а потом сказал еще несколько лучших слов — о вздохе, корыте и свиньях — и исчез, как утренний туман.

Прекрасно сказано: «Все только начинается!» Нет, я не о том, я не о себе, у меня-то все началось давно, и не с Василия Розанова, он только «распалил во мне надежду». У меня все началось лет десять до того, все влитое в меня с отроческих лет плескалось внутри меня, как помой, переполняло чрево и душу, и просилось вон — оставалось прибежать к самому проверенному из средств: изблевать все это посредством двух пальцев. Одним из этих пальцев стал Новый Завет, другим — российская поэзия, то есть вся русская поэзия от Гаврилы Державина до Марины (Марины, пишушей «Беда» с большой буквы).

Мне стало легче. Но долго после этого я был расслаблен и бледен. Высшие функции мозга затухали оттого, что деятельно был возбужден один только кусочек мозга — рвотный центр продолговатого мозга. Нужно было что-то укрепляющее, и вот этот нумизмат меня укрепил — в тот день, когда я был расслаблен и бледен сверх всяких пределов.

Он исполнил функцию боснийского студента, всадившего пулю в эрцгерцога Франца-Фердинанда. До него было скопле-

ние причин, но оно так и осталось бы скоплением причин. С него, собственно, не началось ничего, все только разрешилось, но без него, убийцы эрцгерцога, собственно, и ничего бы не началось.

Если бы он теперь спросил меня:

— Ты чувствуешь, как твоя поганая душа понемногу теитезируется?

Я ответил бы:

— Чувствую. Теитезируется.

И ответил бы иначе, чем еще позавчера бы ответил. Я прежде говорил голосом глуповатым и жалким, голосом, в котором были только звон и бляенье, бляенье заблудшей овцы и звон потерянной драхмы вперемишку. Теперь я уже знал кое-что о миссионерственных образцах и готов был следовать им, если б даже меня об этом не просили. «Неумело» «благотворить» и «по пустякам» анафемствовать.

Прекрасно сказано: «Люди, почему вы не следуете нежным идеям?» Это напоминает вопрос какого-то британца к вождю калиманганских каннибалов: «Сэр, почему вы кушаете своих жен?»

Я не знаю лучшего миссионера, чем повалявшийся на моем канapé Василий Розанов.

Да, что он там сказал, уходя? О вздохе, о свиньях?

Вздох богаче царства, богаче Ротшильда. Вздох — всемирная история, начало ее и вечная жизнь. Мы — святые, а они — корректные. К «Вздыху» Бог придет. К нам придет. Но скажите, пожалуйста, неужели Бог придет к корректному человеку? У нас есть вздох, у них нет — вздоха.

И тогда я понял, где корыго и свиньи,

8

а где терновый венец, и гвозди, и мука.

И если придется, я защищу все это, как сумею.

А если станут мне говорить, что Розанов был трусоват в сферах повседневности, я, во-первых, скажу, что это враки, что ведь кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего. Но если это в самом деле так, можно отбояриться каким-нибудь убогим каламбуром, вроде того, например, что трусость — это хорошо, трусость позитивна и основывается на глубоком знании вещей и, следовательно, опасении их. А всякая отвага — по существу негативное качество, заключающееся в отсутствии трусости. И балбес, кто будет утверждать обратное.

Если мне скажут: случилось, он подличал в мелочах, иногда склонялся к ренегатству и при кажущейся неизбежности принципов он, по собственному признанию, «менял убеждения, как перчатки, уверяя при этом, что за каждой изменой следует возрождение», — если все это мне скажут, я им отвечу в их же манере: все это декларация человека, кто жаловался и на собственный «фетишизм мелочей» и кому (может быть, даже единственному в Европе) ни одна мелочь не застилала глаз.

Да, этот человек ни разу за всю жизнь не прикинулся добродетельным, между тем как прикидывались все. А за огненную добродетель можно простить вялый порок. Чтобы избежать приговоров пуританов, надо, чтобы порок был лишен всякой экстремы. Чтобы избавиться от упреков разных мозгообателей, вроде принца Гамлета, королеве Гертруде, прежде чем идти под венец, надо было просто *успеть доносить свои башмаки*. Искушитель был во всем искушен, кроме греха. Мы же можем быть искушены во всех грехах, — чтобы знать им цену и суметь отворотиться от всех них. Можно быть причастным мелкой лжи, можно быть поднаторевшим в пустяшной несправедности — пусть — это как прививка от оспы — это избавляет от *той гигантской лжи* — (все дураки знают, о чем я говорю).

А если скажут мне бабы, что выглядел он прескверно, что нос его был мясист, а маленькие глаза постоянно блуждали и дурно пахло изо рта, и все такое, — я им, засранкам, отвечу так: «Ну, так что ж, что постоянно блуждали? Честного человека по этому признаку и можно отличить: у него глаза бегают. Значит, человек совестлив и не способен на крупноплановые хамства, у масштабных преступников глаза не шевелятся. У лучшей части моих знакомых — бегают. У Бонапарта глаза не шевелились. А Розанов сказал, что откусил бы голову Бонапарту, если бы встретил его когда-нибудь. Ну, как может пахнуть изо рта у человека, кто хоть мысленно откусил башку у Бонапарта?..»

Он не был ни замкнут, ни свиреп, пусть не плетут вздора те, кто не знает, что в мире нет ничего шуточного (а он знал это лучше всех). Эти люди веселы и добры, и он поэтому был веселее всех и добрей. Только легкомысленные люди замкнуты и свирепы.

А если (гадость какая), а если заговорят о пресловутых «эротических нездоровьях» Розанова — тут нечего и возражать. Тому, у кого в душе от юности до смерти прочно стоял монастырь, — отчего бы и не позабавиться иногда языческими кунштюками, если бы это, допустим, и в самом деле были только

кунштюки и забавы? И почему бы не позволить экскурсии в сексуальную патологию тому, в чьем сердце неизменной оставалась Пречистая Дева? Ни малейшего ущерба ни для Розанова, ни для Пречистой Девы.

Ему надо воздвигнуть монумент, что бы там ни говорили. Ему надо воздвигнуть три монумента: на родине, в Петербурге и в Москве. Если мне будут напоминать, что сам покойник настаивал: «Достойный человека памятник только один — земляная могила и деревянный крест, а монумента заслуживает только собака», — я им скажу, дуракам, что если и в самом деле на что-нибудь годятся монументы, то исключительно только для напоминания о том, кто, по зависящим от нас или нет причинам, незаслуженно ускользнул из нашей памяти. Антону Чехову в Ялте вовсе незачем ставить памятник, там его и без того каждая собака знает. А вот Антону Деникину в Воронеже — следовало бы — каждая тамошняя собака его забыла, а надо, чтобы помнила каждая собака.

9

Короче, так. Этот гнусный ядовитый фанатик, этот токсичный старикашка, он — нет, он не дал мне полного снадобья от нравственных немощей, — но спас мне честь и дыхание (ни больше, ни меньше: честь и дыхание). Все тридцать шесть его сочинений, от самых пухлых до самых крохотных, вонзились мне в душу и теперь торчали в ней, как торчат три дюжины стрел в пузе святого Себастьяна.

И я пошел из дома в ту ночь, набросив на себя что-то вроде салопы, с книгами подмышкой. В такой поздний час никто не набрасывает на себя салоп и не идет из дома к друзьям-фармацевтам с шовинистами подмышкой. А я вот пошел — в путь, пока еще ничем не озаренный, кроме тусклых созвездий. Чередовались знаки Зодиака, и я вздохнул, так глубоко вздохнул, что чуть не вывихнул все, что имею. А вздохнув, сказал:

— Плевать на Миклухо-Маклая, что бы он там ни молол. До 30 лет, после 30 — какая разница? Ну, что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Он успел, правда, откусить башку у брата своего, Британика. Но основное было впереди: он еще не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня тоже — все впереди.

Хо-хо, пускай мы всего-навсего говно собачье, а они — брильянты, начхать! Я знаю, какие они брильянты. И каких они еще

навыгворяют дел, паскуднейших, чем натворили,— это я тоже знаю! Опали им гортань и душу, Творец, они не заметят даже, что Ты опалил им гортань и душу, все равно — опали!

Вот, вот! Вот что для них годится, я вспомнил: старинная формула отречения и проклятия. «Да будьте вы прокляты в вашем доме и в вашей постели, во сне и в дороге, в разговоре и в молчании. Да будут прокляты все ваши чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело ваше от темени до подошвы ног!»

(Прелестная формула).

Да будьте вы прокляты на пути в свой дом и на пути из дому, в лесах и на горах, со щигом и на щиге, на кровати и под кроватью, в панталонах и без панталон! Горе вам, если вам, что ни день, омерзительно. Если вам, что ни день, хорошо — горе вам! (Если хорошо — четырежды горе!). В вашей грамотности и в вашей безграмотности, во всех науках ваших и во всех словесностях,— будьте прокляты!

На ложе любви и в залах заседаний, на толчках и за пиопитрами, после смерти и до зачатия — будьте прокляты.

Да будет так. Аминь.

Впрочем, если вы согласитесь на такое условие: мы драгоценных вас будем пестовать, а вы нас — лелеять, если вы согласны растаять в лучах моего добра, как в лучах Ярилы растаяла эта проблядь Снегурочка,— если согласны — я снимаю с вас проклятья. Меньше было бы заботы о том, что станется с моей землей, если б вы согласились. Ну, да разве вас уломаешь, ублюдки?

Итак, проклятие остается в силе.

Пускай вы изумруды, а мы наоборот. Вы пройдете, надо полагать, а мы пребудем. Изумруды канут на самое дно, а мы поплывем — в меру подлые, в меру вошочие,— мы поплывем.

Я смахивал вот сейчас на оболтусов-рыщарей, выходящих от Петра Пустынника,— доверху набитых всякой всячиной, с прочищенными мозгами и с лицом, обращенным в сторону Гроба Господня. Чередовались знаки Зодиака. Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну хоть теперь-то вот вы благосклонны ко мне?»

«Благосклонны»,— ответили Созвездия.

САША ЧЕРНЫЙ И ДРУГИЕ

На днях я маялся бессоницей, а в таких случаях советуют или что-нибудь подсчитывать, или шпарить наизусть стихи. Я занялся и тем, и этим, и вот что обнаружилось: я знаю слово в слово беззапиночным образом 5 стихотворений Андрея Белого, Ходасевича — 6, Анненского — 7, Сологуба — 8, Мандельштама — 15, а Саши Черного только 4, Цветаевой — 22, Ахматовой — 24, Брюсова — 25, Блока — 29, Бальмонта — 42, Игоря Северянина — 77. А Саши Черного — всего 4.

Меня подивило это, но ненадолго. Разница в степени признания тут ни при чем: я влюблен во всех этих славных серебряно-вековых ребятишек, от позднего Фета до раннего Маяковского, решительно во всех, даже в какую-нибудь трухлявую Марию Моравскую, даже в суконно-камвольного Оцупа. А в Гиппиус — без памяти и по уши. Что до Саши Черного — то здесь приятельское отношение, вместо дистанционного пиетета и обожания. Вместо влюбленности — закадычность. И «близость и полное совпадение взглядов», как пишут в коммюнике.

Все мои любимцы начала века все-таки серьезны и амбициозны (не исключая и П. Потемкина). Когда случается у них у всех, по очереди, бывать в гостях, замечаешь, что у каждого чего-нибудь нельзя. «Ни покурить, ни как следует поддать», ни загнать не-пур-да-дамный анекдот, ни поматериться. С башни Вяч. Иванова не высморкаешься, на трюмо Мирры Лохвицкой не поблюешь.

А в компании Саши Черного все это можно: он несерьезен, в самом желчном и наилучшем значении этого слова.

Когда читаешь его сверстников-антиподов, бываешь до того оглушен, что не знаешь толком, «чего же ты хочешь». Хочется не то быть распростертым в пыли, не то пускать пыль в глаза народам Европы; а потом в чем-нибудь погрязнуть. Хочется во что-нибудь впасть, но непонятно во что, в детство, в грех, в лучезарность или в идиотизм. Желание, наконец, чтоб тебя убили резным голубым наличником и бросили твой труп в

зарослях бересклета. И все такое. А с Сашей Черным «хорошо сидеть под черной смородиной» («объедаясь ледяной простоквашею») или под кипарисом («и есть индюшку с рисом»). И без боязни изжоги, которую, я замечал, Саша Черный вызывает у многих эзотерических простофиль.

Глядя на вошь, Рукавишников почесывает пузо, Кузмин — переносицу, Клюев — чешет в затылке, Маяковский — в мошонке. У Саши Черного тоже свой собственный зуд — но зуд подвздошный — приготовление к звучной и точно адресованной харкотине.

Во всяком случае, четверть века назад, когда я впервые напился до такой степени, что превозмог конфузливость, первым моим публично прочитанным стихотворением был, конечно, «Стилизованный осел»:

«Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам,
По утрам...» — ну, и так далее.

Рождество 82 г.

МОЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛЕНИНИАНА

Для начала два вполне пристойных и дамских эпитафия:

Надежда Крупская — Марии Ильиничне Ульяновой: «Все же мне жалко, что я не мужчина, а то бы я в десять раз больше шлялась» (1899).

Инесса Арманд (1907): «Меня хотели послать еще на сто верст к северу, в деревню Койду. Но, во-первых, там совсем нет политиков, а во-вторых, там, говорят, вся деревня заражена сифилисом, а мне это не очень улыбается».

Впрочем, можно следом пустить еще два дамских эпитафия, но только уже не вполне пристойных.

Галина Серебрякова о ночах Карла Маркса и Женни фон Вестфален: «Окружив его заботой, Женни терпеливо писала под диктовку Карла. А Карл с сыновней доверчивостью отдавал ей свои мысли. Это были счастливые минуты полного единения. Случалось, до рассвета они работали вместе». Но только люди, жившие за стеной, жаловались на то, что у них ночами «не прекращаются разговоры и скрип ломких перьев» (в серии «Жизнь замечательных людей»).

Инесса Арманд — Кларе Цеткин: «Сегодня я сама выстирала свои жабо и кружевные воротнички. Вы будете бранить меня за мое легкомыслие, но прачки так портят, а у меня красивые кружева, которые я не хотела бы видеть изорванными. Я все это выстирала сегодня утром, а теперь мне надо их гладить. Ах, счастливый друг, я уверена, что Вы никогда не занимаетесь хозяйством, и даже подозреваю, что Вы не умеете гладить. А ну-ка, скажите откровенно, Клара, умеете Вы гладить? Будьте чистосердечны и в Вашем следующем письме признайтесь, что Вы совсем не умеете гладить!» (январь 1915).

Ну, а теперь к делу. То есть к выбранным местам из частной и деловой переписки Ильича с того времени, как он обучился писать, и до того (1922) времени, как он писать разучился.

В 1895 году он еще гуляет по Тиргартену, купается в Шпрее. Посетив Францию, сообщает: «Париж — город громадный, изрядно раскинутый».

Но вот уже в 96-м году Ильич помещен на всякий случай в дом предварительного заключения в Санкт-Петербурге: «Литературные занятия заключенным разрешаются. Я нарочно справлялся об этом у прокурора. Он же подтвердил мне, что ограничений в числе пропускаемых книг нет».

Оттуда же он пишет сестрице: «Получил вчера припасы от тебя, (...) много снеди (...), чаем, например, я мог бы с успехом открыть торговлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции со здешней лавочкой победа осталась бы несомненно за мной».

Все необходимое у меня теперь имеется, и даже сверх необходимого. Свою минеральную воду я получаю и здесь: мне приносят ее из аптеки в тот же день, как закажу».

Одна только просьба. «Хорошо бы получить стоящую у меня в ящике платяного шкафа овальную коробку с клистирной трубкой» (1896).

А дальше, разумеется, Шушенское. «В Сибири вообще в деревне очень и очень трудно найти прислугу, а летом прямо невозможно» (1897). «Я еще в Красноярске стал сочинять стихи

В Шуше, у подножия Саяна...

но дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил».

Младший братец его, Дмитрий Ульянов, тоже угодил в тюрьму, и вот какие советы из Шушенского дает ему старший брат: «А Митя? Во-первых, соблюдает ли он диету в тюрьме? Поди, нет. А там, по-моему, это необходимо. А во-вторых, занимается ли он гимнастикой? Тоже, вероятно, нет. Тоже необходимо. Я по крайней мере по своему опыту знаю и скажу, что с большим удовольствием и пользой занимался на сон грядущий гимнастикой. Разомнешься, бывало, так, что согреться даже».

Могу порекомендовать ему и довольно удобный гимнастический прием (хотя и смехотворный) — 50 земных поклонов» (1989).

И сверх того, ожидание невесты Надежды Константиновны и будущей тещи Елизаветы Васильевны. Наконец приезжают. Вот как он сообщает об этом приезде своей матушке:

«Я нашел, что Надежда Конст-на выглядит неудовлетворительно. Про меня же Елизавета Васильевна сказала: “Эк Вас разнесло!” — отзыв, как видишь, такой, что лучше и не надо» (1898).

«Мы с Надей начали купаться».

А когда закончились купальные сезоны — «катаюсь на коньках с превеликим усердием и пристрастил к этому Надю» (1899).

Европа после Шушенского, само собой, дерьмо собачье.

«Глупый народ — чехи и немчура» (Мюнхен, 1900). «Мы уже несколько дней торчим в этой проклятой Женеве. Гнусная дыра, но ничего не поделаешь» (1908). «Париж — дыра скверная» (1910).

Блистательные сентенции вроде: «Я вовсе не нахожу ничего смешного в заигрывании с религией, но нахожу много мерзкого» (1909).

«Мы все ездим с Надей на велосипедах кататься» (1909. Бретань). «Ехал я из Жювизи, и автомобиль раздавил мой велосипед (я успел соскочить). Публика помогла мне записать номер, дала свидетелей. Я узнал владельца автомобиля (виконт, черт его дери) и теперь сужусь с ним через адвоката. (...) Надеюсь выиграть» (Париж, 1910).

«Погода стоит такая хорошая, что я собираюсь взяться снова за велосипед, благо процесс я выиграл и скоро должен получить деньги с хозяина автомобиля» (Париж, 1910). «Я не верю, что будет война» (Краков, 1912). «А насчет женского органа напишет Надежда Конст-на» (Краков, 1914).

И драгоценные добавления в письмах Надежды Конст-ны: «Новый год мы встречали вдвоем с Володей, сидючи над тарелками с простаквашей» (январь 1914).

«Собираемся взять прислугу, чтобы не было возни большой с хозяйством и можно было бы уходить на далекие прогулки» (Краков, лето 1914).

«Сегодня Володя ездил на велосипеде довольно далеко, только шина у него лопнула» (Краков, лето 1914).

О своем друге Максиме Горьком Ильич помнит неизменно: «Горький изнервничался и раскис» (1910). «Горький всегда был архибесхарактерным человеком». Или: «Бедняга Горький! Как жаль, что он осрамился!» И несколько позднее: «И это Горький! О, теленок!».

Однако началась война. Бегство из Кракова. И «сидючи» в нейтральной Швейцарии, тов. Шляпникову: «Лозунг мира — это обывательский, поповский лозунг» (17 октября 1914).

А милой Инессе Арманд: «Даже мимолетная связь и страсть поэтичнее, чем поцелуи без любви пошлых и пошленьких супругов». Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре.

Логичное ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить... что?... Казалось бы, поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?). Выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским.

Странно. Не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский брак без любви пролетарскому браку с любовью» (24 января 1915).

И ей же: «Требование “свободы любви” советую вовсе выкинуть. Это выходит действительно не пролетарское, а буржуазное требование. Дело не в том, что Вы субъективно хотите понимать под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви» (17 января 1915).

И опять ей: «Если уж непременно хотите, то и мимолетная связь-страсть может быть и грязная, может быть и чистая» (24 января 1915). «У нас опять дожди. Надеюсь, небесная канцелярия выльет всю лишнюю воду к Вашему приезду, и тогда будет хорошая погода» (4 июня 1915). «Крепко, крепко, крепко жму руку, мой дорогой друг».

И необходимость постоянно печатать свои очередные брошюры с очередными тезисами. Спустя два с лишним года, уже будучи вождем большевистского правительства, он будет давать такие распоряжения: «Реквизировать 30 тысяч ведер вина и спирта в винных складах. Есть ли бумажка от Военно-Революционного Комитета, чтобы спирт и вино не выливались, а **тотчас** были проданы в Скандинавию? Написать ее **тотчас**» (9 ноября 1917). А пока он не вождь, тов. Карпинскому: «Дорогой товарищ! Мы ужасно обеспокоены отсутствием от Вас вестей и корректур (моей брошюры). Неужели наборщик опять запил?» (20 февраля 1915).

Тов. Зиновьеву: «Не помните ли фамилию Кобы? Привет. Ульянов» (23 августа 1915).

Тов. Карпинскому: «Большая просьба: узнайте фамилию Кобы» (9 ноября 1915).

Все. Февральский переворот в России. Ленин: «Нервы взвинчены сугубо. Нужно скакать, скакать». «Мы боимся, что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся». «Нужен отдельный вагон для революционеров». «Я могу одеть парик». «Хорошо бы потребовать у немцев пропуска — вагон до Копенгагена». «Почему бы нет? Я не могу этого сделать. А Трояновский и Рубакин и К° могут. О, если бы я мог научить эту сволочь!» (март 1917).

Инессе Арманд: «Вы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона. Давайте пари держать, что дадут». «Нет ли в Женеве дураков для этой цели?» (19 марта 1917).

«Германское правительство лояльно охраняло экстерриториальность нашего вагона. Привет. Ульянов.» (14 апреля 1917).

В письмах послезалповских, послеавроровских нет ничего триумфального. Напротив того: «Республика» в опасности. Необходимо срочные меры». Например, такие: «Нужно запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко. Он должен называться просто тов. Овсеенко» (14 марта 1918).

«Аресты, которые должны быть произведены по указаниям тов. Петерса, имеют исключительно большую важность и должны быть произведены с большой энергией».

Тов. Зиновьеву в Петроград: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы их удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но!

«Надо поощрить энергию и массовидность террора» (26 ноября 1918).

Тов. Сталину в Царицын: «Будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте чаще». «Повсюду необходимо подавить беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов» (7 июля 1918).

Тов. Сокольникову: «Я боюсь, что Вы ошибаетесь, не применяя строгости. Но если Вы абсолютно уверены, что нет сил для

свирепой и беспощадной расправы, то телеграфируйте» (24 сентября 1918).

В Пензенский губисполком: «Необходимо провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении» (9 августа 1918).

Тов. Федорову, председателю Нижегородского губисполкома: «В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо напрячь все силы, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п.

Ни минуты промедления» (9 августа 1918).

Не совсем понятно, кого же убивать. Проституток, спаивающих солдат и бывших офицеров? Или проституток, спаивающих солдат, а уже отдельно — бывших офицеров? И кого стрелять, а кого вывозить? Или вывозить уже после расстрела? И что значит «и т.п.»?

«...будьте образцово-беспощадны».

Тов. Шляпникову, в Астрахань: «Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять астраханских взяточников и спекулянтов. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы на все годы запомнили» (12 декабря 1918).

Телеграмма в Саратов, тов. Пайкесу: «Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты» (22 августа 1918).

Тов. Сталину, в Петроград. «Вся обстановка белогвардейского наступления на Петроград заставляет предполагать личность в нашем тылу, а может быть, и на самом фронте организованного предательства. Только этим можно объяснить нападение (Юденича) со сравнительно незначительными силами, стремительное продвижение вперед.

Просьба обратить усиленное внимание на это обстоятельство, принять экстренные меры для раскрытия заговоров» (27 мая 1919).

«Предупреждаю, что за это председателей губисполкома и членов исполкома буду арестовывать и добиваться их расстрела» (20 мая 1919).

Тов. Зиновьеву: «Вы меня зарезали!» (7 августа 1919).

В отдел топлива Московского Совдепа: «Дорогие товарищи! Можно и должно мобилизовать московское население поголов-

но и на руках выгащить из леса достаточное количество дров (по кубу, скажем, на взрослого мужчину).

Если не будут приняты героические меры, я лично буду проводить в Совете Обороны и в ЦК не только аресты всех ответственных лиц, но и расстрелы. Нетерпимы бездеятельность и халатность.

С коммунистическим приветом. Ленин» (18 июня 1920).

В Президиум Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов: «Дорогие товарищи! Вынужден по совести сказать, что ваше постановление так политически безграмотно и так глупо, что вызывает тошноту. Так поступают только капризные барышни и глупенькие русские интеллигенты.

Простите за откровенное выражение моего мнения и примите коммунистический привет от надеющегося, что вас проучат тюрьмой за бездействие» (12 октября 1918).

Глебу М. Кржижановскому: «Мобилизовать всех без изъятия инженеров, электротехников, всех кончивших физико-матем. факультеты и пр. Обязанность: в неделю не менее 2 лекций, обучить не менее 10 (50) человек электричеству. Исполнить — премия. А не исполнить — тюрьма» (декабрь 1920).

Тов. Чичерину: «Пусть Сталин поговорит начистоту с турецкой делегацией».

Получает донос на врачей, комиссующих раненых красных солдат, когда те еще «вполне способны воевать»: «...организовать тайный надзор и слежку за поведением этих врачей, чтобы изблечить их, собрав свидетелей и документы, а потом предать суду» (20 ноября 1918).

В Ответ на жалобу М. Ф. Андреевой относительно арестов интеллигенции: «Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей этой околкадетской публики. Преступно не арестовывать ее. Лучше, чтобы десятки и сотни интеллигентов посидели деньки и недельки. Ей-ей, лучше» (18 сентября 1919).

Максиму Горькому о том же: «Короленко ведь почти меньшевик. Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрасудками». «Нет, таким “талантам” не грех посидеть недельки в тюрьме». «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно» (15 сентября 1919).

Тов. Крестинскому: «Брошюра напечатана на слишком роскошной бумаге. По-моему, надо отдать за эту трату роскошной

бумаги и типографских средств под суд, прогнать со службы и арестовать кого следует» (2 сентября 1920).

«Неумный человек или саботажник ее редактировал?»

Тов. Сталину в Харькове: «Пригрозите расстрелом этому неряхе, который, заведя связь, не умеет дать Вам хорошего усилителя и добиться полной исправности телефонной связи со мной» (16 февраля 1920).

Тов. Каменеву: «По-моему, нужен секретный циркуляр против клеветников, бросающих клеветнические обвинения под видом “критики”» (5 марта 1921).

Смольный, Зиновьеву: «Знаменитый физиолог Павлов просится за границу. Отпустить за границу Павлова вряд ли рационально, так как он и раньше высказывался в том смысле, что, будучи правдивым человеком, не сможет, в случае возникновения соответствующих разговоров, не высказаться против Советской власти и коммунизма в России.

Ввиду этого желательно было бы, в виде исключения, предоставить ему сверхнормальный паек» (25 июня 1920).

Каменеву и Сталину: «Опасность, что с сибирскими крестьянами мы не сумеем поладить, чрезвычайно велика и грозна, а т. Чудкаев несомненно слаб, при всех его хороших качествах, — **он совершенно незнаком с военным делом**» (9 марта 1921).

Л. Каменеву, Троцкому, Цюруле, Шляпникову, Рыкову, Томскому: «Прошу вас собрать совещание наркомов — об оздоровлении фабрик и заводов путем сокращения количества едоков» (2 апреля 1921).

В Совет Труда и Обороны: «Перетряхнуть Московский гарнизон, уменьшив количество и повысив качество».

Тов. Серебровскому: «Если у Вас в Баку есть еще следы (хотя бы даже малые) вредных взглядов и предрассудков (среди рабочих и среди интеллигентов), пишите мне тотчас. Беретесь ли Вы сами разбить эти предрассудки и добиться лояльности или нужна моя помощь» (2 апреля 1921).

Тов. Брюханову: «Сейчас же начать кампанию беспощадных арестов за нерадение. (...) НКПрод должен установить по губерниям и по уездам ответственных лиц, чтобы знать, кого сажать» (25 мая 1921).

Тов. Преображенскому: «Что он реакционер, охотно допускаю. Но их надо иначе изобличать. Изобличи на точном факте, поступке, заявлении. Тогда посадим.

Надо выработать приемы ловли спецов и наказания их». (19 апреля 1921).

Очень мило. В. Молотову: «Уволить Абрамовича тотчас.

Федоровскому представить объяснения, как он мог принять на службу Абрамовича.

Федоровского за это наказать примерно» (10 июня 1921).

И шуточки: «Тов. Цюрупа! Не захватите ли в Германию Елену Федоровну Размирович? Крыленко очень обеспокоен ее болезнью. Здесь вылечиться трудно, а немцы выправят. По-моему, надо бы ее арестовать и по этапу выслать в германский санаторий. Привет! Ленин» (7 апреля 1921).

И без шуток: «Если после выхода советской книги ее нет в библиотеке, надо, чтобы Вы (и мы) с абсолютной точностью знали, кого посадить» (тов. Литкенсу, 17 мая 1921).

Тов. Горбунову: «Ведь есть ряд постановлений СТО об ударности Гидроторфа. Явно, они забыты. Это безобразие! Надо найти виновных и отдать их под суд» (10 февраля 1922).

Тов. Каменеву: «Почему это задержалось? (имеется в виду печатание ленинских “Тезисов о внешней торговле”). Ведь я давал сроку 2–3 дня! Христа ради, посадите Вы в тюрьму хоть кого-нибудь. Ваш Ленин» (11 февраля 1922).

«Наши дома загажены подло. Надо в 10 раз точнее и полнее указать ответственных лиц и сажать в тюрьму беспощадно» (8 августа 1921).

«От Центропечати требуйте быстрой рассылки “Наказа СТО”, иначе я их посажу».

«Позвоните Беленькому и скажите, что я зол». А Брюханову и Потяеву: «Если еще раз поссоритесь, обоих прогоним и посадим» (авг. 1921).

«Медленно оформляли заказ на водные турбины! В коих у нас страшный недостаток! Это верх безобразия и бесстыдства! Обязательно найдите виновных, чтобы мы этих мерзавцев могли сгноить в тюрьме» (13 сентября 1921).

«Из новых книг я получил из Госиздата: С. Маслов. “Крестьянское хозяйство”. Из просмотра видно, что насквозь буржуазная, пакостная книжонка, одурманивающая “ученой” ложью.

Либо дурак, либо саботажник злостный мог только пропустить эту книгу.

Прошу расследовать и назвать мне всех ответственных за редактирование и выпуск этой книги лиц» (7 августа 1921).

О Прокоповиче и Кусковой: «Газетам дадим директиву завтра же начать на сотню ладов и изо всех сил их высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в течение двух месяцев».

Наркомату почт и телефонов: «Обращаю ваше серьезное внимание на безобразии с моим телефоном из деревни Горки.

Посылаемые вами лица мудрят, ставят ни к чему какие-то особенные приборы. Либо они совсем дураки, либо очень умные саботажники».

Бедняга профессор Тихвинский, управляющий петроградскими лабораториями Главного нефтяного комитета. Одной фразы Ильича было достаточно: «Тихвинский не случайно арестован: химия и контрреволюция не исключают друг друга» (сентябрь 1921). Расстрелян в 1921 году.

В Главное управление угольной промышленности: «Имеются некоторые сомнения в целесообразности применения врубковых машин. Тот производственный эффект, который ожидается от применения врубковых машин тов. Пятаков, явно преувеличен. Киркой лучше и дешевле» (август 1921).

В комиссию Киселева: «Я решительно против всякой траты картофеля на спирт. Спирт можно и должно делать из торфа. Надо это производство спирта из торфа развить» (11 сентября 1921).

Это напоминает нам деловую записку от 26 августа 1919-го.

«Сообщите в Научно-пищевой институт, что через 3 месяца они должны представить точные и полные данные о практических успехах выработки сахара из опилок».

Ну, это ладно. Воображаю, как вытягивались мордасы у наркома просвещения Анатолия Луначарского, когда он получал от вождя такие депеши: «Все театры советую положить в гроб» (ноябрь 1921).

Или телеграмма: «Какие вопросы вы признаете важнейшими, а какие — ударными? Прошу краткого ответа» (8 апреля 1921).

Для Политбюро ЦК РКП(б): «Узнал от Каменева, что СНК единогласно принял совершенно неприличное предложение Луначарского о сохранении Большой Оперы и балета» (12 января 1922).

Раздражение еще вызывают поэт Маяковский и Народный комиссариат юстиции.

Тов. Богданову: «Мы еще не умеем гласно судить за поганую волокиту. За это весь Наркомюст надо вешать на вонючих

веревках. И я еще не потерял надежды, что всех нас когда-нибудь за это поделом повесят» (23 декабря 1921).

Тов Сокольникову:

«Не спит ли у нас НКЮст? Тут нужен ряд образцовых процессов с применением **жесточайших** кар. НКЮст, кажись, не понимает, что новая экономическая политика требует новых способов, новой жестокости кар. С коммунистическим приветом. Ленин» (11 февраля 1922).

Начинается изгнание профессуры.

Каменеву и Сталину: «Уволить из МВТУ 20—40 профессоров. Они нас дурачат» (21 февраля 1922).

Ф. Э. Дзержинскому: «К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров. Надо это подготовить тщательнее. Обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг. Собрать систематические сведения о политическом стаже, работе и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручите все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ. Не все сотрудники “Новой России” — кандидаты на высылку за границу. Другое дело питерский журнал “Экономист”. Это, по-моему, явный центр белогвардейцев. В № 3 напечатан на обложке список сотрудников. Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг, шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих вредителей изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу.

Прошу показать это секретно, не разглашая, членам Политбюро с возвратом Вам и мне» (10 мая 1922).

А тов. Кржижановский, которому поручено было 10—15 человек обучить электричеству, надорвался и тоже захотел в Европу.

Тов. Сталину. «Прошу немедленно поручить НКИнделу запросить визу для въезда в Германию Глеба Максимилиановича Кржижановского и его жены Зинаиды Павловны Кржижановской.

Речь идет о лечении грыжи.

С коммунистическим приветом. Ленин» (24 апреля 1922).

А тов. Иоффе обязан лечить в Европе свой нервический недуг, который заключается вот в чем.

Тов. Иоффе: «Во-первых, Вы ошибаетесь, повторяя (неоднократно), что ЦК — это я. Такое можно писать только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления.

Зачем же так нервничать, что писать совершенно невозможную фразу, будто ЦК — это я? Это переутомление. Отдохните серьезно. Обдумайте, не лучше ли за границей. Надо вылечиться вполне» (17 марта 1921).

И тут же следом — Г. М. Кржижановскому: «Я должен носом тыкать в мою книгу, ибо иного плана серьезного нет и быть не может» (5 апреля 1921).

А тов. Чичерин вовсе и не просил о лечении, но получилось так: тов. Чичерин представлял нашу державу на Генуэзской конференции с только недавно опубликованным напутствием Ленина: «Нашу ноту по поводу отсрочки Генуэзской конференции следует составить в самом наглom и издевательском тоне, так, чтобы в Генуе почувствовали пощечину. Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью. Нельзя упускать случая» (25 февраля 1922).

В. Молотову: «Я сейчас получил 2 письма от Чичерина. Он ставит вопрос о том, нельзя ли на Генуэзской конференции за приличную компенсацию (продовольственная помощь и пр.) согласиться на маленькие изменения нашей Конституции, именно представительство других партий в Советах. Сделать это в угоду американцам.

Это предложение Чичерина показывает, по-моему, что его надо лечить, немедленно отправить в санаторий» (23 января 1922).

И через день тому же Молотову: «Это и следующее письмо Чичерина явно доказывает, что он болен и сильно болен. Мы будем дураками, если тотчас и насильно не сошлем его в санаторий» (24 января 1922).

И в заключение — два негромких аккорда. Первый из них вызывает слезы, второй — тоже.

Тов. Уншлихту: «Гласность ревтрибуналов (уже) не обязательна. Состав их усилить Вашими людьми, усилить их всяческую связь с ВЧК, усилить быстроту и силу их репрессий. Поговорите со Сталиным, покажите ему это письмо» (31 января 1922).

Тов. Каменеву: «Не можете ли Вы распорядиться о посадке цветов на могиле Инессы Арманд?» (24 апреля 1921).

Москва, 5–6 февраля 1988

ДРАМАТУРГИЯ



*ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ
ИЛИ «ШАГИ КОМАНДОРА»*

Трагедия в пяти актах

В ТРАГЕДИИ УЧАСТВУЮТ:

В р а ч приемного покоя психбольницы
Две его ассистентки-консультантши. Одна — в очках, поджарая и
дробненькая. И больше секретарша, чем ассистентка. Другая — З и -
н а и д а Н и к о л а е в н а , багровая и безмерная

Старший врач И г о р ь Л ь в о в и ч Р а н и н с о н

П р о х о р о в — староста 3-й палаты и диктатор 2-й

Г у р е в и ч

А л е х а по кличке Диссидент, оруженосец Прохорова

В о в а — меланхолический старичок из деревни

С е р е ж а К л е й н м и х е л ь — тихоня и прожектор

В и т я

С т а с и к — декламатор и цветовод

К о л я

Комсорг 3-й палаты П а ш к а Е р е м и н

Контр-адмирал М и х а л ы ч

Медсестра Л ю с и

Медсестра Н а т а л и

Медсестра-санитарка Т а м а р о ч к а

Медбрат Б о р е н ь к а, по кличке Мордворот

Х о х у л я — сексуальный мистик и сатанист

Толстые санитары с носилками, в последнем акте упоящие трупы

Все происходит 30 апреля, потом ночью, потом в часы
первомайского рассвета.

ПЕРВЫЙ АКТ

Он же Пролог. Приемный покой. Слева зрителя — жюри: старший врач приемного покоя, смахивающий на композитора Георгия Свиридова, с почти квадратной физиономией и в совершенно квадратных очках. По обе стороны от него — две дамы в белых халатах: занимающая почти пол-авансцены Зинаида Николаевна и сутуловатая, на всё отсутствующая, в очках и с бумагами, Валентина. Позади них мерно прохаживается санитар и Медбрат Боренька, он же Мордovorot, и о нем речь впереди. По другую сторону стола — только что доставленный «чумовозом» (скорой помощью) Л. И. Гуревич.

Доктор. Ваша фамилия, больной?

Гуревич. Гуревич.

Доктор. Значит, Гуревич. А чем вы можете подтвердить, что вы Гуревич, а не... Документы какие-нибудь есть при себе?

Гуревич. Никаких документов, я их не люблю. Рене Декарт говорил, что...

Доктор (*поправляя очки*). Имя-отчество?

Гуревич. Кого? Декарта?..

Доктор. Нет, нет, больной, ваше имя-отчество!

Гуревич. Лев Исакович.

Доктор (*из-под очков, в сторону очкастой Валентины*). Отметьте.

Валентина. Что отметить, простите?

Доктор. **Все! Все** отметить!.. Родители живы?.. И зачем вам лгать, Гуревич?.. если вы совсем не Гуревич... Так, я еще раз повторяю: ваши родители живы?..

Гуревич. Оба живы, и обоих зовут...

Доктор. Интересно, как их зовут.

Гуревич. Исаак Гуревич. А маму — Розалия Павловна...

Доктор. Она тоже Гуревич?

Гуревич. Да. Но она русская.

Доктор. Ну, а как обстоит дело с вашей матерью?

Гуревич. Вы бестактны, доктор. Что значит «как обстоит дело с матерью?» А с вашей, если вы не сирота, как обстоит?

Доктор. Обратите внимание, больной, я не раздражаюсь. Того же прошу от вас... И кого вы больше любите, маму или папу? Это для медицины совсем не маловажно.

Г у р е в и ч. Больше все-таки папу. Когда мы с ним переплывали Геллеспонт...

Д о к т о р (*очкастой В а л е н т и н е*). Отметьте у себя. Больше любит папу-еврея, чем русскую маму... А зачем вас понесло на Геллеспонт? Ведь это, если мне не изменяют познания в географии,— ведь это **еще** не наша территория...

Г у р е в и ч. Ну, это как сказать. Вся территория — наша. Вернее, будет нашей. Но нам не дают туда погулять — видимо, из миротворческих соображений: чтобы мы довольствовались шестой частью обитаемой суши.

Д о к т о р. А... очень широк, этот Геллеспонт?..

Г у р е в и ч. Несколько Босфоров.

Д о к т о р. Это вы что же — расстояние измеряете в босфорах? Вам повезло, больной, вашим соседом по палате будет человек, он измеряет время тумбочками и табуретками. Вы с ним споетесь. Так что же такое Босфор?

Г у р е в и ч. Ничего нет проще. Даже вы поймете. Когда я по утрам выхожу из дому и иду за бормотухой, то путь мой до магазина занимает ровно 670 моих шагов — а по Брокгаузу, это точная ширина Босфора.

Д о к т о р. Пока все ясно. И часто вы вот так прогуливались?

Г у р е в и ч. Когда как. Другие — чаще... Но я — в отличие от них — без всякого форсу и забубенности. Я — только когда печален...

Д о к т о р. Н-ну, печаль печалью. А на какие средства вы... каждый день переходили этот ваш Босфор? Это очень важно...

Г у р е в и ч. Так ведь мне все равно, какая работа, я на все готов — массовый сев гречихи и проса... или наоборот... Сейчас я состою в хозмагазине, в должности татарина.

З и н а и д а Н и к о л а е в н а. И сколько вам платят?

Г у р е в и ч. Мне платят ровно столько, сколько моя Родина сочтет нужным. А если б мне показалось мало, ну, я надулся бы, например, и Родина догнала бы меня и спросила: «Лева, тебе этого мало? Может, тебе немножко добавить». — Я бы сказал: «Все хорошо, Родина, отвяжись, у тебя у самой ни хуя нету».

Д о к т о р (*из соображений авантюжности*). Я понял, что вы вольный мореплаватель, а не татарин из хозмага. Встаньте. Сдвиньте ноги. Зажмурьте глаза. Протяните руки вперед.

Г у р е в и ч (*делает то, что предписывают*). Я могу сесть?

Д о к т о р. Можете, можете. Довольно. Нам уже по существу все понятно. Вот — одна еще деталь: о том, женаты вы или нет, я не спрашиваю: но есть ли у вас женщина, к которой расположено ваше сердце, та, что сопровождает вас в жизни?

Г у р е в и ч. Конечно, есть. Вернее, конечно, была. Когда мы вместе с нею переплывали Гиндукуш... она разбила свою прекрасную голову... о скалы Бриганского Самоа. В эту минуту (*Гуревич почти плачет*) ...и вот в эту минуту — судьба выбила палочку из рук маэстро. Я утонул, но выплыл — рады, что я выплыл?

Д о к т о р. Из Гиндукуша?

Г у р е в и ч. Из Гиндукуша. А чего стоит выплыть из Гиндукуша, если прежде человеку покорялись Дарданеллы?

Д о к т о р. Вот-вот. Для нас такой пациент — большая редкость, я рад, что вы не утонули. А вот когда вы плавали — вы брали с собой бутылку?

Г у р е в и ч. Еще бы! И какую бронебойную! Уксуснокислого аммония — акулы его не выносят. Как только появляется акула — выливаешь на голову себе и своей подруге немножко уксуснокислого аммония,— и всё, акулы кучевряжатся, вконец теряют свои пустые головы, ну... на прощанье лизнут икры моей подруги... но ведь смешно было бы в такой ситуации быть ревнивым... А когда уже дело доходило до Каракорума...

Д о к т о р. А какое сегодня число на дворе? год? месяц?

Г у р е в и ч. Какая разница?.. Да и все это для России мелко — дни, тысячелетья...

Д о к т о р. Понятно. Скажите, больной: случаются ли у вас какие-нибудь наваждения, иллюзии, химеры, потусторонние голоса..?

Г у р е в и ч. Вот этим обрадовать вас не могу, не случилось. Но...

Д о к т о р. Что все-таки «но»..?

Г у р е в и ч. Да вот я о химерах... Ну для ради чего, например, я изездил весь свет, пересекал все Куэньлуни, взбирался на вершины Кон-Тики,— и узнал из всего этого только одно — что в городе Архангельске пустую винную посуду лучше всего сдавать на улице Розы Люксембург!

Д о к т о р. А еще какие странности?

Г у р е в и ч. Очень много. Допустим, является желание, чтобы небо было в одних Волопасах. Чтобы никаких других созвездий.

И чтобы меня — под этими Волопасами — лишили бы чего-нибудь: чего-нибудь существенного, но не самого дорогого.

Доктор и медсестры нервничают. За их спинами безмятежно прогуливается Мордворот Б о р е н ь к а .

Г у р е в и ч (*продолжает*). Но что мне до Волопасов и Пляяд, когда я стал замечать в себе вот какую странность: я обнаружил, что, подняв левую ногу, я не могу одновременно поднять и правую. Это меня подкосило. Я поделился моим недоумением с князем Голицыным...

Д о к т о р дает знак левым глазом — с тем чтоб В а л е н т и н а записывала. Она лениво наклоняет конопатую голову.

Г у р е в и ч. ...и вот мы с ним пили, пили, пили... чтобы привести мысли в ясность... И я спросил его шепотом — не потревожить бы кого,— да и кого, собственно, было тревожить, мы же были одни — кроме нас, никого... так вот, значит, я, чтоб никого не потревожить, спросил его шепотом: а почему у меня часы идут в обратную сторону? А он всмотрелся в меня, в часы, а потом говорит: «Да по тебе и незаметно, да и выпили, вроде, немного... но только и у меня пошли в обратную».

Д о к т о р. Пить вам вредно, Лев Исакыч...

Г у р е в и ч. Будто я этого не понимаю. Говорить мне это сейчас — все равно, положим, что сказать венецианскому мавру, только что **потрясенному содеянным**,— сказать, что сдавление дыхательного горла и трахеи может вызвать паралич дыхательного центра вследствие асфикции.

Д о к т о р. Достаточно, по-моему... Значит, с князем Голицыным... А с виконтами, графьями, маркизами — не приходилось водку хлебать?..

Г у р е в и ч. Еще как приходилось. Мне, например, звонит граф Толстой...

Д о к т о р. Лев?

Г у р е в и ч. Да отчего же непременно Лев! Если граф — то непременно Лев! Я вот тоже Лев, а ничуть не граф. Мне звонит правнук Льва — и говорит, что у него на столе две бутылки имбирной, а на закуску нет ничего, кроме двух анекдотов о Чапае...

Д о к т о р. И далеко живет, этот граф Толстой?

Г у р е в и ч. Совсем недалеко. Метро «Новокузнецкая», а там совсем рядом. Если вы давно не пили имбирной...

Д о к т о р. А как вам Жозеф де Местр? Виконт де Бражелон? Вы бы их пригласили под забор, шлепнуть из горла... этой... как вы ее называете... бормотухи...?

Г у р е в и ч. Охотно. Но чтобы под этим забором были заросли бересклета... И — неплохо бы — анемоны... Но ведь, ходят слухи, они уже все эмигрировали...

Д о к т о р. Анемоны?

Г у р е в и ч. Добро бы только анемоны. А то ведь и бражелоны, и жозефы, и крокусы. Все-все бегут. А зачем бегут? А куда бегут? Мне, например, здесь очень нравится. Если что не нравится — так это запрет на скитальчество. И... неуважение к Слову. А во всем остальном...

Д о к т о р (*полномочный тон его переходит в чрезвычайный*). Ну, а если с нашей Родиной стряется беда? Ведь ни для кого не секрет, что наши недруги живут только одной мыслью: дестабилизировать нас, а уж потом окончательно... Вы меня понимаете? Мы с вами говорим не о пустяках. (*Обращаясь к Зинаиде Николаевне*.) Сколько у нас в России народностей, языков, племен...?

З и н а и д а Н и к о л а е в н а. А черт их знает... Полтыщи есть, наверняка.

Д о к т о р. Вот видите: полтыщи. И как вы думаете, большой, в случае **обстоятельств** — перед лицом противника — какое племя окажется самым надежным? Вы — человек грамотный, знаете толк в бересклетах и анемонах — и знаете, что они от нас почему-то убегают... И вот — гроза разразилась — в каком вы строю, Лев Исаакович?

Г у р е в и ч. Вообще-то я противник всякой войны. Война портит солдат, разрушает шеренгу и пачкает мундиры. Великий Князь Константин Павлович. Но это ничего не значит. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы...

Д о к т о р (*в сторону В а л е н т и н ы*). Запишите и это.

Г у р е в и ч. Как только моя Отчизна окажется на грани катастрофы, когда Она скажет: «Лева! Брось пить, вставай и выходи из небытия» — тогда...

Оживление в зале. Стук каблучков справа — и в приемный покой стремительно, но без суеты влывает медсестра Н а т а л и. Глаза зажимают почти половину улыбочатой физиономии. Ямка на щеке.

Волосы на затылке, совершенно черные, скреплены немислимой заколкой. Все отдает славянским покоем, кротостью, но и Андалузией — тоже.

Доктор. Вы очень кстати, Наталья Алексеевна (*Обычный обмен приветствиями между дамами, и все такое. Наталью усаживается рядом с Зинойдой*).

Наталья. Новичок... Гуревич?! Сколько лет, сколько...

Доктор. Мы уже, по существу, заканчиваем беседу с больным. Не отвлекать внимания, Наталья Алексеевна, и никаких сепаратностей... Осталось выяснить только несколько обстоятельств — и в палату...

Гуревич (*одушевленный присутствием Натальи, продолжает*). Мы говорили об Отчизне и катастрофе. Итак, я люблю Россию, она занимает шестую часть моей души. Теперь, наверно, уже немножко побольше... (*смех в зале*). Каждый нормальный гражданин должен быть отважным воином, точно так же, как всякая нормальная моча должна быть светло-янтарного цвета. (*Вдохновенно цитирует из Хераскова*).

Готовы защищать отечество любезно,
Мы рады с целою вселенной воевать.

Но только вот какое соображение сдерживает меня: за **такую** Родину, я, нравственно плюгавый хмырь, просто недостойн сражаться.

Доктор. Ну, почему же? Мы вас тут подлечим... и...

Гуревич. Ну так что ж, что подлечите?.. Я все равно ни за что не разберу, какой танк и куда идет. Я готов, конечно, броситься под любой танк, со связкою гранат или даже без связки...

Зинаида Николаевна. Да без связки-то зачем?

Гуревич. Неприятель взлетает на воздух, если даже под него кидаются вообще без ничего. Мой вам совет: больше читайте... Ну уж, если не окажется ни одного танка поблизости — тогда уж амбразура найдется точно. Чья — не важно. Я, не мешкая, падаю на нее грудью — и лежу на ней, лежу, пока наш алый стяг не взовьется над Капитолием.

Доктор. Паясничать, по-моему, уже достаточно. У нас, вы сегодня же убедитесь, их, скоморохов, у нас пруд-пруди. Как

вы оцениваете ваше общее состояние? Или вы считаете — серьезно — свой мозг неповрежденным?

Г у р е в и ч (*пока зануда-доктор синематографически и дедуктивно пощелкивает пальцами по столу*). А вы — свой?

Д о к т о р (*желчно*). Я вас просил, больной, отвечать только на мои вопросы, на ваши я буду отвечать, когда вы вполне излечитесь. Так как же обстоит с вашим общим состоянием, на ваш взгляд?

Г у р е в и ч. ...Мне это трудно сказать... Такое странное чувство... Ни-во-что-не-погруженность,... ни-чем-не-взволнованность, ...ни-к-кому-не-расположенность... И как будто ты с кем-то помолвлен... а вот с кем, когда и зачем — уму непостижимо... Как будто ты оккупирован, и оккупирован-то по делу, в соответствии с договором о взаимопомощи и тесной дружбе, но все равно оккупирован... и такая... ничем-вроде-бы-не-потревоженность, но и ни-на-чем-не-распятость... ни-из-чего-неизбежность. Короче, ощущаешь себя внутри благодати — и все-таки **совсем не там**... ну... как во чреве мачехи... (*аплодисменты*).

Д о к т о р. Вам кажется, больной, что вы выражаетесь неясно. Ошибаетесь. А это гаерство с вас пошибут. Я надеюсь, что вы, при всей вашей склонности к цинизму и фанфаронству,— уважаете нашу медицину и в палатах не станете буйствовать.

Г у р е в и ч (*чуть взглянув на Натали, отправляющую свой белый халатик*).

Мой папа говорил когда-то: «Лев,
Ты подрастешь — и станешь бонвиваном!»
Я им не стал. От юности свой
Стяжал я навык: всем повиноваться,
Кто этого, конечно, стоит. Да,
Я родился в смиренной рубашке.—
А что касается...

Д о к т о р (*нахмурясь, прерывает его*). Я, по-моему, уже не раз просил вас, не паясничать. Вы не на сцене, а в приемном покое... Можно ведь говорить и людским языком, без этих... этих...

З и н а и д а Н и к о л а е в н а (*подсказывает*). Шекспировских ямбов...

Д о к т о р. Вот-вот, без ямбов, у нас и без того много мороки...

Г у р е в и ч. Хорошо, я больше не буду... вы говорили о нашей медицине, чту ли я ее? Чту — слово слишком нудно, по правде, и... плоскоступно...

Но я — но я влюблен в нее — и это
 Без всякого фиглярства и гримас.—
 Во все ее подъемы и паденья,
 Во все ее потуги врачеванья
 И немощей телесных, и душевных,
 В ее первенство во Вселенной, в Разум
 Немеркнувший, а — стало быть — и в очи,
 И в хвост ее, и в гриву, и в уста,
 И в...

В протяжении этой тирады Б о р е н ь к а Мордovorот тихонько, сзади, подходит к декламатору, ожидая знака, когда брать за загривок и волоочь.

Д о к т о р. Ну-ну-ну-ну, довольно, пациент. В дурдоме не умничают... Вы можете точно ответить, когда вас привозили сюда последний раз?

Г у р е в и ч. Конечно. Но только — видите ли?— я несколько иначе измеряю время. Само собой, не Фаренгейтами, не тумбочками, не Реомюраами. Но все-таки чуть-чуть иначе... Мне важно, например, какое расстояние отделяло этот день от осеннего равноденствия или... там... летнего солнцеворота... или еще какой-нибудь гадости. Направление ветров, например. Мы вот — большинство — не знаем даже, если ветер норд-ост, то куда он, собственно, дует: с северо-востока или на северо-восток, нам на все наплевать... А микенский царь Агамемнон — так он клал под жертвенный нож свою любимую, младшую дочурку, Ифигению,— и только затем, чтоб ветер был зюйд-вест, а не какой-нибудь другой...

Д о к т о р (*заметив взволнованность больного, дает знак всем остальным*). Да... но вы отклонились от заданного вопроса, вас унесло норд-остом (*Все смеются, кроме Н а т а л и.*) — так когда же вас последний раз сюда доставляли?

Г у р е в и ч. Не помню... не помню точно... И даже ветров... Вот только помню: в тот день шейх Кувейта Абдаллах-ас-Салем-ас-Сабах утвердил новое правительство во главе с наследным принцем Сабах-ас-Салемом-ас-Сабахом... 84 дня от летнего солнцестояния... Да, да, чтоб уж совсем быть точным: в тот

день случилось событие, которое врезалось в память миллионов на целых пять лет: та самая, пустая винная посуда, которая до того стоила 12 или 17 копеек — смотря какая емкость, — так вот, в этот день она вся стала стоить 20.

Д о к т о р (*смирясь взглядом прыскающих дам*). Так вы считаете, что в истории Советской России за минувшие пять лет не произошло события более знаменательного?

Г у р е в и ч. Да нет, пожалуй... Не припомню... Не было.

Д о к т о р. Вот и память начинает вам изменять, и не только память. В прошлый раз вашим диагнозом было: граничащая с полиневритом острая алкогольная интоксикация... Теперь будет обстоять сложнее. С полгодика вам полежать придется...

Г у р е в и ч (*вскакивая, и все остальные вскакивают*). С полгодика?!

Б о р е н ь к а тренированными руками опускает **Г у р е в и ч а** в кресло.

Д о к т о р. А почему вы удивляетесь, больной? У вас прекрасный наличный синдром. Сказать вам по секрету, мы с недавнего времени приступили к госпитализации даже тех, у кого — на поверхностный взгляд — нет в наличии ни единого симптома психического расстройства. Но ведь мы не должны забывать о способностях этих больных к произвольной или хорошо обдуманной диссимуляции. Эти люди, как правило, до конца своей жизни не совершают ни одного антисоциального поступка, ни одного преступного деяния, ни даже малейшего намека на нервную неуравновешенность. Но вот именно этим-то они и опасны и должны подлежать лечению. Хотя бы по причине их внутренней несклонности к социальной адаптации...

Г у р е в и ч (*в восторге*). Ну, здорово!..

Нет, я все-таки влюблен
И в поступь медицины, и в **триумфы**
Ее широкой поступи — плевков
В глаза всем изумленным континентам.
В самодостаточность ее и в нагловатость
И в хвост ее, опять же, и в...

Доктор (*титулованный голос его переходит в вельможный*). Об этих... ямбах мы, кажется, уже давно договорились с вами, больной. Я достаточно опытный человек, я вам обещаю: все это с вас сойдет после первой же недели наших процедур. А заодно и все сарказмы. А недели через две вы будете говорить человеческим языком нормальные вещи. Вы — немножко поэт?

Гуревич. А у вас и от этого лечат?

Доктор. Ну, зачем же так?.. И под кого вы пишете? Кто ваш любимец?

Гуревич. Мартынов, конечно...

Зинаида Николаевна. Леонид Мартынов?

Гуревич. Да нет же, — Николай Мартынов... И Жорж Дантес.

Натали (*пользуясь всеобщим оживлением*). Так ты, Лева, теперь чешешь под Дантеса?

Гуревич. Нет-нет, прежде я писал в своей манере, но она выдохлась. Еще месяц тому назад я кропал по десятку стихотворений в сутки — и, как правило, шгук девять из них были незабываемыми, шгук пять-шесть эпохальными, а два-три — бессмертными... А теперь — нет. Теперь я решил импровизировать под Николая Некрасова. Хотите про соцсоревнование?..

Доктор. Ну, почему же нельзя? Соцсоревнование — ведь это...

Гуревич. Я очень коротко. Семь мужиков сходятся и спорят: сколько можно выжать яиц из каждой курицы-несушки. Люди из райцентра и петухи, разумеется, ни о чем не подозревают. Кругом зеленая масса на силос, свиноматки, вымела — и вот мужики заспорили:

Роман сказал: сто семьдесят,

Демьян сказал: сто восемьдесят,

Лука сказал: пятьсот.

Две тысячи сто семьдесят,—

Сказали братья Губины,

Иван и Митродор.

Старик Пахом потужился

И молвил, в землю глядячи:

Сто тридцать одна тысяча четыреста четырнадцать,

А Пров сказал: Мульён.

Может быть, продолжить?

Доктор (*отмахиваясь*). Нет-нет, не надо... Борис Анатольевич, Наталья Алексеевна, будьте добры, проводите больного до 4-й палаты. И немедленно в ванную. (*Гуревичу*). До... водобоязни, надеюсь, у вас дело еще не дошло?

Гуревич. Не замечал. Если не считать, что с ванной у меня — куча самых кровавых ассоциаций. Вот тот самый микенский царь Агамемнон, о котором я вам упоминал, — так вот, его, по возвращении из Пергама, в ванной зарубили тесаком. А великого трибуна революции Мара...

Зинаида Николаевна (*не слушая его, обращаясь к доктору*). А почему все-таки в 4-ю? Там одни вонючие охломоны... Там он зачахнет, и у него появятся суицидальные мысли. По-моему, лучше в 3-ю. Там Прохоров, Еремин, там его прищучат...

Доктор. «Суицидальные мысли», вы говорите... (*к Гуревичу*). Еще вам, последний вопрос. Когда-нибудь, пусть даже в самой глубокой тайне, не являлось ли у вас мысли истребить себя... или кого-нибудь из своих ближних?.. Потому что 4-я палата это не 3-я, и нам приходится подчас держать ухо остро...

Гуревич. Положа руку на сердце, я уже отправил одного человека туда — мне было тогда лет... не помню, сколько лет, очень мало, но это все случилось дня за три до новолуния... так мне был тогда больше всего неприятен мой плешивый дядюшка, поклонник Лазаря Кагановича, сальных анекдотов и куриного бульона. А мне мой белобрысый приятель Эдик притащил яду, он сказал, что яд безотказен и замедленного действия. Я влил все это дядюшке в куриний бульон — и что ж вы думаете? — ровно через 26 лет он издох в страшных мучениях...

Доктор. Мм-дда... Шут с ним, с вашим дядюшкой... А на себя самого — ни разу в жизни не было влечения наложить руки?..

Гуревич. Случалось, и только позавчера, во время Потопа...

Доктор. Всемирного?..

Гуревич. Ничуть не всемирного. Все началось с проливных дождей в Орехово-Зуеве... У нас в последнее время в России началась полоса странных, локальных катастроф: под Костромой, среди бела дня, взмывают к небесам грудные ребятишки, бульдозеры, и все такое. И никого не удивляют эти фигли-мигли. Примерно так же обстояло в Орехово-Зуеве:

дожди хлестали семь дней и семь ночей, без продыха и без милосердия, земля земная исчезла вместе с небесами небесными...

Д о к т о р. А какие черти занесли вас в Орехово-Зуево?! Татарина из московского хозмага..?

Г у р е в и ч.

О, грустно быть татариним — до гроба!
Пришлось подзарабатывать в глуши:
И конформистом, и нонконформистом,
И узурпатором. Антропофагом,
На должности японского шпиона
При институте Вечной Мерзлоты...

Короче, когда на город обрушилась стихия, при мне был челн и на нем двенадцать удалых гребцов-аборигенов. Кроме нас никого и ничего не было над поверхностью волн... И вот — не помню, на какой день плавания и за сколько ночей до солнцеворота — вода начала спадать, и показался из воды шпиль горкома комсомола... Мы причалили... Но потом — какое зрелище предстало нам: опустошение сердец, вопли изнутри сокрушенных зданий... Я решил покончить с собой, бросившись на горкомовский шпиль...

Д о к т о р, охватив голову, дает понять Б о р и с у и Н а т а л и, чтоб больного поскорее отвели в палату.

Г у р е в и ч. Еще мгновение, ребята!.. И когда уже мое горло было над горкомовским острием, а горкомовское острие — под моим горлом, — вот тут-то один мой приятель-гребец, чтоб позабавить меня и отвлечь от душевной черноты, загадал мне загадку: «Два поросенка пробегают за час восемь верст. Сколько поросят пробегут за час одну версту?» Вот тут я понял, что теряю рассудок. И вот — я у вас. (*Приподымается с кресла, ему подчеркнута учтиво помогает Мордоворот.*) И с того дня — мешанина в голове, ...нахт унд нэбель... все путается, телянки, поросенки, Мамаев курган, Малахов курган...

Н а т а л и. У тебя не кружится в голове, Лев? Иди тихонько, тихонько. (*Н а т а л и ведет его под левую руку, Б о р е н ь к а под правую.*) Все сейчас пройдет, тебя уложат в постель.

Г у р е в и ч (*покорно идет*). Но все отчего-то мешается, путается, поросенки, курганы... Генри Форд и Эрнст Резерфорд... Рембрандт и Вилли Брандт.

Доктор (вслед им). В 3-ю палату. Глюкоза, парацетам.

Гуревич (удаляется с сопровождающими, и голос его все приглушеннее). Эптон Синклер и Синклер Льюис, Синклер Льюис и Льюис Кэррол... Вера Марецкая и Майя Плисецкая... Жак Оффенбах и Людвиг Фейербах... (уже едва слышно)... Виктор Боков и Владимир Набоков... Энрико Карузо и Робинзон Крузо...

ЗАНАВЕС

ВТОРОЙ АКТ

Ему предшествуют до поднятия занавеса — пять минут тяжелой и нехорошей музыки. С поднятием занавеса зритель видит 3-ю палату, с зарешеченными окнами, и арочный вход в смежную, 2-ю палату. Чтобы избежать междупалатной диффузии, обмен информацией и пр.— арочный переход занят раскладушкой, на ней лежит В и т я, с непомерным животом, который он, чему-то облизываясь, не перестает поглаживать, с улыбкой ужасающей и застенчивой. Строго диагонально, изогнув шею снизу-слева вверх-направо, по палате мечется просветленный С т а с и к. Иногда декламирует что-то, иногда застывает в неожиданной позе — с рукой, например, отдающей пионерский салют, — и тогда декламации прекращаются. Но никто не знает, на сколько.

С е р е ж а К л е й н м и х е л ь, еще вполне юный, сидит на койке почти недвижимо, иногда сползая вниз, постоянно держится за сердце. В волосах и в лифайнике, со странным искривлением губ. На соседней койке К о л я и кроткий старичок В о в а держат друг друга за руки и покуда молчат. К о л я то и дело пускает слюну, В о в а ему ее утирает. Пока еще лежит, с головой накрытый простыней, в ожидании **трибунала**, комсорг палаты П а ш к а Е р е м и н. На койке справа — Х о х у л я, не подымающий век, сексуальный мистик и сатанист. Но самое главное, конечно,— в центре: неутомимый староста 3-й палаты, самодержавный и прыщавый П р о х о р о в и его оруженосец А л е х а, по прозвищу Диссидент,— вершат (вернее, уже завершают) судебный процесс по делу контр-адмирала М и х а л ы ч а.

П р о х о р о в. Если б ты, Михальч, был просто змея — тогда еще ничего, ну, змея как змея. Но ты же черная мамба, есть такая южноафриканская змея — черная мамба! — от ее укуса человек издыхает за 30 секунд **до ее укуса!** На середку, падла!..

Толстый оруженосец А л е х а полотенцем скручивает руки за спиной контр-адмиралу. Поверженный на колени, тот уже не рассчитывает ни на какие пощады.

П р о х о р о в. Как тебе повезло, засранец, дослужиться до такого неслыханного звания: контр-адмирал КГБ? Может, ты все-таки боцман КГБ, а не контр-адмирал?

А л е х а. Мичман он, мичман, я по хारे вижу, что мичман!..

П р о х о р о в. Так вот, мичман, мы тут с Алехой подсчитали все твои деяния. Было бы достаточно и одного... Первого сентября минувшего года ты сидел за баранкой южнокорейского лайнера?.. Результат налицо — Херсонес и Ковентри в руинах... Удивляет только изощренность этой акции: от всех его напалов пострадали только старики, женщины и дети! А все остальные... — а все остальные — как будто этот хуй над ними и не пролетал! Так вот, боцман: к тебе вопиют седины всех этих старцев, слезы всех сирот, потроха всех вдов — к тебе вопиют! Алеха!

А л е х а. Да, я тут.

П р о х о р о в. Так скажи мне и всему русскому народу: когда этот душегуб был схвачен с поличным за продажею на Преображенском рынке наших Курил?

А л е х а. Позавчера.

М и х а л ы ч (*мычит*). Неправда это все, позавчера я был здесь, никуда из палаты не выходил, все свидетели, и медсестричка Люся кормила меня пшенной кашей с подливкой...

П р о х о р о в. Это ничего не значит. Сумел же ты, говнюк, за день до этого, не выходя из палаты, осуществлять электронный шпионаж за бассейном Ледовитого Океана. Материалы предварительного следствия лгать не умеют. Сам посуди, сучонок, вообрази, что ты не адмирал, а страница сто семь материалов предварительного следствия,— мог бы ты солгать?

М и х а л ы ч. Ни... никогда.

П р о х о р о в. Итак, мы в клубе знатоков: что? где? почему? Так почему нынче Курильские острова? Итуруп — за бутылку андроповки и в рассрочку? Кунашир — почти совсем за просто так... А может быть, эти дельцы от политики — за все это просто подкидывали тебе пиздянки?..

М и х а л ы ч напрасно пытается что-то в свое оправдание мычать.

Прохоров. Мало того, этот боцман имел намерение запродать ЦРУ карту питейных торговых точек Советского Союза. И попутно — нашу синеглазую сестру Белоруссию — расчленить и отдать на откуп диктатору Камеруна Мише Соколову...

Стасик (*фланируя мимо, как обычно*). Да. За такие вещи по таким головкам не гладют. Я предлагаю снять с него штаны и пальнуть из мортиры...

Прохоров. Стоп. Я еще не все сказал. У этого пса-мичмана было еще вот какое намерение, поскольку продавать ему было уже нечего — он сумел за одну неделю пропить и ум, и честь, и совесть нашей эпохи, — он имел намерение сторговать за океан две единственные оставшиеся нам национальные жемчужины: наш балет и наш метрополитен. Все уже было приготовлено к сделке, но только вот этот наш двурушник немножко ошибся в своих клиентах с Манхэттена. Когда с одним из них он спустился в метрополитен, чтоб накинуть нужную цену, — этот бестолковый коммерсант-янки решил, что перед ним — балет. А когда тот привел его в балет... (*Всеобщий гул осуждения.*) Гриша! Комсорг! (*Комсорг Пашка Еремин откликается только тогда, когда его называют Гришей.*) Сбрось с себя простыню, не бойсь, сегодня судят не тебя. Скажи свое слово, товарищ!..

Пашка Еремин. Да очень просто: почему этого удава наша Держава должна еще бесплатно лечить? **Его надо убивать вниз головой!..**

Коля. Да, так поступали восточные деспоты со всеми агарянами: они запрокидывали им головы и заливали глотку расплавленным свинцом... или холодным вермутом.

Стасик. Нет, лучше все-таки стрельнуть в него из арбалета...

Коля. Из аркебузы... с расстояния в два с половиной поприща...

Стасик. Да откуда мы здесь достанем аркебузу?.. А мортиру можно из чего-нибудь сплести. У медсестрички мыла можно выпросить хозяйственного и немножко аксельбантов...

Алеха. Ха-ха, ты еще позументов у нее попроси... Помо-ему, отдать этого изверга на съедение Витеньке!..

Возгласы одобрения. Все оборачиваются в сторону Вити. Однако Витя, не переставая улыбаться и поглаживать пузо, делает отвращающее движение розовой своей головою.

Прохоров. Молись, Михальч! В последний раз молись, адмирал!

Михальч (*уронив голову до пределов, начинает быстро-быстро что-то бормотать, приблизительно такое*). За Москву-мать не страшно умирать, Москва — всем столицам голова, в Кремле побывать — ума набрать, от ленинской науки крепнут разум и руки, СССР — всему миру пример, Москва — Родины украшение, врагам устрашение...

Прохоров. Так-так-так-так...

Михальч (*трясаясь, продолжает, и все так же некстати*). Кто в Москве не бывал — красоты не видал, за коммунистами пойдешь — дорогу в жизни найдешь, Советскому патриоту любой подвиг в охоту, идейная закалка бойцов рождает в бою молодых...

Прохоров. Довольно, мичман!.. блестящий молитвослов... По-моему, никаких арбалетов не нужно, а просто растворить его в каком-нибудь химическом реактиве, чтоб он к вечеру состоял из одной протоплазмы... Только — для чего в нашем отделении лишняя протоплазма, от нее уже и так дышать нельзя. Лучше — под трибунал!.. Коля, утрите свои слюни. Как вы считаете, Коля,— много в нашем отделении протоплазмы?

Коля. Очень много... я уже не могу...

Прохоров. Ясно. Трибунал. Конечно, сейчас он жалок, этот антипартийный руководитель, этот антигосударственный деятель, **антинародный артист**, ветеран трех контрреволюций, он беспомощен и сир, понятное дело, на скромные ассигнования ФБР долго не протянешь... Но все его бормотания и молитвы — это привычное кривляние наших извечных недругов. Это **извечное** кривляние наших привычных недругов. Это недружественная извечность наших кривляк. (*Прохоров вдохновенно проахживается.*) Такие вот антикремлевские мечтатели рассчитывают на наше с вами снисхождение. Но мы живем в такие суровые времена, когда слова типа «снисхождение» разумнее употреблять пореже. Это только в военное время можно шутить со смертью, а в мирное время со смертью не шутят. Трибунал. Именем народа, боцман Михальч, ядреный маньяк в буденовке и сторожевой пес Пентагона, приговаривается к пожизненному повешению. И к условному заточению во все крепости России — разом! (*Почти всеобщие аплодисменты.*) А

пока — за неимением инвентаря — потуже прикрутите его к кровати. Пусть обдумает свое последнее слово.

А л е х а и П а ш к а опрокидывают адмирала в постель и — простынями и полотенцами — прикручивают так, чтоб тот не мог шевельнуться ни одним своим суставом и членом.

Л ю с и (*врывается в палату, привлеченная кряхтением палачей и оглушительным рычанием жертвы*). Что здесь происходит мальчишки?.. Оставьте его в покое... Что ни день у вас — то суд и расправа. Где тут лишняя койка? (*Открывает шкаф и вынимает комплект чистого белья, бойко швыряет на порожний матрас.*) Скоро — обход. Ти-ши-на!..

А л е х а (*тихо берет за плечи крохотную Л ю с и и, выпятив одновременно пузо и глаза-фурункулы, выделывает вокруг нее томные, танцевальные движения, а потом поет свою коронную, предварительно ударив себя в пузо и тряхнув голову*).

Мне долго-долго будет сниться
Моя веселая больница,
А еще больше будет сниться
Твоя шальная поясница.

Пр о х о р о в. Алеха! Припев!

А л е х а.

Алеха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Ал-лех-ха жарит на гитаре,
Обязательно на рыженькой женюсь!
Пум! пум! пум! пум! (*по животу*)
Обязательно,
Обязательно
Я на рыженькой женюсь!
Пум! пум! пум! пум!
Отстегнула все застёжки,
Распахнула все одежды,
И едва дыханье жизни
Из ноздрей не улетело.
В тюрьме мичман обоссался,
Боцман палубу грызет!
Хо-хо-хо-хо!

Пр о х о р о в. Припев, Алеха!

А л е х а.

Аль-лехха жарит на гитаре,
Но у него не выйдет ничего!
Пум! пум! пум! пум!
Да и пусть он жарит на гитаре —
Ведь все равно не выйдет ничего!
А я... (*ослабляясь*) А я...—
Обязательно,
Обязательно...

Привычно фыркая, Л ю с и ускользает к дверям. И наталкивается на входящего в палату Г у р е в и ч а, в желтой робе, как у всех, и в мокрых волосах. На лице не заметно следов побоя — но общая побитость очень даже заметна, да и всем понятна: Б о р е н ь к а , саншпропускник...

Л ю с и. Ой, новенький... Ваша койка первая слева... стелите свою постельку, я могу вам помочь, если что не так...

Г у р е в и ч (*яростно*). Сам! **Сам!** Провались, девка!..

Л ю с и исчезает. Пение на время прерывается. Г у р е в и ч комкает все белье и швыряет его в угол кровати, потом смотрит направо: розовый В и т я с аппетитом на него смотрит, поглаживает живот все любовнее и облизываясь, иногда отворачиваясь в подушку, чтоб подавить в себе смешок, ему одному ведомый. Г у р е в и ч с полминуты его разглядывает, ему становится не совсем вмоготу, — он смотрит на соседа слева: оплетенный со всех сторон, контр-адмирал все чаще что-то шепчет, с лицом скудеющим и окаянным. Над ним наклонен Ст а с и к .

Ст а с и к. Сейчас по всему миру все могильщики социализма — все исповедуются и причащаются... А ты почему, дедушка, не хочешь?..

Пр о х о р о в (*подступая. Следом за ним — А л е х а-Диссидент, как Елисей за Илию. К С т а с и к у*). Цыц, моя радость! Дай потолковать с человеком...

Ст а с и к. Нет-нет, ему нужна минута самоуглубления... Вы плохо знакомы с Востоком... Ты погружаешься в воды, ну... или тебя погружают, но ты ощущаешь: канули в вечность те времена, когда тебя не существовало, — тебя омывают, следовательно ты есть... Когда купается наложница китайского императора в Бассейне Сплетающихся Орхидей — он так и называется: бассейн сплетающихся орхидей, — так в него добавляют 12 эссенций и 17 ароматов...

К о л я (*подступая сзади*). ...Но кто после этого облачается в желтое одеяло, не зная истины и самоограничения,— тот не достоин желтого одеяла. Ты можешь мне разъяснить эту дхарму?!

П р о х о р о в. Шел бы ты под хуй со своими дхармами!.. Человеку только что в ванной навешали пиздюлей! причем тут дхармы? Продолжай, Стас...

С т а с и к. И вот. Я перехожу из ванной с орхидеями, минуя залы дхарм (*взгляд в сторону паршивца К о л и*) — перехожу из бассейна в зал Благовоний, а из зала Благовоний — в зал Песнопений. Те, кто по пути мне встречаются, говорят мне: «Благословенный, не ходи в манговую рощу». А я иду, мне говорят три девушки, одна такая лунная-лунная, а другая — пасторальная вся, в венце из одуванчиков, конечно, а уж на третью я и не смотрю. Я разрываю все узы, постигаю все дхармы и не стремлюсь ни к одной из услад, я перешагиваю через третью, патетическую, даму — и ухожу из зала Песнопений — в манговую рощу. 80 тысяч гималайских слонов следуют за мною, они мне говорят о тщетности печали...

П р о х о р о в. Ты знаешь чего, Стас, ты хоть на несколько минут — уябывай в свои манговые рощи, дай поговорить с евреем... Ты по какому делу и как звать?

Г у р е в и ч. Гуревич.

П р о х о р о в. Я так и думал, что Гуревич... А — случайно — не по этому..? (*Делает известный по горлу щелчок.*)

Г у р е в и ч. Ну... в том числе...

П р о х о р о в. Я так и думал. Евреи иногда очень даже любят вышить... в особенности за спиной арабских народов. Но не в этом дело. Как только появляется еврей — спокойствия как не бывало, и начинается гибельный сюжет. Мне рассказывал мой покойный дед: у них в лесу водилось оленей видимо-невидимо. Как их там? косулей — невпроворот. И пруд был весь в лебедях белых, а на берегу пруда цвел родо-ден-дрон. И вот в деревню эту приехал лекарь, по имени Густав... Ну уж не знаю, насколько он был Густав, но жид — это точно. И что же из этого вышло?— не я рассказываю, рассказывает дед. До появления этого Густава — зайцев было столько в округе, что буквально спотыкаешься об них, по ним скользишь и падаешь... Так исчезли для начала все зайцы, потом косули — нет, он в них не стрелял, они пропали сами собой. (*А л е х е*): Позови старичка Вову.

В о в а подходит. Взглянув сначала на В и т ю, потом на когпр-адмирала, подрагивая, ждет подвоха...

П р о х о р о в. Вова, ты из деревни. Ты можешь представить себе, что ты на берегу пруда... произрастаешь... тебя зовут Рододендрон. А на той стороне пруда — жид, сидит и на тебя смотрит...?

В о в а. Нет, не могу... что вот произрастаю и...

П р о х о р о в. Ну, к чертям собачьим рододендрон. Вот, вообрази себе, Вова: ты — белая лебедь и сидишь на берегу пруда — а напротив тебя сидит жид и очень внимательно на тебя...

В о в а. Нет, белой лебедью я тоже не могу, это мне трудно. Я могу... могу представить, что я стая белых лебедей...

П р о х о р о в. Прекрасно, Вова, ты стая белых лебедей, на берегу пруда,— а напротив...

В о в а. Ну, я, конечно, разлетаюсь... кто куда... страшно...

П р о х о р о в. Алеха, уведи Вовочку... Вот зидишь, Гуревич?

Г у р е в и ч *(с трудом улыбается)*. Ну, ладно. *(С тревогой взглядывает в сторону В и т ю, потом наблюдает, как сосед адмирал делает вздорные попытки вырваться из пут.)* А этого за что?

П р о х о р о в. Делириум тременс. Изменил Родине и помыслом и намерением. Короче, не пьет и не курит. Все бы ничего, но мы тут как-то стояли в туалете, зашла речь о спирте, о его жуткой калорийности,— так этот вот говноед ляпнул примерно такое: из всех поглощаемых нами продуктов спирт, при всей его высокой калорийности,— весьма примитивного химического строения и очень беден структурной информацией. Он еще и тогда поплатился за свои хамские эрудиции: я открыл форточку, втиснул его туда и свесил за ногу вниз — а этаж все-таки четвертый — и так держал, пока он не отрекся от своих еретических доктрин... Сегодня он, решением Бога и Народа, приговорен к вышке... Я не очень верю, что вначале было Слово, но хоть какое-то задрипанное — оно должно быть в конце, так что пусть этот пиздобол лежит и размышляет...

Г у р е в и ч. А скажи мне, Прохоров, тебя облекли полномочиями... э-э-э... в одной только этой палате или..?

П р о х о р о в. Да, конечно, нет! Все, что по ту сторону Вити *(оба взглядывают туда, Г у р е в и ч отворачивается)*,— это все

мои подмандатные территории, но тебе повезло: завтрашний процесс будет внутрипалатным, да еще уголовным, к тому же. **Гриша!!!** Сними с себя простыню! Это Пашка Еремин, комсорг, так вроде ничего, подонок как подонок, но дело серьезное — членовредительство в семействе Клейнмихель!

С е р е ж а К л е й н м и х е л ь (*заслыша свою фамилию, встает и подползает в сторону Прохорова*). Запишите: у мамы только одна нога осталась на месте... все другие были откручены, и руки тоже, все вместе лежали на буфете... А крестная в это время ушла за бубликами...

Г у р е в и ч. Мдаа... в самом деле... Крестная ушла за бубликами — какой смысл кричать?

С т а с и к (*как всегда проходя мимо*). У всех у нас крестные за бубликами поразошлись: кричи-кричи — ни до кого не докричишься...

С е р е ж а. Да нет же... При чем тут бублики?.. Ну как вы не понимаете? Ведь он сначала оторвал ей голову, а уж потом...

П р о х о р о в. До завтра, до завтра все это. До завтра, Сережа, уползи. Так вот, слушай меня, Гуревич; как видишь, у нас случаются мелкие бытовые несообразности. А так — у нас жить можно. Недели две-три тебя поколют, потом таблетки, потом пинка под жопу — и катись. У нас даже цветной телевизор есть. Кенор с канарейкой. Они только сегодня помалкивают — поскольку завтра Первомай. А так — поют. Витя решил их даже не трогать и на вкус не пробовать, — а это ли не высшая аттестация для вокалиста, а Гуревич? А вон там, повыше, с самого веру — попугай, родом, говорят, из Хиндустана. ... А может быть, и в самом деле из Хиндустана, наверняка оттуда, потому что молчит целые сутки. Молчит, молчит. Но как только пробьет шесть тридцать утра, — вот ты увидишь, — он начинает, не гнусава, не металлчно, а как-то еще в тыщу раз попугаевее: «Влади-мир Сергеич! ...Влади-мир Сергеич! на работу — на работу — на работу — на хуй — на хуй — на хуй — на хуй». А потом — потом чуток помолчит, для куражу, и снова: «Влади-мир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, (*все учащеее*) на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй...» И все это ровно в 6.30, можно даже не справляться по курантам и рубиновым звездам... А вот от шашек и домино ничего не осталось — все слопал Витя, одну за другой. Чудом уцелела шесть-шесть, Хохуля спрятал ее под подушку и

сам с собой играл в шесть-шесть, и всегда выигрывал. А дня через три — небывалое: из-под подушки исчезла шесть-шесть. Хохуля не знает, куда деваться от рыданий, Витя улыбается. Все кончается тем, что Хохуля впадает еще в какую-то прострацию, глохнет и становится сексуальным мистиком... А Витя тем временем берется за шахматы...

Гуревич рассматривает: на тумбочке в центре палаты лежит пустая шахматная доска, и на ней — белый ферзь.

С т а с и к (*подскакивая*). И ведь все умял! почему только жалеет до сих пор белую королеву? Он ведь у нас такой бедовый: и тайм-аут съел, и ферзевый гамбит, и сицилианскую защиту...

П р о х о р о в. Вот что, Витя (*присаживается к Вите на постель*), Витя. Ты скушал все настольные игры. Скажи мне, ты их скушал просто из нравственных соображений, да? Они показались тебе слишком азартными? Здесь со мной доктор из **центра** (*показывает на Гуревича*). О! Это **такой** доктор! (*палец вверх*). Он любопытствует: отчего ты так много кушаешь! Тебе не хватает фуражу-провиангу?..

В и т я (*не выдерживает взгляда старосты, перестает гладить пузо, стыдливо прикрывается рукавом*). Вкусно...

П р о х о р о в. А белого ферзя почему пожалел? а?

В и т я. Жалко... Он такой одинокий...

П р о х о р о в. Понимаю... А скажи мне, Витенька, — тебе и во сне одна только жратва снится?..

В и т я. Нет, нет... Царевна...

П р о х о р о в. Царевна? ...Мертвая?

В и т я. Да нет, живая царевна... И вся из себя такая и с голубым бантиком. Как золушка... а вокруг нее все принц ходит... и все бьет ее по голове хрустальным башмачком...

П р о х о р о в. А ты бы съел ...этот хрустальный башмачок? (*показывает*). Ав-Ав!

С т а с и к. Его не Витя надо называть. Его надо называть Нина. Чав-чав-адзе...

В и т я. А башмачок съел бы... чтоб он только ее не бил.

Г у р е в и ч. Ну, а если уж царевна мертвая, ну, то есть, он ее добил? До смерти. Ты съел бы мертвую царевну?

В и т я (*улыбается*). Да...

Г у р е в и ч. А если бы семь богатырей при ней — то как же?

В и т я. И семь богатырей бы тоже...

Г у р е в и ч. Ну, а тридцать три богатыря..?

В и т я. Да... если б медсестрички не торопили... конечно...

Г у р е в и ч. А... послушай-ка... А двадцать восемь героев-панфиловцев?

В и т я *(с той же беззаботной и страшной улыбкой)*. Да... *(мечтает)*.

Г у р е в и ч *(упорно)*. А... Двадцать шесть бакинских комиссаров — неужели тоже?..

П р о х о р о в *(врывается в беседу)*. Ну, все: завтра мы тебе и комсорга Пашку. Какая тебе разница? От адмирала ты отказался — я тебя понимаю. Адмиралы — они хрустят на зубах, а вот настоящие комсорги — никогда не хрустят... Сережа! Клейнмихель! Подойди сюда... скажи... Замечал ли ты на лице преступника следы хоть малого раскаяния?

С е р е ж а. Нет, не замечал... И мама моя покойная в тот день мне моргнула: понаблюдай, мол, за Пашкой — будет ли ему хоть немножко стыдно, что он со мной так поозоровал, — нет, ему не было стыдно, он весь вечер после того **водку пьянствовал и дисциплину хулиганил**...И запрещал мне **форточку проветривать**, чтоб в доме мамой не пахло...

С т а с и к *(проходя мимо, как всегда)*. Приятно все-таки жить в эпоху всеобщего распада. Только одно нехорошо. Не надо было лишать человека лимфатических желез. То, что его лишили бубликов и соленых огурцов, — это еще ладно. И то, что лишили дынь, — чегуха, можно прожить и без дынь. И плебсцидов нам не надо. Но оставьте нам хотя бы наши лимфатические железы...

Покуда витийствовал С т а с и к, растворились обе двери 3-й палаты, и на пороге — Медбрат Б о р е н ь к а и медсестра Т а м а р о ч к а. Оба они не смотрят на больных, а **харкают** в них глазами. Оба понимают, что одним своим появлением вызывают во всех палатах мгновенное оцепенение и скорбь — которой много и без того.

П р о х о р о в. Встать! Всем встать! Обход!

Все медленно встают, кроме Х о х у л и, старичка В о в ы и Г у р е в и ч а.

Б о р я - М о р д о в о р о т *(у него из-под халата — ухоженный шоколадный костюм и, поверх тугой сорочки, галстук на толстой шее. В этом обличи его редко кто видел: просто он сегодня дежурный постовой Медбрат в Первомайскую ночь. Шутейно*

подступает к Стасику, который застыл в позе «с рукой под козырек»). Так тебе, блядина, значит, не хватает каких-то там желез?..

Т а м а р а. Не бздюмо, парень, сейчас у тебя все железы будут на месте.

Б о р я, играя, молниеносно бьет Стасика в поддых, тот в корчах опускается на пол.

Т а м а р а (указывая пальцем на Вову). А этот засратый сморчок — почему не встает, **вопреки приказу?**

Б о р я. А это мы спросим у него самого... Вовочка, есть какие жалобы?

В о в а. Нет... на здоровье жалоб никаких... Только я домой очень хочу... Там сейчас медуницы цветут... конец апреля... Там у меня, как сойдешь с порога, целая поляна медуниц, от края до края, и пчелки уже над ними...

Б о р я (поправляя галстук). Ннну... я житель городской, в гробу видал все твои медуницы. А какого они цвета, Вовочка?

В о в а. Ну, как сказать?.. синенькие они, лазоревые... ну, как в конце апреля небо после заката...

Б о р я под смех Тамарочки — погтями впивается в кончик Вовиноного носа и делает несколько вращательных движений. Вовин нос становится под цвет апрельской медуницы. В о в а плачет.

Б о р я (продолжает обход). Как дышим, Хохуля? Минут через пять к тебе придет Игорь Львович, с веселым инструментом, придется немножко покорячиться... А тебе, Коленка?

К о л я. У меня жалоба. Я в этой палате уже который год. Потому мне сказали, что я эстонец и что у меня голова болит... Но ведь я давно уже не эстонец, и голова давно перестала болеть, а меня все держат и держат...

Т а м а р о ч к а (тем временем, привлеченная зрелищем справа: С е р е ж а К л е й н м и х е л ь, отвернувшись к окошку, тихонько молится). А! Ты опять за свое, припизднутый! (Раздувая сизые щеки, направляется к нему.) Сколько раз тебя можно учить! Сначала — к правому плечу, а уж потом — к левому. Вот, смотри! (Хватает его за шиворот и, сплюнув ему в лицо, вначале ударяет его кулаком по лбу, потом — с размаху — в правое плечо, потом в левое, потом под ребра.) Повторить еще раз? (Повторя-

ет то же самое еще раз, только с большей мощью и веселым удальством.) Говно на лопате! еще раз увижу, что крестишься,— угоплю в помойном ведре!..

Б о р я. Да брось ты, Томочка, руки марать. Поди-ка лучше сюда. *(Отшвырнув К о л ю, движется в сторону адмирала, В и т и и Г у р е в и ч а. За ним — свита: староста П р о х о р о в, А л е х а-Диссидент и Т а м а р о ч к а.)*

П р о х о р о в. Товарищ конгр-адмирал, как видите, не может стать перед вами во фронт. Наказан за буйство и растленную агентурность. Вернее, за агентурную растленность и буйство.

Б о р я. Понятно, понятно... *(Краем глаза скользнув по Г у р е в и ч у, вдумчиво фызыущему ногтями, — проходит к В и т е. В и т я, с розовой улыбкой, покоится в раскладушке, разбросанный как гран-пасьянс.)*

Т а м а р о ч к а. Здравствуй, Витенька, здравствуй, золотце... *(Широкой ладонью, смаху, шлепает В и т ю по животу. У В и т и исчезает улыбка.)* Как обстоит дело с нашим пищеварением, Витюнчик?

В и т я. Больно...

Б о р я *(хохочет вместе с Т а м а р о ч к о й).* А остальным нашим уважаемым пациентам — разве не больно? Вот они почему-то хором запросились домой — а почему, Витюша? Очень просто: ты доставил им боль, ты лишил их интеллектуальных развлечений. Взгляни, какие у них у всех страдальческие хари. Так что вот: давай договоримся, сегодня же...

Т а м а р о ч к а. ...сегодня же, когда пойдешь насчет поспать,— чтобы все настольные игры были на месте. Иначе — придется начинать вскрыгие. А ты сам знаешь, голубок, что живых людей мы не вскрываем, а только трупы...

П р о х о р о в между тем, с тревогой следит за **А л е х о й - Д и с с и д е н т о м**. Но об этом чуть пониже.

Б о р я *(расставив ноги в шоколадных штанах и скрестив руки, застывает над сидящим Г у р е в и ч е м).* Встать.

Т а м а р о ч к а. А почему у этого жиденка до сих пор постель не убрата?..

Б о р я *(все так же неграфико).* Встать. *(Г у р е в и ч остается погруженным в себя самого. Всеобщая тишина.)*

Б о р я *(одним пальчиком приподымая подбородок Г у р е в и ч а).* **Встать!!!**

Гуревич тихонько подымается и — врасплох для всех — с коротким выкриком — вонзает кулак в челюсть Бореньки. Несколько секунд тишины, если не принимать в расчет Тамарочкина взвизга. Боренька, не изменившись ни в чем, хладнокровно, хватая Гуревича, подымает его в воздух и со всею силою обрушивает об пол. С таким расчетом, чтобы тот боком угодил о край железной кровати.

Потом — два-три пинка в район печенки, просто из пижонства.

Боря (к Тамарочке). Больному приготовить сульфур, укол буду делать сам.

Прохоров. Что же поделаешь, Борис... Новичок... Бред правдоискательства, чувство ложно понятой чести и прочие атавизмы...

Боря. А тебе бы лучше помолчать. Жопа.

Люди в белых халатах удаляются.

Прохоров. Алеха!

Алеха. Да, я тут.

Прохоров. Первую помощь всем пострадавшим от налета!.. Стасик, подымайся, ничего страшного, они улиздюхали. Ничего экстраординарного. Все лучшее — еще впереди. Сначала — к Гуревичу...

Прохоров и Алеха, со слабой помощью Коли, втаскивают на кровать почти не дышащего Гуревича, накрывают его одеялами, обсаживают.

Прохоров. Всем хороши эти люди, евреи. Но только вот беда — **жить** они совсем не умеют. Ведь они его теперь вконец ухайдакают... это точно. (*Шепотом*). Гу-ре-вич...

Гуревич (*немножко стонет, и говорить трудно*). Ничего... не ухайдакают... Я тоже... готовлю им... подарок...

Прохоров (*в восторге от того, что Гуревич жив и мобилен*). Первомайский подарок, это славно. Только ведь сначала **они** тебе его сделают, минут через пять... Рассмешить тебя, Гуревич, в ожидании маленькой пыпки? За тебя расплатится мой верный наперсник, Алеха. Ты знаешь, как он стал диссидентом? Сейчас расскажу. Ты ведь знаешь: в каждом российском селении есть придурок... Какое же это русское селение, если в нем ни одного придурка? На это селение смотрят, как на какую-нибудь Британию, в которой до сих пор нет ни одной Конституции... Так вот: Алеха в

Павлово-Посаде ходил в таких задвинутых. На вокзальной площади что-нибудь подметет, поможет погрузить... но была в нем пламенная страсть, и до сих пор осталась... Алеха ведь у нас исполин по части физиогномизма, — ему стоит только взглянуть на мордасы — и он уже точно знал, где и в каком качестве служит вот этот ублюдок. Безошибочным раздражителем вот что для него было: отутюженность и **галстух**. И что он делал? — он ничего не делал, он незаметно приближался к своей жертве, сжимая ноздрю — издали — и — вот то, что надо, уже висит на галстуке. Весь город звал его диссидентом, их ошеломила безнаказанность и новизна борьбы против существующего порядка вещей и субординаций... Два месяца назад его приволокли сюда.

Г у р е в и ч. Чудесно... Сколько я приглядывался к нации... чего она хочет... именно такие сейчас ей нужны... без всех остальных... она обойдется...

П р о х о р о в. А четкость! четкость, Гуревич! Великий Леонардо, ходяг слухи, был не дурак по части баллистики. Но что он против Алехи! Ал-ле-ха!

А л е х а. Я все время тут.

П р о х о р о в. Ну вот и отлично. А ты не находишь, Алеха, что твоя метода борьбы с мировым злом... ну, несколько неаппетитна, что ли... Мы все понимаем, дело в белых перчатках не делают... Но с чего ты решил, что коль уж перчатки не кровавые, так они непременно должны быть в говне, соплях или блевотине? Ты пореже читай левых... итальяшек всяких...

А л е х а. Упаси Господь, я читаю только маршала Василевского... и то говорят, что маршал ошибался, что надо было идти не с востока на запад, а с запада на восток...

П р о х о р о в (*пробуя еще хоть чуть-чуть развеселить Гуревича перед пыткой*). Современное диссидентство, в лице Алехи, упускает из виду то, что во-первых надо выдирать с корнем — а уж потом выдерется с тем же поганым корнем и все остальное, — надо менять наши улицы и площади: ну, посудите сами, у них Мост Любовных Вздохов, переулок Святой Женевьевы, Бульвар Неясного Томления и все такое... а у нас — ну, перечислите улицы своей округи, — душа зачухнет. Для начала надо так: Столичная — посередке, конечно, параллельно — Юбилейная, в бюстиках и тополях. Все пересекает и все затмевает Московская Особая. В испуге от ее красот от нее во все стороны разбегаются: Перцовая, Имбирная, Стрелецкая, Донская Степная, Старо-

русская, Полярная. Их, конечно, соединяют переулки: Десертные, Сухие, Полусухие, Сладкие, Полусладкие. И какие через все это переброшены мосты: Белый Крепкий, Розовый Крепленый — какая разница? — а у их подножия — отели: «Бенедиктин», «Шартрез» — высятся вдоль набережной — а под ними гуляют кавалеры и дамы, кавалеры будут смотреть на дам и на облака, а дамы — на облака и на кавалеров. А все вместе будут пускать пыль в глаза народам Европы. А в это время народы Европы, отряхнут пыль...

Снова распахиваются двери палаты. Старший врач больницы Игорь Львович Ранинсон. За ним — Медбрат Боря, со шприцем в руке. Шприц никого не удивляет — все рассматривают диковинный чемодан в руках Ранинсона.

Боря. Вон туда (показывает Ранинсону в сторону Хохули. Ранинсон — нефронцаем. Хохуля — тоже. Ранинсон, раскладывая свой ящик с электрошнурами, брезгливо осматривает пациента. Пациент Хохуля вообще не смотрит на доктора, у него своих мыслей довольно.)

Боря (приближаясь к постели Гуревича). Ну-с... Прохоров, переверните больного, оголите ему ягодницу.

Гуревич. Я... сссам (со стоном переворачивается на живот, Аляха и Прохоров ему помогают).

Боря (без всякого злорадства, но и не без демонстрации всесилья, стоит с вертикально поднятым шприцом, чуть-чуть им попрыскивая. Потом наклоняется и всаживает укол). Накройте его.

Прохоров. Ему бы надо второе одеяло, температура подскочит за ночь выше сорока, я ведь знаю...

Боря. Никаких одеял. Не положено. А если будет слишком жарко — пусть гуляет, дышит... Если сумеет шевельнуть хоть одной левой... Гуревич! Если ты вечером не загнешься от сульфазина, — прошу жаловать ко мне на ужин. Вернее, на маевку. Слабость твоя, Наталья Алексеевна, сама будет стол сервировать... Ну, как?

Гуревич (с большим трудом). Я... буду...

Боря (хохочет, но совсем упускает из виду, что с одним пальцем на ноздре к нему приближается диссидент Аляха). А мы сегодня — гостеприимны.. Я — в особенности. Угостим тебя по-свойски, инкрустируем тебя самоцветами...

Г у р е в и ч. Я же... я же... сказал, что буду... Приду...

А л е х а действительно, со знанием дела, выстреливает правой ноздрей. Палата оглушается криком, никем в палате пока еще не слышанным: дело в том, что доктор Р а н и н с о н сделал свое высоковольтное дело с бедолагой Х о х у л е й.

Б о р я (*хватая за горло диссидента А л е х у*). А с тобой — с тобой потом... Знаешь, что, Алешенька,— Игорь Львович здесь... Как только он уйдет — мы с тобой отсморкаемся, хорошо? (*Носовым платком оттирая галстук.*)

Р а н и н с о н (*проходя через палату с диавальским своим сундучком, озирает больных: на всех физиономиях, кроме прохоровской и алексиной, лежит печать вечности — но вовсе не той Вечности, которой мы все ожидаем*). С наступающим праздником международной солидарности трудящихся всех вас, товарищи больные. Пойдемте со мной, Борис Анатольевич, вы мне нужны. (*Уходят.*)

П р о х о р о в (*как талко скрываются белые халаты, повисает на шею А л е х и-Диссидента*). Алеха! да ты же — гиперборей! Алкивиад! смарагд! да ты же Мюрат, на белом коне вступающий на Арбат! Ты Фарабундо Марти! Нет, русский народ не скудеет подвижниками, и никогда не оскудеет! Судите сами: не успел окачуриться яснополянский граф — пожалуйста, уже в пеленках лежит товарищ Кокинаки... и уже воскрылия у него за плечами! В 21-м году отдает концы Александр Блок,— ничего не поделаешь, все мы смертны, даже Блок,— и что же? Ровно через полтора года рождается Космодемьянская Зоя!.. Бессмертная!..

Г у р е в и ч (*одобрительно приподымается на локте*). Совершенно верно, староста.

А л е х а (*окрыленный*). Надо было и в Игоря Львовича пальнуть чуток...

П р о х о р о в. Ну ты, витязь, даешь...! Вот это было бы излишне... Не будем усложнять **сюжет** происходящей драмы... мелкими побочными интригами... Правильно я говорю, Гуревич?... Человечество больше не нуждается в дюдюктивностях, человечеству дурно от острых фабул...

Г у р е в и ч. Еще как дурно... Да еще — зачем затевать эти фабулы с **ними**? Ведь... их же, в сущности, нет... Мы же психи... а эти, фангасмагории, в белом, являются нам времена-

ми... Тошнит, конечно, но что же делать? Ну, являются... ну, исчезают... ставят из себя полнокровных жизнелюбцев...

П р о х о р о в. Верно, верно, и Боря с Тamarочкой хохочут и обжимаются, чтоб нас уверить в своей **всамделишности**... что они вовсе не наши химеры и бреды, — а взаправдашние...

Г у р е в и ч. Поди-ка ко мне. Прохоров... к вопросу о химерах... Вот это вот (*показывая на укол*) — это долго будет болеть?

П р о х о р о в. Болеть? ха-ха. «Болеть» — не то слово. Начнется у тебя через час-полтора. А дня через три-четыре ты, пожалуй, сможешь передвигать свои ножки. Ничего, Гуревич, рассосется... Я тебя развлеку, как сумею: буду петь тебе детские песенки товарища Раухвергера... или там Оскара Фельцмана, Френкеля, Льва Книшпера и Даниила Покрасс... короче, все, что на слова Симеона Лазаревича Шульмана, Инны Гофф и Соломона Фогельсона...

Г у р е в и ч. Прохоров... умоляю...

П р о х о р о в. И не умоляй, Гуревич... Мы с Алехой на руках оттащим тебя к цветному телевизору. Евгений Иосифович Габрилович, Алексей Яковлевич Каплер, Хейфиц и Ромм, Эрмлер, Столпер и Файнциммер. Суламифь Моисеевна Цыбульник. Одним словом, боли в тазобедренном суставе у тебя поубавятся. А если не поубавятся — к твоим услугам Волькенштейн, Кригер, Гребнер, Крепс — всем хорош парень, но зачем он начал работать в соавторстве с Гендельштейном?..

Г у р е в и ч. А скажи, Прохоров, есть какое-нибудь, от этого укола «сульфы», в самом деле облегчающее средство? Кроме Файнциммера и Суламифи Моисеевны Цыбульник?

П р о х о р о в. Ничего нет проще... Хороший стопарь водяры. А чистый спирт — и того лучше... (*шепчет на ухо Гуревичу нечто*).

Г у р е в и ч. И это — точно?

П р о х о р о в. Во всяком случае, Натали сегодня заменяет и дежурную хозяйку. Все ключи у нее, Гуревич. Она их не доверяет даже своему бэзь-ами, Бореньке Мордвороту...

Г у р е в и ч (*цепенеет, пробует встать*). Вот оно что... (*и снова цепенеет от такой неслыханности*). У меня есть мысль.

П р о х о р о в. Я догадываюсь, что это за мысль.

Г у р е в и ч. Нет-нет, гораздо дерзновеннее, чем ты думаешь... Я их **взорву** сегодня ночью!

За дверью голос медсестрички Л ю с и: «Мальчики, на укольчики!» «Мальчики! в процедурный кабинет, на укольчики!» В 3-й палате никто не внемлет. Один только Г у р е в и ч делает пробные шаги.

Г у р е в и ч (*еще шепчет что-то П р о х о р о в у. Потом*).

Так я вернусь. Минут через пятнадцать,
Увенчанный или увечный. Все равно.

П р о х о р о в. Bravo! да ты поэт, Гуревич!

Г у р е в и ч.

Еще бы! пожелай удачи... Буду
Иль на щите и с фонарем под глазом
фьолетовым, но... но всего скорей,
И со щитом. И — и без фонарей.

З А Н А В Е С

ТРЕТИЙ АКТ

Лирическое интермеццо. Процедурный кабинет. Н а т а л и, сидя в пухлом кресле, кропает какие-то бумаги. В соседнем, аминазиновом, кабинете — его отделяет от процедурного какое-то подобие ширмы — молчаливая очередь за уколами. И голос оттуда — исключительно Т а м а р о ч к и н. И голос — примерно такой: «Ну, сколько я давала тебе в жопу уколов! — а ты все дурак и дурак!.. Следующий!! Больно? Уж так я тебе и поверила! уж не пизди маманя!.. А ты — чего пристал ко мне со своим аспирином? Фон-барон какой! Аспирин ему понадобился! Тихонечко и так подохнешь! без всякого аспирина. Кому ты вообще нужен, разебай?.. Следующий!..»

Н а т а л и настолько с этим свыклась, что не морщится, да и не слушает. Она вся в своих отчетных писульках. Стук в дверь.

Г у р е в и ч (*устало*). Натали?..

Н а т а л и. Я так и знала, ты придешь, Гуревич. Но — что с тобой?..

Г у р е в и ч.

Немножечко побит.

Но — снова Тасс у ног Элеоноры!..

Н а т а л и.

А почему хромает этот Тасс?

Г у р е в и ч.

Неужто непонятно?.. Твой болван
Мордovorот совсем и не забыл...
Как только ты вошла в покой приемной,
Я сразу ведь заметил, что он сразу
Заметил, что...

Н а т а л и.

Какой болван? Какой Мордovorот?
При чем тут Борька? Что тебе сказали?
Как много можно наплести придурку
Всего за два часа!.. Гуревич, милый,
Иди сюда, дурашка...

И наконец, объятия. С оглядкой на входную дверь.

Н а т а л и.

Ты сколько лет здесь не был, охламон?

Г у р е в и ч.

Ты знаешь ведь, как измеряют время
И я, и мне чумоподобные... (*нежно*): Наталья...

Н а т а л и.

Ну, что, глупыш?.. Тебя и не узнать.
Сознайся, ты ведь пил по страшной силе...

Г у р е в и ч.

Да нет же... так... слегка... по временам...

Н а т а л и.

А ручки, Лева, отчего дрожат?

Г у р е в и ч.

О милая, как ты не понимаешь?!
Рука дрожит — и пусть ее дрожит.
Причем же здесь водяра? Дрожь в руках
Бывает от бездомности души,

(тычет себя в грудь)

От вдохновенности, недоедания, гнева
И утомленья сердца,

Роковых предчувствий.
От гибельных страстей, алканной встречи

(Н а т а л и чуть улыбается)

И от любви к отчизне, наконец.
Да нет, не «наконец»! Всего важнее —
Присутствие такого божества,
Где ямочка, и бюст, и...

Н а т а л и *(закрывает ему рот ладошкой)*. Ну, понес, балаболка, понес... Дай-ка лучше я тебе немножко глюкозы волью... Ты же весь иссох, почернел...

Г у р е в и ч. Не по тебе ли, Натали?

Н а т а л и. Ха-ха! Так я тебе и поверила. *(Встает, из правого кармана халатика достает связку ключей, открывает шкаф. Долго возится с ампулами, пробирками, шприцами. Г у р е в и ч, кусая ногти по обыкновению, не отрывает взгляда ни от ключей, ни от колдовских телодвижений Н а т а л и.)*

Г у р е в и ч. Вот пишут: у маленькой морской амфиоды глаза занимают почти одну треть всего ее тела. У тебя примерно то же самое... Но две остальные трети меня сегодня почему-то больше тревожат. Да еще эта победоносная заколка в волосах.

Ты — чистая, как прибыль. Как роса
На лепестках чего-то там такого.
Как...

Н а т а л и. Помолчал бы уж... *(подходит к нему со шприцом)*
Не бойся, Лев, я сделаю совсем-совсем не больно, ты даже не заметишь.

Начинает процедуру, глюкоза потихоньку вливается. Она и он смотрят друг на дружку.

Г о л о с Т а м а р о ч к и *(по ту сторону ширмы)*. Ну чего, чего ты орешь, как резаный? Перед тобой — колола человека, — так ему хоть бы хуй по деревне... Следующий! Чего-чего? Какую еще наволочку сменить? Заебешься пыль глотать, братишка... Ты! хуй неумытый! Видел у пищеблока кучу отходов?

так вот завтра мы таких умников, как ты, закопаем туда и вывезем на грузовиках... Следующий!

Н а т а л и. Ты о чем задумался, Гуревич? Ты ее не слушай, ты смотри на меня.

Г у р е в и ч. Так я так и делаю. Только я подумал: как все-таки стремглав мельчает человечество. От блистательной царицы Тамар — до этой вот Тамарочки. От Франсиско Гойи — до его соплеменника и тезки генерала Франко. От Гая Юлия Цезаря — к Цезарю Кюи, — а от него уж совсем — к Цезарю Солодарю. От гуманиста Короленко — до прокурора Крыленко. Да и что Короленко? — если от Иммануила Канта — до «Степного музыканта». А от Витуса Беринга — к Герману Герингу. А от псалмопевца Давида — к Давиду Тухмапову. А от...

Н а т а л и (на ту же иглу накручивает какую-то новую хреновину и продолжает вливать еще что-то). А ты-то, Лев, ты — лучше прежних Львов? Как ты считаешь?..

Г у р е в и ч. Не лучше, но **иначе** прежних Львов. Со мной была история — вот какая: мы, ну чуть-чуть подвыпивши, стояли на морозе и ожидали — Бог весть, чего мы ожидали, да и не в этом дело. Главное: у всех троих моих случайных друзей струился пар изо рта — да еще бы, при таком-то морозе! А у меня вот — нет. И они это заметили. Они спросили: «Почему такой мороз, а у тебя пар не идет ниоткуда? Ну-ка, еще раз, выдохни!» Я выдохнул — опять никакого пару. Все трое сказали: «Тут что-то не то, надо сообщить куда следует».

Н а т а л и (прыскает). И сообщили?

Г у р е в и ч. Еще как сообщили. Меня тут же вызвали в какой-то здравпункт или диспансер. И задали только один вопрос: «По какой причине у вас пар?» Я им говорю: «Да ведь как раз пара-то у меня и нет». А они: «Нет-нет. Отвечайте на вопрос: на каком основании у вас пар..?» Если б такой вопрос задали, допустим, Рене Декарту, он просто бы обрушился в русские сугробы и ничего не сказал бы. А я — сказал: отвезите меня в 126-е отделение милиции. У меня есть кое-что сообщить им о Корнелии Сулле. И меня повезли...

Н а т а л и. Ты прямо так и брякнул про Суллу? И они чего-нибудь поняли?..

Г у р е в и ч. Ничего не поняли, но привезли в 126-е. Спросили: «Вы Гуревич?» — «Да, — говорю, — Гуревич.

Я здесь по подозрению в суперменстве.
Вы правы до каких-то степеней:
Да, да. Сверхчеловек я, и ничто
Сверхчеловеческое мне не чуждо.
Как Бонапарт, я не умею плавать.
Я не расчесываюсь, как Бетховен,
И языков не знаю, как Чапай.
Я малопродуктивен, как Веспуччи
Или Коперник: сорок-сорок восемь
Страниц за весь свой огромный век.
Я, как святой Антоний Падуанский,
По месяцам не мою ног. И не стригу
Ногтей, как Гёльдерлин, поэт германский.
По несколько недель — да нет же — лет
Рубашек не меняю, как вот эта
Эрцгерцогиня Изабелла, мать ети,
Жена Альбрехта Австрийского. Но
Она то совершила по обету:
До полного Ост-Индского триумфа.
И я не стану переодеваться
И тоже по обету: не напялю
Ни рубашонки до тех пор, пока
Последний антибольшевик на Запад
Не умыльнет и не очистит воздух!
Итак, сродни я всем великим. Но,
В отличие от Филиппа номер два
Гишпанского, — чесоткой не владею.
Да, это правда. *(Со вздохом.)* Но имею вшей,
Которыми в достатке оделен был
Корнелий Сулла, повелитель Рима.
Могу я быть свободен?..»

«Можете, — мне сказали, — конечно, можете. Сейчас мы вас отвезем домой на собственной машине...» И привезли сюда.

Н а т а л и. А как же шпиль горкома комсомола?

Г у р е в и ч. Ну... это я для отвода глаз... и чтобы тебе там, в приемной, не было так грустно.

Н а т а л и. Слушай, Лев, ты выпить немножко хочешь? Только — тссс!

Г у р е в и ч.

О Натали! Всем существом взыскую!
Для воскрешенья. Не для куражу.

Пока Наталли что-то наливает и разбавляет водой из-под крана, из-за ширмы продолжается: «Перебзди, приятель, ничего страшного!.. Будь мужчиной, пиздюк малосольный!.. Следующий!.. А штанов-то, штанов сколько на себя нацепил! ведь все мудя сопреют и отвалятся!.. Давай-давай! А ты — отъебись, не мешай работать... Следующий... Ничего, старина, у тебя все идет на поправку, походишь вот так, в раскорячку еще недельки две и — хуй на ны!— от нас до морга всего триста метров!.. Следующий!..»

Наталли подносит стакан. Гуревич медленно тянет — потом благодарно приникает губами к руке Наталли.

Гуревич.

Она имеет грубую психею.
Так Гераклит Эфесский говорил.

Наталли. Это ты о ком?

Гуревич. Да я все об этой Тамарочке, сестре милосердия. Ты заметила, как дурнеют в русском народе нравственные принсипы. Даже в прибаутках. Прежде, когда посреди разговора наступала внезапная тишина,— русский мужик говорил обычно: «Тихий ангел пролетел!»... А теперь, в этом же случае: «Где-то милиционер издох!..» «Гром не прогремит — мужик не перекрестится», вот как было раньше. А сейчас: «Пока жареный петух в жопу не клюнет...» Или помнишь?— «Любви все возрасты покорны». А теперь всего-навсего: «Хуй ровесников не ищет». Хо-хо. Или, вот еще: ведь как было трогательно: «Для милого семь верст — не околица». А слушай, как теперь: «Для бешеного кобеля — сто килоуóметров не круг». (*Наталли смеется.*) А это вот — еще чище. Старая русская пословица: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться»— она преобразилась вот каким манером: «Не ссы в компот — там повар ноги моет».

Наталли смеется уже так, что раздвигается ширма и сквозь нее просовывается физиономия сестры милосердия Тамарочки.

Тамарочка. Ого! Что ни день, то новый кавалер у Наталли Алексеевны! А сегодня — краше всех прежних. И жидяра, и псих — два угодыя в нем.

Наталли (*смирля бунтующего Гуревича, — строго к Тамарочке*). После смены, Тамара Макаровна, мы с вами побеседуем. А сейчас у меня дела...

Т а м а р о ч к а скрывается и там возобновляется все прежнее: «Как же! Спотворного ему подай — получишь ты от хуя уши...
Перестань дрожать! и попробуй только пискни, разъебай!..» И пр.

Н а т а л и. Лева, милый, успокойся (*целует его, целует*) — еще не то будет, вот увидишь. И все равно не надо бесноваться. Здесь, в этом доме, пациенты, а их все-таки большинство, не имеют права оскорблением отвечать на оскорбление. И уж — Боже упаси — ударом на удар. Здесь даже плакать нельзя, ты знаешь? Заколют, задушат нейролептиками, за один только плач... Тебе приходилось, Лев, хоть когда-нибудь поплакать?

Г у р е в и ч. Хо! Бывало время — я этим зарабатывал на жизнь.

Н а т а л и. Слезами зарабатывал на жизнь? Ничего не понимаю.

Г у р е в и ч. А очень даже просто. В студенческие годы, например...— ой, не могу, опять приступаю к ямбам.

Ты знаешь, Натали, как я ревел?
Совсем ни от чего. А по заказу.
Все вызнали, что **это** я могу.
Мне скажут, например: «Рев, Гуревич!—
Среди вакхических и прочих дел:
Рев, Гуревич, в тридцать три ручья».
И я реву. А за ручей — полтинник.
И ты — ты понимаешь, Натали?—
В любой момент! По всякому заказу!
И слезы — подлинные! И с надрывом.
Я, громкий отрок, не подозревал,
Что есть людское, жидовское горе.
И горе титаническое. Так что
Об остальных слезах — не говорю...

Н а т а л и. И знаешь, что еще, Гуревич: пятистопными ямбами говорить избегай — с врачами особенно — сочтут за издевательство над ними. Начнут лечение сульфазинном или чем-нибудь еще похлеще... Ну, пожалуста... ради меня... не надо...

Г у р е в и ч. Боже! Так зачем же я здесь?!— вот я чего не понимаю. Да и остальные пациенты — тоже — зачем?

Они же все нормальны, ваши люди,
Головоногие моллюски, дети,
Они чуточек впали в забытье.
Никто из них себя не воображает

Ни лампочкой в сто ватт, ни тротуаром,
 Ни оттепелью в первых числах марта,
 Ни муэдзином, ни Пизанской башней
 И ни поправкой Джексона-Фульбрайга
 К решениям Конгресса. И ни даже
 Кометой Швассман-Вахмана-один.
 Зачем **я** здесь, коли здоров, как быкъ?

Н а т а л и.

Послушай-ка, Фульбрайт, ты жив пока,
 Пока что не болеешь, — а потом?.. —
 Чего ж тут непонятного, Гуревич?
 Бациллы, вирусы — все на тебя глядят
 И, морщась, отворачиваются.

Г у р е в и ч. Браво.

Полна чудес могучая природа
 Как говорил товарищ Берендей.

Но только я отлично обошелся бы и без вас. Кроме тебя, конечно, Натали. Ведь посуди сама: я сам себе роскошный лазарет, я сам себе — укол пираретама в попу. Я сам себе — легавый, да и свисток в зубах его — я тоже. Я и пожар, но я же и брандмейстер.

Н а т а л и. Гуревич, милый, ты все-таки немножко опустился...

Г у р е в и ч. Что это значит? Ну, допустим. Но в сравнении с тем, сколько я прожил и сколько **протек**, — как мало я опустился! Наша великая национальная река Волга течет 3700 км, чтоб опуститься при этом всего на 221 метр. Брокгауз. Я — весь в нее. Только я немножко не доглядел — и невзначай испепелил в себе кучу разных разностей. А вовсе не опустился. Каждое тело, даже небесное тело (*значительно оглядывает всю Н а т а л и*) — так вот, даже небесное тело имеет свои собственные вихри. Рене Декарт. А я — сколько я истребил в себе собственных вихрей, сколько чистых и кротких порывов? Сколько сжег в себе орлеанских дев, сколько попридушил бледнеющих дездемон?! А сколько утопил в себе Муму и Чапаёв!..

Н а т а л и. Какой ты экстренный, однако, баламут!

Г у р е в и ч. Не экстренный. Я просто — интенсивный.

И я сегодня... да **почти сейчас**...
 Не опускаться — падать начинаю.

Я нынче ночью разорву в клочки
Трагедию, где под запретом ямбы.
Короче, я взрываю этот **ДОМ!**

Тем более — я ведь совсем и забыл.— Сегодня же ночью с 30 апреля на 1 мая. Ночь Вальпургии, сестры Святого Ведекинда. А эта ночь, с конца восьмого века начиная, всегда знаменовалась чем-нибудь устрашающим и чудодейственным. И с участием Сатаны. Не знаю, состоится ли сегодня шабаш, но что-нибудь да состоится!..

Н а т а л и. Ты уж, Левушка, меня не пугай — мне сегодня дежурить всю ночь.

Г у р е в и ч. С любезным другом Боренькой на пару? С Мордоворотом?

Н а т а л и.

Да, представь себе.
С любезным другом. И с чистейшим спиртом.
И с тортами — я делала сама,—
И с песнями Иосифа Кобзона.
Вот так-то вот, экс-миленький экс-мой!

Г у р е в и ч. Не помню точно, в какой державе, Натали, за такие шуточки даму бьют по заду букетом голубых левкоев... Но я, если хочешь, лучше тебя воспою — в манере Николая Некрасова, конечно.

Н а т а л и. Давай, воспевай, глупыш.

Г у р е в и ч. Под Николая Некрасова!

Роман сказал: глазастая!
Демьян сказал: сисястая!
Лука сказал: сойдет.
И попочка добротная,—
Сказали братья Губины
Иван и Митродор.
Старик Пахом потужился
И молвил, в землю глядячи:
Далась вам эта попочка!
Была б душа хорошая.
А Пров сказал: Хо-хо!

Н а т а л и аплодирует.

Г у р е в и ч. А, между прочим, ты знаешь, Натали, каким веселым и точным образом определял Некрасов степень привлекательности русской бабы? Вот как он определял: количеством тех, которые не прочь бы ее ущипнуть. А я бы сейчас тебя — так охотно ущипнул бы...

Н а т а л и. Ну, так и ущипни, пожалуйста. Только не говори пошлостей. И тихонечко, дурачок.

Г у р е в и ч. Какие ж это пошлости? Когда человек хочет убедиться, что он уже не спит, а проснулся,— он, пошляк, должен ущипнуть...

Н а т а л и. Конечно, должен ущипнуть. Но ведь себя. А не стоящую вплотную даму...

Г у р е в и ч. Какая разница?.. Ах, ты стоишь вплотную... Мучительница Натали... Когда ты, просто так, зыблешь талией,— я не могу, мне хочется так охватить тебя сзади, чтоб у тебя спереди посыпались искры...

Н а т а л и. Фи, балбес. Так возьми — и охвати!..

Г у р е в и ч *(так и делает. Н а т а л и с запрокинутой головой. Нескончаемое лобзание)*. О Натали! Дай дух перевести!.. Я очень даже помню — три года назад ты была в таком актуальном платьице... И зачем только меня поперло в эти Куэнь-Луни? ...Я стал философом. Я вообразил, что черная похоть перестала быть, наконец, моей жизненной доминантою... Теперь я знаю доподлинно: нет черной похоти! нет черного греха! Один только жребий человеческий бывает черен!

Н а т а л и. Почему это, Гуревич, ты так много пьешь, а все-все знаешь?..

Г у р е в и ч. Натали!..

Н а т а л и. Я слушаю тебя, дурашка... Ну, что тебе еще, несмышленьши?..

Г у р е в и ч. Натали...

Неистово ее обнимает и впивается в нее. Тем временем руки его — от страстей, разумеется,— конвульсивно блуждают по Натальным бедрам и лонным сочленениям. Зрителю видно, как связка ключей с желтой цепочкою — переходит из кармашка белого халатика Н а т а л и — в больничную робу Г у р е в и ч а. А поцелуй все длится.

Н а т а л и *(чуть позже)*. Я по тебе соскучилась, Гуревич... *(лукаво)*: А как твоя Люси?

Гуревич. Я от нее убегаю, Наталья. И что такое, в сущности,— Люси? Я говорил ей: «Не родись сварливой». Она мне: «Проваливай, несчастный триумвир!» Почему «триумвир», до сих пор не знаю. А потом, уже мне в догонку и вслед: «Поганым будет твой конец, Гуревич! сопешься с круга, как Коллонтай в Стокгольме! Умрешь под забором, как Клим Ворошилов!»

Н а т а л и (смеется).

А что сначала?

Гуревич.

Ну, что сначала? И не вспоминай.
О Натали! она меня дразнила.
Я с неохотой на нее возлег.
Так на осеннее и скошенное поле
Ложится луч прохладного светила.
Так на тяжелое раздумье чело
Ложится. Тьфу!— раздумье на чело...
Брось о Люси... Так, говоришь — скучала?
А речь об этой плюшке завела,
Чтоб легализовать Мордворота?

Н а т а л и.

Опять! Ну, как тебе не стыдно, Лев?

Гуревич.

Нет, я начитанный, ты в этом убедилась.
Так вот, сегодня, первомайской ночью
Я к вам зайду... грамм 200 пропустить...
Не дуриком. И не без приглашенья:
Твой Боренька меня позвал, и я
Сказал, что буду. Головой кивнул.

Н а т а л и.

Но ты ведь — представляешь?!

Гуревич.

Представляю.
Нашел с кем дон-хуанствовать, стервец!
Мордворот и ты — невъносимо.
О, этот Боров нынче же, к рассвету,
Услышит Командоровы шаги!..

Н а т а л и.

Гуревич, милый, ты с ума сошел...

Г у р е в и ч.

Пока — нисколько. Впрочем, как ты хочешь:
Как небосклон, я буду меркнуть, меркнуть,
Коль ты попросишь...

(подумав)

...Если и попросишь —
Я буду пламенеть, как небосклон!
Пока что я с ума еще не сбрендил,—
А в пятом акте — **будем посмотреть...**
Наталья, милая...

Н а т а л и.

Что, дуралей?

Г у р е в и ч.

Будь на тебе хоть сорок тысяч платьев,
Будь только крестик промежду грудей
И больше ничего,—я все равно...

Н а т а л и (в который уже раз ладошкой зажимая ему рот.
Нежно). А! ты и это помнишь, противный!..

Кто-то прокашливается за дверью.

Г у р е в и ч. Ангильская жемчужина... Королева обеих
Сицилий... Неужто тебе приходится спать на этом дырявом
диванчике?..

Н а т а л и. Что же делать, Лев? Если уж ночное дежурство...

Г у р е в и ч.

И ты... ты спишь на этой вот тахте!
Ты, Натали! Которую с тахты
На музыку переложить бы надо!..

Н а т а л и. Застрекотал опять, застрекотал...

За дверью снова покашливание.

Г у р е в и ч. «Самцы большинства прямокрылых способны
стрекотать, тогда как самки лишены этой способности». Учеб-
ник общей энтомологии. (Снова тянутся друг к другу.)

П р о х о р о в (показывается в дверях с ведром и шваброю).
Всё процедуры... процедуры... (Обменивается взглядом с

Гуревичем. Во взгляде у Прохорова: «Ну, как?» У Гуревича: «Все путем».) Наталья Алексеевна, наш новый пациент, вопреки всему, крепчает час от часу. А я только что проходил — у дверей хозотдела линолеум у нас запущен — спасу нет. А новичок... Ну, чтоб не забывался, куда попал,— пусть там повкальзает с полчаса. А я — пронаблюдаю...

Гуревич. Ну, что ж... *(В последний раз взглянув на Натальи, с ведром и шваброю удаляется, стратегически покусывая губы.)*

Прохоров.

Все честь по чести. Я на то поставлен.

Ты, Алексеевна, опекай его.

Он — с прилиздью. Но это ничего.

З А Н А В Е С

ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ

Снова третья палата, но слишком слабо заселена: одни еще не вернулись с ужина, другие — с аминазиновых уколов. Комсорг Папка Еремин все под той же простыней, в ожидании все того же трибунала. Старик Хохуля, после электрошока,— недвижим, и мало кого занимает, дышит он или уже нет. Витя спит, контр-адмирал тоже. Стасик онемел посреди палаты с выброшенной в эсэсовском приветствии рукой. Тишина. Говорит только дедушка Вова с пунцовым кончиком носа.

Вова. Фу ты, а в деревне-то сейчас славно! Утром, как просыпаешься, ...первым делом снимаешь с себя сапоги, солнышко заглядывает в твои глаза, а ты ему в глаза не заглядываешь... стыдно... и выходишь на крыльцо. А птички-пташки-соловушки так и заливаются: фирли-тю-тю-фирли, чик-чирик, ку-ку, кукареку, кудах-тах-тах. Рай поднебесный. И вот, надеваешь телогрейку, берешь с собой документы, и вот так, в чем мать родила, идешь в степь, стрелять окуней... Идешь убогий, босой и с волосами. А без волос нельзя, с волосами думать легче... И когда идешь — целуешь все одуванчики, что тебе попадаются на пути. А одуванчики целуют тебя в расстегнутую гимнастерку, такую выцветшую, выдавшую виды, прошедшую с тобой от Берлина до Техаса...

В палату тихо-тихо заходят, взявшись за руки, С е р е ж а К л е й н - м и х е л ь и К о л я. Потирают на полах свои уклады, обсаживают В о в у, слушают.

В о в а. И вот так идешь... ветры дуют поперек... Сверху — голубо, снизу — майские росы-изумруды... А впереди — что-то черненькое белеется ... Думаешь: может, просто куст боярышника?...да нет. Можно быть, армянин?.. Да нет, откуда в хвощах может появиться армянин? А ведь это, оказывается, мой внучок, Сергунчик, ему еще только четыре годика, волосики на спине только начали расти,— а он уже все различает; каждую травинку от каждой былинки, и каждую пичужку изучает по внутренностям...

К о л я. А я вот ничего не сумею отличить. Я все время в палате. Липу от клена я еще смогу отличить. А вот уж клен от липы...

С т а с и к (*снова дует по палате из угла в угол*). Да! ничего на свете нету важнее! спасение **дерев!** Придет оккупант — а где наша интимная защита? Интимная защита ученого партизана! А в чем она заключается?— а вот в чем: ученый партизан посиживает и похаживает, покуривает и посвистывает. И наводит ужас на прекрасную Клару!

В о в а. А мой сосед Николай Семенович...

С т а с и к (*неудержимо*). Господь создал свет, да, да! А твой Николай Семеньч отделил свет от тьмы. А вот уж тьму никто не может отделить ни от чего другого. И потому нам не дают ничего подлинного и интимного! перловой каши, например, с творогом, с изюмом, с гавайским ромом...

К о л я. И с вермутом...

С т а с и к. Нет, без вермута. Причем здесь вермут?! И до каких пор меня будут прерывать? делать торными тропы нечестивых? Когда, наконец, закончится сползание к ядерной катастрофе? Почему Божество медлит с воздаянием? И вообще — когда эти поляки перестанут нам мозга ебать?! Ведь жизнь и без того — так коротка...

В о в а. А ты посади, Стас, какой-нибудь цветочек, легче будет...

С т а с и к. Хо-хо! нашел кому советовать! Да ты поди, взгляни в мою оранжерею. Жизнь коротка,— а как посмотришь на мою оранжерею — так она будет у тебя еще короче, твоя жизнь! Твои былинки и лютики — ну их, они повсюду. А у меня вот что есть — сам вывел этот сорт и наблюдал за прозябанием. Называется он: «Пузанчик-самовздутыш-дармоед» с вогнутыми листьями. И ведь

как цветет!— хоть стреляй в воздух из револьвера. Так цветет — что хоть стреляй из револьвера в первого проходящего!.. А еще — а еще, если хотите, «Стервоза неизгладимая» — это потому, что с началом цветения ходит во всем исподнем! «Лахудра пригожая вдумчивая» — лучшие ее махровые сорта: «Мама, я больше не могу», «Сихотэ-Алинь» и «Фу-ты ну-ты». «Обормотик желтый!» «Ныпик двулетний!» Это уже для тех, кого выносят ногами вперед. «Мымра краснознаменная!» «Чапай лохматый!» «Хуеплётник недолговечный!» Все, что душе угодно...

В о в а. И все это ты имел в своем саду, браток?

С т а с и к. Как то есть имел? До сих пор имею! Что, Вова, нужно тебе для твоих панталон?..

В о в а. Нету у меня панталон...

С т а с и к. Ну, нет, так будут... И ты, конечно, захочешь оторочить верх панталон чем-нибудь багряным. Приходи в мой сад — и все твое. «Презумпция жеманная», она же «Зиночка сдобная пальпированная» — да и как Зиночке не быть пальпированной, если она такая сдобная! «Мудозвончики смекалестые!» «ОБХ-ЭС ненаглядный!» «Гольфштрим чечено-ингушский!» «Пленум придурковатый!» — его так называли за его дымчатые вуали, невзначай и совсем не остроумно. «Дважды орденосная игуменья незамысловатая», лучшие ее разновидности: «Капельмейстер Штуцман», «Ухо-горло-нос», «Неувядаемая Розмари» и «Зацелуй меня до смерти». «Генсек бульбоносный!», пурпуровидные его сорта зовутся по-всякому: «Любовь не умеет шутить», «Гром победы, раздавайся», «Крейсер Варяг» и «Сиськи набок». А если...

В о в а. А синенькие у тебя есть? Я, если выйду в поле по росе, по большим праздникам,— все смотрю: нет ли синеньких...

С т а с и к. Ну, как не быть синеньким! Чтоб у меня — да не было синеньких! Вот — носопырочки одухотворенные, носопырочки расквашенные, синекудрые слюнявчики «Гутен-морген!» «Занзибар опизденевший» — выбирай сорта: «Лосиноостровская», «Яуза», «Северянин», «Иней серебристый», «Хау-ду-ю-ду», «Уйди без слез и навсегда»...

С т а с и к, на словах «без слез и навсегда», снова деревенсет у окна палаты, с выкинутым вертикально вверх кулаком «Рот Фронт».

В о в а. Да... хорошие цветочки... А я ведь помню тяжелые времена... когда все цветочки исчезли из помину... и плохие и

хорошие... кругом нашей деревни одни только эскарпы и янычары, траншеи, каски, руки, ноги — над Москвой только царь-пушки гремели, и царь-колокола... Но встал генерал армии Андрей Власов, а за ним диктор всесоюзного радио Юрий Левиган,— и они вдвоем отогнали от столицы полчища озверевших заокеанских орд. И снова расцвели медуницы...

Все глядят на Вовин носик. У К о л и опять чего-то текет, В о в а бережно утирает. Почти никто не замечает, как староста П р о х о р о в то вторгается в помещение, взглядывает на часы — ему одному во всей палате дозволено носить часы,— то снова исчезает из помещения. Музыка при этом — тревожнее всех тревожных.

К о л я. Так ведь и осенью в деревне хорошо... Ведь правда, Вова?

В о в а. Осенью немножко хуже, с потолка капает... Сидишь на голом полу, а сверху кап-кап, кап-кап, а мышки так и бегают по полу: шур-мур, шур-мур, бывает, кого-нибудь из них пожалеешь,хватишь и спрячешь под мышку, чтоб обсохли-обогрелись. А напротив — висят два портрета, я их обоих люблю, только вот не знаю, у кого из них глаза грустнее: Лермонтов-гусар и товарищ Пельше... Лермонтов — он ведь такой молодой, ничего не понимает, он мне говорит: иди, Вова, в город Череповец, там тебе дадут бесплатные ботинки. А я ему говорю: А зачем мне ботинки? Череповец — он у-у-у как далеко... Получу я ботинки в Череповце — а куда я дальше пойду в ботинках? нет, я уж лучше без ботинок... А товарищ Пельше тихо мне говорит, под капель,— «Может, это мы виноваты в твоей печали, Вова?»— А я говорю: нет, никто не виновен в моей печали. А тут еще теленочек за перегородкой — чертыхается и просить чего-то начинает,— а я его век не кормил, и откуда он взялся, этот теленочек, у меня и коровки-то никогда не бывало. Надо бы спросить у внука Сергунчика — так и его куда-то ветром унесло. И всех куда-то ветром уносит... Я уже с вечера поставил у крыльца миску с гречневой кашей — для ежей. Сумерки опускаются. Вот уже и миска загремела — значит, пришли все-таки ежики, с обыском... Листья кружатся в воздухе, кружатся и — садятся на скамью... Некоторые еще взвываются — и опять садятся на скамью. И цветочки на зиму — все попересажены... А ветер все гонит облака, все гонит — на север, на северо-восток, на север, на северо-восток. Не знаю, кто из них возвращается. А над головою все чаще: кап-кап-кап, и ветер все

сильнее: деревья начинают скрипеть и пропадать, рушатся и гибнут, без суда и следствия. Вот уже и птички полетели, как головы с плеч...

К о л я. Как хорошо... А у нас в деревне — в апреле тоже тридцать дней или дня три-четыре накнули?

В о в а. Да нет пока...

К о л я. Ну, вот и зря... Надо бы немножко накиннуть... У нас же должно быть покрупнее, чем у **них**... Они играют на пятиструнной гитаре, а у нас своя, исконная, семиструнная... Байкал, телебашня, Каспийское озеро... А тут получается обидно: и у них в апреле тридцать дней, и у нас тридцать. (*Пускает слюну. В о в а вытирает.*) А равняться на Европу, как мне кажется,— это значит безнадежно отставать от нее... Конечно, мы не ищем для себя односторонних преимуществ, но никогда и не допустим, чтобы...

П р о х о р о в (*врывается в палату с озаренным лицом*) **Обход! Обход!** (*Но странно: вместо привычного «Всем встать!» — староста отдает приказ ни на что не похожий*). Немедленно лечь на пол! Всем! Мордами вниз! Кто шевельнет глазами туда-сюда — стреляю из всех Лепажевых стволов! Стас, прекрати свои ротфронты! (*Подходит к Стасику, но рука его кататонически не выходит из состояния Рот-Фронт.*) Ну ладно, отвернись только к стенке, но пасаран, пассионарий! вессеремус!

Г у р е в и ч (*входит с помойным ведром, поверх ведра накинута холщовая мокрая тряпка. Швабру оставляет у входа. Подойдя к своей тумбочке, второпях снимает тряпку, из ведра достает почти ведерной емкости бутылку и устанавливает ее, прикрыв тряпьем. Глубочайший выдох*). Ну вот. Теперь как будто бы **виктория!**

А л е х а (*с порога*). Всем подняться — отряхнуться! Обход закончен!

П р о х о р о в. Всем лечь по своим постелям. Замечайте, психи: обходы становятся все короче. Значит, скоро они совсем прекратятся. Вставайте, вставайте,— и по постелькам... Так, так... А что вы тут делали? — пока **високосные** люди нашей планеты достигали невозможного — чем в это время занимались вы, летаргический народ?..

В о в а. Нам Стасик говорил о своих цветочках... Он их сам выращивает...

Прохоров. Эка важность! Цветочки — они внутри нас. Ты согласишься со мной, Гуревич, ну, чего стоят цветочки, которые снаружи?

Гуревич. Мне скорее надо пропустить, Прохоров, а уж потом... И без этого внутри нас много цветочков: циститы в почках, циррозы в печени, от края до края инфлюэнцы и рюматизмы, миокарды в сердце, абстиненции с головы до ног... В глазах — протуберанцы...

Прохоров. Налей шестьдесят пять граммов, Гуревич, и скорее опрокинь. Потом поговорим о цветочках. Ал-леха!

Алеха. Я здесь...

Прохоров. Немедленно: стакан холодной воды. У Хохули в чемодане — лимоны, выгаскивай их все...

Алеха. Все..?!

Прохоров. **Все**, мать твою ёбл!

Гуревич в сущности, начинает Вальпургиеву ночь. Наливает рюмаху. Внюхивается, до отказа морщится, проглатывает.

Прохоров (*в ожидании своей дозы*). Я думал о тебе хуже, Гуревич. И обо всех вас думал хуже: вы терзали нас в газовых камерах, вы **гноили** нас в эшафотах. Оказывается, ничего подобного. Я думал вот как: с вами надо блюсти дистанцию! Дистанцию **погромного** размера... Но ты же ведь — Алкивиад! — тьфу, Алкивиад уже был, — ты граф Калиостро! Ты — Канова, которого изваял Казанова, или наоборот, наплевать! Ты — Лев! Правда, Исаакович, но все-таки Лев! Гней Помпей и маршал Маннергейм! Выше этих похвал я пока что не нахожу... а вот если бы мне шестьдесят пять...

Алеха. Может, проверить, — горит?

Гуревич. Это можно... (*На край тумбочки проливает немножко из своего остатка, зажигает спичку и подносит: тишина, покуда не меркнет синее пламя.*)

Прохоров (*он даже не разводит свои семьдесят граммов, он держит наготове хохулин лимон. Опрокидывает. Страстно внюхивается в лимон. Пауза самоуглубленности*). Итак. Кончились беззвездные часы человечества! Скажи мне, Гуревич, из какого мрамора тебя лучше всего высечь?..

Гуревич. Это как то есть «высечь»?

Прохоров. Нет-нет. Я не то хотел сказать. Я вот что хотел сказать: с этой минуты, если в палате номер три или в

любой из вассальных наших палат какой-нибудь неумный псих усомнится в богодухновенности **этого** (*втыкая палец в Г у р е в и ч а*) народа, тот будет немедленно произведен мною в конгр-адмиралы. Со всеми вытекающими отсюда последствиями... **Они** открывают миру **все**, мы только успеваем прикрывать. Что говорить о Старом Свете?.. Из какого племени явился Христофор Колумбо — это, наконец, известно поголовно всем. Но мало кто знает, что первым человеком, из состава Колумбовой экспедиции, первым, ступившим на Новую Землю, — был иудей-марран Луис де Торрес! (*впадая в раж*) А **Исаак** Ньютон! А — **Авраам** Линкольн!.. А кто первый увидел Ниагарский водопад? — **Давид** Ливингстон!..

Г у р е в и ч. Помаленьку, помаленьку, староста. Иначе ты вызовешь переполох в слабых душах... А ты не подумал о том, что Алкивиад тоже возделает? Ты вот уже немножко порфи-роносен. А взгляни на Алеху...

П р о х о р о в. Ал-леха!

А л е х а. Я тут. (*Пока Г у р е в и ч чародействует со спиртом и водю, — не выдерживает. Делает лицо. Тренькает себе по животу, как бы аккомпанируя на гитаре. Начинает внезапно и анданте*).

А мне на свете — все равно.
Мне все равно, что я говно,
Что пью паскудное вино
Без примеси чего другого.
Я рад, что я дегенерат,
Я рад, что пью денатурат,
Я очень рад, что я давно
Гудка не слышал заводского...

Вливает в себя все ему налитое. Исполнивский выдох. Пробует лишь продолжить свое традиционное:

Обязательно,
Обязательно,
Я на рьженькой женюсь!
Пум-пум-пум-пум!

(*по собственной пузени, разумеется*)

Об-язательно...

Г у р е в и ч. Стоп, Алеха. Не до песнопений. Кругом нас алчут малые народы. А мы, тем временем, сверх-державы,— пробуем на вкус то, что вообще-то говоря, делает наши души автономными, но может те же самые души и на что-нибудь обречь. Приобщить этих сирьх?

П р о х о р о в. Еще как приобщить! Ал-леха!

А л е х а. Я здесь. *(Машинально подставляет пустой стакан.)*

Г у р е в и ч. Болван. Ты понимаешь, что такое — сирость?

А л е х а. Еще бы не понять. Сережа Клейнмихель,— у него на глазах Паша Еремин, комсорг, оторвал у мамы почти все. И он теперь все кропает и пишет, кропает и пишет... Позвать его?

Г у р е в и ч. Позвать, позвать... *(Наливает полстакана.)*

П р о х о р о в. Клейнмихель! На ковер.

Г у р е в и ч *(к подошедшему Сергею)*. Так о чем тебе моргнула перед смертью твоя мама?

С е р е ж а *(всплакнув, конечно)*. Она все знала. Мамы — они всегда все знают. Что меня не допустят и не дадут начальство снимать картину фильма про маму и Семена Михайловича Буденного, и как они крепко целовали друг друга перед решающей битвой. А свою нечистую руку приложил к этому Пашка Еремин, еврейский **шапион**...

Г у р е в и ч. Не торопись. Выпей. *(Сергею, выпив, прижимает руку к сердцу, не то в знак благодарности, не то всерьез желая уйти из этого мира.)*

С е р е ж а. Я знаю, что такое еврейский **шапион**. Первый признак — звать его Паша. А фамилия его — Еремин. Других доказательств и не надо. Он не дает мне ночью рисовать стихи и планы всего будущего...

Г у р е в и ч. У тебя это что в руках, Буденный?..

С е р е ж а. Это что я прячу от предателя Павлика. Это все, что я построю, когда меня выпустят. А если я чего-нибудь построю — Павлик, злодей, все подожжет. Я вам сейчас прочитаю, но чтобы Пашку Еремина туда со спичками не подпускали...

П р о х о р о в. Давай, я прочту, зануда. А то у меня есть баритон, а у тебя нет баритона... Так-так... Проект будущих торжествований. Номер один: дом больницы разбитых космонавтов. Номер два: дом любви и здоровья больных космонавтов. Номер три: дом Любви к своей маме как можно лучше и хорошо. Номер четыре: дом, где не гуляют до двенадцати ночи, а живут с родными никогда и вообще. Номер пять: Дом Ком-

мунизма. Там приучают не бегать с топором, и не пропивать ребят и космонавтов. Номер шесть: Культурный стадион космонавтов, чтобы метать их в цель...

Г у р е в и ч. И долго еще будет эта тягомотина?.. Сереже больше не давать...

П р о х о р о в. Сейчас-сейчас... *(продолжает)*. Номер семь: Книжная фабрика культурных летчиков, с гипноседативным эффектом. Номер восемь: Дом и культурная дорога для спортивных татар. Номер девять: Аэродром культуры для татар и космонавтов. Десятое: Вокзал Поездов. Чтобы девушки в коротких юбках стояли на подножке. И махали приходящими поездами вслед уходящим поездам.

А л е х а фыркает.

П р о х о р о в *(продолжает)*. Спортивный Внимательный институт. Спортивный внимательный светофор для татар и космонавтов. Спортивный внимательный Энтернат для всех аэродромов Космуса. Номер четырнадцать и предпоследний: Детский Мир на спортивной реке. Где маленькие шпионы тонут, а большие — всплывают для дачи больших и ложных показаний. Номер пятнадцать и последний: Космическая выставка веселой любви и тайных радостей всех веселых космонавтов веселого Космуса...

Г у р е в и ч. М-м-мда... Тебя все-таки дурно воспитывали, Клейнмихель... Может быть, и прав комсорг Еремин, расчленив твою маму?..

С е р е ж а. Нет, он был глубоко не прав. Когда она была в целости, она была намного красивше... Вам бы только посмеяться, а ведь смеяться-то не от чего... У меня еще есть один проект, чтобы в России было поменьше смеху; Трубопровод из Франкфурта-на-Майне, через Уренгой, Помары, Ужгород, — на Смоленск и Новополоцк. Трубопровод для поставок в Россию слезоточивого газа. На взаимовыгодных основаниях...

Г у р е в и ч. Bravo, Клейнмихель!.. Староста, налей ему еще немножко.

Староста наливает. Погладив С е р е ж у по головке, подносит.

С е р е ж а *(тронутый похвалой, пропустив и крякнув)*. А еще я люблю, когда поет Людмила Зыкина. Когда она поет — у меня все разрывается, даже вот только что купленные носки — и те

разрываются. Даже рубаха под мышками — разрывается. И сопли текут, и слезы, и все о Родине, о расцветах наших неоглядных полей...

Г у р е в и ч. Прекрасно, Серж, утешайся хоть тем, что заклятому врагу твоему, комсоргу, не будет ни граммулочки. Он, к сожалению, принадлежит к тем, кто составляет поголовье нации. Мудак, с тяжелой формой легкомыслия, весь переполненный пустотами. В нем нет ни сумерек, ни рассвета, ни даже полноценной убудочности. На мой взгляд, уж лучше дать полную амнистию узникам совести... То есть, предварительно шлепнув, развязать контр-адмирала?

П р о х о р о в. Ну, конечно. Тем более, он уже давно проснулся, ядерный заложник Пентагона. *(Потирает руки, наливают поочередно Г у р е в и ч у, себе, А л е х е.)* Вставай, флото-водец. Непотопляемый авианосец НАТО. Я сейчас тебя развяжу,— признайся, Нельсон, все-таки приятно жить в мире высшей справедливости?

М и х а л ы ч *(его понемногу освобождают от пут).* Выпить хочу...

П р о х о р о в. Да это ж совершенно наш человек! Но прежде стань на колени и скажи свое последнее слово. *(Михалыч вздрагивает.)* Да нет, ты просто принеси извинения оскорбленной великой нации, и так, чтобы тебя услышали твои прежние друзья-приятели из Североатлантического пакта. Ну, какую-нибудь там молитву...

М и х а л ы ч *(быстро-быстро, косясь на П р о х о р о в а, наливающего заранее).* Москва — город затейный: что ни дом, то питейный. Хворого пост и трезвого молитва — до Бога не доходят. Чай-кофе не по нутру, была бы водка поутру. Первая рюмка колом, вторая соколом, а остальные мелкими пташками. Пить — горе, а не пить вдвое. Недопой хуже перепоя. Глядя на пиво и плясать хочется...

П р о х о р о в *(намного одушевленнее, чем во втором акте).* Так-так-так...

М и х а л ы ч. Без поливки и капуста сохнет. Что-то стали руки зябнуть, не пора ли нам дерябнуть. Справа немцы, слева турки, ебануть бы политурки. Что-то стало холодать, не пора ли...

Г у р е в и ч. Пора, мой друг, пора... *(Адмирал выпивает — и вытаращивает глаза от крепости напитка и перемен земного жребия.)* По нашей Конституции, адмирал, каждый гражданин имеет право выпучивать глаза, но не до отказа... Вова!!

В о в а приходит покорно, но почему-то держа за руку бледного
К о л ю.

Г у р е в и ч. Дети, армянский коньяк на столе, читайте молитву. (*К Прохорову*). А почему они, собственно, здесь, — а не там?

П р о х о р о в. Ну, ты же сам слышал... эстонец... голова болит... разве этого недостаточно?.. А что касается Вовы, — так он просто так... подозревается в уникальности...

Г у р е в и ч. Не надо кручиниться, Вова, завтра же будешь со мною на свободе. У тебя есть **мечта**?..

В о в а. Да, да, есть. Я хочу у себя в пруду развести такую рыбку — она называется гамбузия. Так вот, эта рыбка — гамбузия — поедает в своем пруду всех комариных личинок, а заодно и все лямблии. Потому что стоит человеку проглотить вместе с водой одну только лямблию, как она, сама по себе, порождает другую лямблию, а третья лямблия, родившись от сочетания первых двух лямблей...

Г у р е в и ч. И сколько этих вот самых лямблей может враз заглотать твоя рыбка гамбузия?

В о в а. Она может схавать зараз семьдесят пять штук.

Г у р е в и ч. И — не поперхнуться?

В о в а. И не поперхнуться.

Г у р е в и ч. Отлично. Вот ровно столько граммов ему и налейте. Только разбавьте водой. А Боренька-Мордворот сегодня же ночью расплатится за то, что сделал тебе на носу эту «модус-вивэнди»...

В о в а (*единым залпом выпив, — то, как травка, зеленеет, то, как салнышко, блестит*). А самое главное, чем хороша гамбузия, — так от нее ни одного комарика в воздухе. Никто вас не укусит, смело идите в лес, мои маленькие радиослушатели. И гуляйте, пока не позовет Эдик...

П р о х о р о в. А что это за Эдик?..

В о в а. Никто не знает. Но, как только в небеса подымается Веспер, тут надо расходиться по домам, потому что Эдик делает знак: пора расходиться. Ничего не поделаешь... Сергунчик, мой внук, не послушался — и вот вам результат: ветры унесли его неведомо куда... по заказу Гостелерадио...

Г у р е в и ч. Удивительная все-таки страна — Россия! Ну, с какой стати Эдик? На каком основании — Эдик?.. (*Обращается к Коле*). Коля! ты смыслишь что-нибудь в этой белиберде?

К о л я. Конечно. Я уже давно усвоил эту дхарму. (*Простирая к публике руку*). Отцы наши ели кислый виноград, а у детей на столе один только вермут, и больше ничего. Десертным вермутом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его, — напрасно, его уж нет, молодой певец нашел безвременный конец. Особой водки он просил, и взор являл живую муку, — и кто-то вермут положил в его протянутую руку!..

Г у р е в и ч. Здорово!.. Налейте поэту **мушкателейнвейну!**

К о л я (*выпивая свою долю мушкателейнвейна*). А откуда в нашей палате взялся мушкателейнвейн?

П р о х о р о в. Все оттуда же. А откуда в нашей палате, со слабоумными расспросами, взялись пытливые юноши? Взялось, значит взялось. И при этом, кроме чести, не потеряно ничего. Если явятся вопросы еще, обратись к Вите.

Г у р е в и ч. Да, да. Если кому чего неясно, — пусть обращается к нашему незабвенному гроссмейстеру. Какая честь — еще при жизни называться незабвенным! **Витя!!** Корчной! Что новенького-шизофреновенького?

Все смотрят на В и т ю. Не совсем понятно, спит он или проснулся, потому что улыбка его, оставаясь дежурной за время сна, становится, по пробуждении, сардонической. Сейчас на нем ничего этого нет.

Г у р е в и ч. Ну, очень просто определить, спит человек или нет. Если он хочет присоединиться к компании, значит: проснулся. А если не хочет — стало быть, спит и не проснется **вовекки..**

В и т я. Я проснулся. И пока в этом мире не кончится мушкателейнвейн, я никогда не усну.

П р о х о р о в (*поднося В и т е*). Теперь ты понимаешь, гроссмейстер, что мы живем не то что в мире высшей справедливости, а в мире такой справедливости, которая даже чуть выше, в сравнении с наивысшей?..

В и т я (*приподымая большую, розовую голову*). А я не умру?

Г у р е в и ч. Ты, Витя, слишком высокого о себе мнения... Во всей происходящей драме — до тебя — никто ни словом не обмолвился о смерти, хоть все и поддавали. Счастье человека — в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей. Пьер Безухов. А если уж смерть — так смерть. Смерть —

это всего лишь один неприятный миг, и не стоит принимать его всерьез. Аугусто Сандино.

В и т я пьет и — встает. Всех обнимая своей улыбкой — и не стыдясь живота своего, — почему-то отправляется к выходу.

П р о х о р о в. Наконец-то! Отрада и ужас Вселенной — Витя — хочет пройтись в сторону клозета... Стасик! Прекрати свои рот-фронты. Иди сюда...

Г у р е в и ч (*спохватившись*). Да, да. Никакие рот-фронты и нопасараны уже не пройдут. Над всей Гишпанией — ясное небо. Франсиско Франко. По этому поводу — опусти свою глупую руку — и подойди. Твоя неистовая Долорес — в соседнем отделении. Пропусти для храбрости сто двадцать, и мы соединим вас, недоумков...

С т а с и к. Так она еще не умерла?..

Г у р е в и ч. Давно уже подохла. Но, как только услышала о тебе, о предстоящем свидании, она вытряхнула землю из глазных своих впадин и сказала: пусть придет ко мне, я люблю молодых и растленных. Но прежде, — сказала она, — но прежде я должна привести себя в порядок, я ведь так долго пролежала в сырой земле...

С т а с и к. Я понимаю... Женщина всегда есть женщина, если даже пассионария. У нас есть о чем побеседовать: массивное давление на Исламабад, подводные лодки в степях Украины! И — вдобавок ко всему — насильник дядя Вася в зарослях укропа. И марионетка Чон Ду Хван, он все мечтает стереть советскую Россию с лица земли. Но разве можно стереть **то**, у кого так много-много земли — и никакого-никакого лица? Вот до чего доводит узкоглазость этих чондухванов...

Г у р е в и ч. Налить ему немедля! И пропорционально тому, что он здесь сейчас нагородил... Боже мой, Витя!..

В и т я (*с улыбкой, обаятельнее которой не было от Сотворения*). Вот, пожалуйста, шахматная фигура, я обмыл ее проточной водой... (*Ставит на стол посреди палаты — еще один белый ферзь. Два белых ферзя рядом — это уже слишком. Многие теряют и остатки своих убогих рассудков.*)

П р о х о р о в. С шахматами мы потом разберемся... А шашки — где?... Чемпион мира по русским шашкам Виктор Куперман... (*Улыбка — в сторону Г у р е в и ч а, вопрос адресован В и т е*)... Так вот, шашек нет. Сейчас растерянно смотрит на

мир наш русский товарищ Куперман. И вот он, молодой и здоровый, крутится в своем гробу. Не путать с Долорес Ибаррури... Он крутится в своем гробу, хотя он молод и здоров...

К о л я (*прерывает старосту, чего с ним никогда не бывало*). А кто вообще автор желудочно-кишечного тракта?..

Г у р е в и ч. Неужели и теперь тебе не понятно, кто?.. (*присаживается к В и т е*).

Скажи мне, Вигя, ну, а если б ты...

Ну... двадцать шесть бакинских комиссаров...

Чудовищно подумать!.. Что б тогда

Принес толпе из всех своих глубин?

Шпинозу? Грушпенфурера СС?

Ударный финиш юбилейной вахты?

Рене Декарта?..

За дверью слышны каблучки. Это — Н а т а л и с последним обходом. И, слава Богу, она уже слегка первомайски-поддатая.

Иначе — она уловила бы в палате спиртной дух.

П р о х о р о в. Тишина!.. Все — по местам! Накрыться с головой!

Н а т а л и входит, всем желает спокойных ночей. Поправляет одеяло — у тех, на ком плохо лежит. Присаживается у изголовья Г у р е в и ч а. Никому не слышные — а может быть, слышные всем,— шепоты и нежности.

Н а т а л и (*полупшепотом*). Ни о чем не думай, Лев, все будет хорошо. (*Г у р е в и ч пробует что-то сказать. Н а т а л и прикладывает пальчик к губам*). Тсс... Все дрыхнут. В коридоре ни души. Адье. Спокойной ночи, алкаши. (*Н а т а л и проплывает к выходу, тихо-тихо прикрывает за собой дверь. Стук удаляющихся каблучков*.)

Все пациенты разом сбрасывают с себя одеяла, приподымаются в постелях и завороженно глядят на два белых ферзя посреди палаты.

З А Н А В Е С

ПЯТЫЙ АКТ

Между четвертым и пятым актом — 5—7 минут длится музыка, не похожая ни на что и похожая на все что угодно: помесь грузинских лезгинок, кафе-шантаннских танцев начала века, дурацкого вступления к партии Варлаама в опере Мусоргского, кан-канов и кэк-уоков, российских балаганских плясов и самых бравурных мотивов из мадьярских оперетт времен крушения Австро-Венгерской монархии.

Поднимается занавес.

Все та же третья палата, несколько часов спустя: все выглядит настолько иначе, что глупо и говорить об этом.

Пр о х о р о в. Рас-светает!.. Аль-леха!!

А л е х а. Да, я тут.

Пр о х о р о в. Вдарь что-нибудь на своей гитаре, диссидент!
Вдарь по сердцам наших просветленных узников!

А л е х а.

Пум-пум-пум-пум.

Представление начинается. В нем принимают участие все, даже комсорг П а ш к а Е р е м и н — откуда только он успел нализаться — непонятно —ведь ему было отказано даже в граммулечке.

Пум-пум-пум-пум!

Пум-пум-пум-пум!

Я надена платье бело

И весеннее пальто.

Никого я не боюсь:

Председатель — мой отец.

В о в а.

Председатель к нам спешит,
«Не кручинь гесь,— говорит,—
Не кручиньтесь, не тужите,
Удобренье положите».

М и х а л ы ч.

Дети в школу собирались.

Мылись, брились, похмелялись.

Эх, в бога-душу-мать,

Дайте курочку!

К о л я.

Ему уж 20 лет,—

А он такой дурак!

Ему уж 30 лет, —
А он такой дурак!
Ему уж 40 лет, —
А он такой дурак!
Ему уж...

А л е х а (*прерывает его*).

Коля водит самолеты —
Это очень хорошо.
Вова лопает компоты —
Это очень хорошо!

П р о х о р о в.

А агент из Миннесоты —
Тоже очень хорошо.

(Это, разумеется, выпад в сторону М и х а л ы ч а, который в это самое время пробует, как сен-сановская плисецкая лебедь, — делать ручками фокусы-покусы.)

Сей агент, агент прекрасный,
Опрокинув свой бокал,
На груди ее атласной
Безмятежно засыпал.
Хо-хо!

А л е х а.

Пум-пум-пум-пум!
Вся страна лежит во мраке —
Огонек горит в Кремле!
Пум!
Обожаю нежности
В области промежности!

В и т я со всем своим пузом вступает в пляс, повязав наволочку вместо
косынки.

А л е х а (*подтанцовывает к В и т е*).

Ай-ай! Ох-ох!
Все готово. Бобик сдох.
Что с тобою приключилось,
Манечка?

В и т я (*не без кокетства*).

Совершенно ничего.
Ровным счетом ничего,
Ничего не приключилось
С Манечкой.
Просто — слишком завертелась,
Просто — очень захотелось
Съездить в будущем году
В Пизу или Катманду!
Оп-ля!!

П р о х о р о в.

Кудри вьются,
Кудри вьются,
Кудри вьются у блядей,
Почему они не вьются
У порядочных людей?

В и т я. Хе! Хе!

Потому они не вьются —
Денег нет на бегудей!

А л е х а (*поправляя Витю*).

Потому что у блядей
Денег есть на бегудей,
А у порядочных людей —
Денег только на блядей.

Г у р е в и ч (*между тем с тревогой всматривается в полусонного Хо ху л ю. Очень заметно, как тот, и выпив-то всего-навсего грамм 115,— клонится к закату. Г у р е в и ч подходит к нему, тормошит*). Хохуля! Для оживления психеи хочешь еще немножко дернуть? Ты меня не слышишь?.. Не слышит... Передаю по буквам, Хохуля... дернуть... Д — движение неприсоединения, Дуайт Эйзенхауэр, девичьи грезы, дивные бедра, День поминовения усопших... Д. Следующая — ё... Только вот как передать ему «ё»?.. Подлец Карамзин — придумал же такую букву «Ё». Ведь у Кирилла и Мефодия были уже и Б, и Х, и Ж... Так нет же. Эстету Карамзину этого показалось мало... Стоп, ребяташки!!— Хохуля — не дышит!..

Одни отступают мертвеца; другие — продолжают беззаботное буйство.

Прохоров. Вот к чему приводит лечение электрошоком!
Вот вам блестящее подтверждение несостоятельности нашей
медицины!

Стасик становится у трупа, оттянув подбородок, в позе стерегущего
Мавзолей.

Гуревич. Ничего. Ничего неожиданного. Следует вполне
полагаться на судьбу и твердо верить, что самое скверное еще
впереди.

Прохоров (*добавляет*). Рене Декарт. И да не будет никто
омрачен! Мы отмечаем сегодня вальпургиево празднество
силы, красоты и грации! А Первомай пусть отмечают нормаль-
ные люди, то есть не нормальные люди, а **нас** обслуживающий
персонал! Ха-ха! **Танцуют все!** Белый танец! Алеха!

Алеха.

Пум-пум-пум-пум!
Пум-пум-пум-пум!
А я вот все люблю,
А я вот всех люблю:
Дюдюктивные романы,
Альбионские туманы,
И гавайские гитары,
И гаванские сигары,
И сионских мудрецов,
И сиамских близнецов...
Уй-уй-уй-уууу!

(*на мотив Петра Чайковского*)

Не ходи пощипывать,
Не ходи просма-атривать,
Не ходи прощу-упывать
Икры наши де-е-евичьи-и...

Витя (*под Кальмана, играя пузенью*).

За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?
За что, за что, о Боже мой?

К о л я (под советскую детскую песенку).

У меня водчонки нет,
Даже вермутишки нет...

П р о х о р о в (подхватывает).

Только пиво, только воды!
Только воды, только пиво!
И никто у нас не пьян!
Лейте, лейте, сумасброды.
Одуряющее диво
В торжествующий стакан!
Пиф-паф!

Подходит к баклаге со спиртом, наливает, в себя опрокидывает. То же самое хотели бы сделать и другие. Но Г у р е в и ч их останавливает.

Г у р е в и ч. Чуть попозже. Клейнмихель, подойди сюда. Я должен сообщить тебе ограду: твоя мама — не умерла! Она жива. Пашка ее не убивал! (Наливает ему.)

С е р е ж а (прижимая налитое к сердцу). Ура! Моя мама жива!

П а ш к а. Ура! я ее не убивал! (Мгновенно выхватывает кружку из рук С е р е ж и и залпом выпивает.)

Г у р е в и ч.

Ты ловок, Паша, как я погляжу.
Но здесь ты не сорвешь рукоплесканий.
А вот по морде смажут — это точно —
«Приватно и в партикулярной форме».

П р о х о р о в. Рене Декарт?.. (К Паше):

Короче, друг любезный,—
Ступай в манду по угренней росе!

П а ш а получив от старосты пощечину и икнув, присоединяется к пляшущим.

Г у р е в и ч. Нет, ты только посмотри, староста, на это вот игровое и рвотное. Значит, все — все было не напрасно, все революции, религиозные распри, взлеты и провалы династий, Распятие и Воскресение, варфоломеевские ночи и волочаев-

ские дни,— все это, в конечном счете, только для того, чтобы комсорг Еремин мог беззаветно плясать казачок... Нет, тут что-то не так... Подойди, Сережа, я тебе еще чуточек налью...

С е р е ж а перекрестившись, выпивает.

Г у р е в и ч. Ну, как поживают твои веселые космонавты Космуса?

С е р е ж а (*одушевленный пятью глотками — приплясывает в такт остальным*).

Космонавты и тагары,
Космонавты и татары —
Все неправда. Все говно.
Уносить свои гитары —
Им придется все равно.
Эй-я!

Г у р е в и ч. Вот это да —...А Вова? Где Вова? Что с Вовой?

В о в а сидит в постели, затылком опершись о подоконник, без движения, и почему-то с совершенно открытым ртом.

Г у р е в и ч. Поди-ка взгляни, Прохоров, что с ним?

П р о х о р о в. Дышит! Вовочка дышит! (*Напевает ему из Грига*). «Идем же в лес, друг милый мой, где нас фиалки ждут. Идем же в лес, в зеленый лес, где нас фиалки ждут...»

В о в а не откликается ни звуком. Рот по-прежнему открыт. А головку его уже обдувает Господь.

Г у р е в и ч. Однако!.. Там (*кивает в ту сторону, где происходит маевка медперсонала*). Там веселятся совсем иначе. Ну, что же... Мы — подкидыши, и пока еще не найденыши. Но их — окружают слетни, а нас — легенды. Мы — игровые, они — документальные. Они — дельные, а мы — бесиредельные. Они — бывальи́й народ. Мы — народ небывальи́й. Они — лающие, мы — пылающие. У них — поэзывы..

П р о х о р о в. А у нас — порывы, само собой... Верно говоришь! У них — жисть — жистянка, а у нас — житие! У нас во как поют! а у них — какие-нибудь там Ротару и Кобзоны.. А я бы эту прекрасную Софию Ротару угопил бы — вот только не

знаю, где лучше, в говне или проруби. А прекрасного Иосифа Кобзона за чекушку продал бы в Египет... Хо-хо! только и делов! (*Сепаратно выпивают по совсем махонькой. Остальные, тщательно облизываясь стоят в стороне.*)

П р о х о р о в. И вообще — в России пора приступать к коренной ломке всего самого коренного!.. Улицы я уже переименовал, эстрадных вокалистов — утопил. Теперь уже пора бы...

Г у р е в и ч. Да, да Теперь уже пора бы менять эти клетки. А то — ну, что за преснятина? Юбилейная, Стрелецкая, Столичная... Когда я это вижу, у меня с души воротит. Водяра должна быть как слеза, и все ее подвиды должны называться слезно. Допустим, так: Девичья Горючая — 5 рублей 20 копеек. Мужская Скупая — 7 рублей. Беспризорная Мутная — 4.20. Вдовья Безутешная — тоже не очень дорого: 4.40. Сиротская Горькая — 6 рублей. Krokodilovaia importnaia — червонец. Ну, и так далее... Но только — прежде чем ломать Россию, на глазах изумленного человечества, надо вначале ее просветить...

П р о х о р о в. Вот-вот. Просветить. Наша запущенность во всех отраслях знания... подумать страшно. Я, например, у очень многих спрашивал: сколько все-таки граней в граненом стакане? Ведь у каждого советского стакана одинаковое количество граней. И представь себе — никто не знает. Из 145 опрошенных только один ответил правильно, и то незначай. Пока не поздно, я думаю, не начать ли в России эру Просвещения?

Г у р е в и ч. Так мы уже ее начали. Пока — в пределах 3-й палаты. А там, смотришь... Ну, чем был русский народ до нас? Вялый демонизм, унылое сумасбродство. Бесшабашность, сотканная из зевот. Ни в ком — никакого благородия, никакого степенства, ни малейшего превосходительства. А уж о высочестве, тем более о величестве — и говорить не приходится. Когда я, будучи на воле, глядел на наших русских, я бывал иногда так переполнен скорбью, что с трудом втискивался в автобус...

П р о х о р о в. (*патетически*). Я тоже. Я считаю, что мы немножко недоделаны и недоношены. Но в нас есть **заколдованность**. Я чувствую это по себе, а сегодня ночью — особенно...

Г у р е в и ч. Ничего, ничего. Доносим, расколдуем, доделаем. А если в ком есть еще полузадушенность и недорезанность, — так это тоже легко поправимо...

Тем временем А л е х а, В и т я, К о л я, С е р е ж а и М и х а л ы ч медленно приближаются к двум мыслителям и смотрят на них с разной степенью обожания.

П р о х о р о в. Алеха!?

А л е х а. Мы все тут.

П р о х о р о в. И хорошо что все.

Г у р е в и ч. Вот именно. Там, на вонючем Западе, там тоже **все** только и делают, что стоят в очередях за бесплатной похлебкою. Ватикан им выдает эту похлебку или еще кто — не знаю,— но они глядят при этом в сторону России и думают ... о чем уж они там думают, я тоже не знаю... но, как бы то ни было, мы должны быть постоянно начеку и готовить себя к подвигу! А вы — готовите себя — к подвигу?

В и т я. Еще как готовим!

Г у р е в и ч. Ну, вот и прекрасно. (*Обносит напитком всех поочередно. Продолжает при этом*). В сущности, мне их жалко. Мы с вами сейчас тоже тремся в очереди — но ведь не за жалкой ватиканской похлебкой, а за предметом высшей категории! Это тоже надо понимать!.. И потом — они разобщены: у каждого **свой** трепет, **свое** урчание в животе. У нас — один трепет и одно урчание!

А л е х а. Ура!

П р о х о р о в. Это ты к чему, дурак, крикнул «Ура!»?

А л е х а. А потому, что они разобщены. И мы их передущим, как котенков!

П р о х о р о в. Как ты думаешь, Гуревич: передущим?

Г у р е в и ч. Да душисть-то пока зачем? Так уж сразу и — душисть! Миротворнее нас — нет среди народов. Но если **они** и дальше будут сомневаться в этом, то в самом ближайшем будущем **они** и впрямь поплатятся за свое недоверие к нашему миролюбию. Ведь им, живоглотам, ни до чего нет дела, кроме самих себя. Ну, вот Моцартова колыбельная: «Спи, моя радость, усни... Кто-то вздохнул за стеной — **что нам за дело, родной?** Глазки скорее сомкни». И так далее. Им, фрицам, значит, наплевать на чужую беду, ни малейшего сочувствия чужому вздоху. «Спи, моя радость»... Нет, мы не таковы. Чужая беда — это и наша беда. Нам дело есть до любого вздоха, и спать нам некогда. Мы уже достигли в этом такой неусыпности и полномочности, что можем лишить кого угодно не только

вздоха, тяжелого вздоха за стеной,— но и вообще вдоха и выдоха. Нам ли смыкать глаза!

Прохоров. Я понял так, что все-таки душишь. Только вот не знаю, с кого начать. Наверно, все-таки с фрицев.

Гуревич. Помилосердствуй, Прохоров! Каких еще фрицев? Для того, чтобы фриц не дышал, нам не понадобится даже качнуть левой ногой! Да фриц уже, по существу, и не дышит!

Витя. Я бы голландцев наказал, за их летучесть...

Михалыч. Тогда уж и жидов, за их вечность...

Прохоров. Тссс!.. Я предлагаю, Гуревич, лишить адмирала следующей порции напитка. И заодно разжаловать его в юнги. За вульгаризм...

Гуревич. Мы, пожалуй, так и сделаем.

Алеха. А меня вот лично интересуют Британские острова...

Гуревич. Ну, с Британией нечего и сюсюкать. Уже Геродот не верил в ее существование. А почему мы должны быть лучше или хуже Геродота? Надо, чтобы все достоверно убедились, что ее и в самом деле не существует,— а для этого приложить одно, самое незначительное усилие...

Прохоров. А янки в это время пусть чуточек потрепещут. Пусть у них будут поганые, бессонные ночи, нечего с ними гудбайничать...

Коля. Но вот... если мне прикажут душишь скандинавов... так за что мне их душишь? Они ведь такие белокурые-белокурые, такие нивчем-невиноватые-нивчемневиноватые...

Гуревич. Вы ошибаетесь, Коля. Их надо пропесочить, для начала, за то, что своих зловонных викингов и конунгов они считают пращурами наших великих князей. И потом — за Квислинга и вообще за то, что они мореплаватели...

Прохоров (*подхватывает*). ...и за то, что они вольно разливают по обоим, нашим, исконно русским полюсам. Стервецы они, а никакие не мореплаватели... К ногтю!— я так считаю...

Михалыч. До скорой встречи, дорогие товарищи моряки! А бескозырку передайте Настеньке. Всё. (*Как простреленный навьлет, валится у обочины постели и хrapит навеки*.)

Гуревич. Что это с ним? Шутит он?... или..?

Прохоров. Юнгу просто немножко укачало нашими ипгормами. Это ничего... С итальяшками, например, мы и без

него управимся. Пустее племени Господь от веку не сотворял. Им бы только все время обниматься, и ничего другого у них нету. Взять хотя бы этих... Сакко и Ванцетти. Вообще-то обниматься пусть обнимаются. Сакко прекрасен и телом и душой. У Ванцетти — души и в помине нет, зато какие формы! Что спереди, что сзади! Но формы-то формами, а зачем бросать в еловый костер, как головешку, нашего партийного товарища Джордано Бруно? Да будь я итальянец, как бы я осмелился взглянуть в русские глаза после этого!..

А л е х а. Эх, разбередил ты меня этими... формами прекрасной Ванцетти! Полячку бы мне!..

П р о х о р о в. Не будет полячек!!

В и т я. А их-то за что? За Тараса Бульбу?..

Г у р е в и ч. Плевать в твою Бульбу!.. За то, что они опередили нас и в географической приближенности к Европе, и..

П р о х о р о в. И в исторической ненависти к жидам...

А л е х а (*в подражание своему патрону*). У меня есть предложение: разжаловать товарища Прохорова в мои ординарцы, **за вульгаризм**, и лишить предстоящей рюмахи...

Г у р е в и ч. Ну, это уж слишком! Шутнику надо просто дать немножко по шеям...

П р о х о р о в подходит к А л е х е и слегка дает ему «по шеям».

Г у р е в и ч. Боже! Они опять всё перепугали!.. Ну, да ладно. Скажите-ка мне лучше, вы, готовые к подвигу: а кто из вас любит французииков?

В с е. Все!

Г у р е в и ч (*саркастично*). Все?

В с е (*опомнившись*). Никто!

Г у р е в и ч. Ну, то-то же. Тут уж слишком обильный криминал: и правый бок Багратиона, и живот Александра Пушкина, и левый глаз Кутузова, и...

К о л я (*пьяненький*). Но это же турки!.. глаз у Кутузова...

П р о х о р о в. Причем здесь турки? Какие еще турки?! Всех турок уже давно перестрелял из ружья наш болгарский товарищ Антонов, на площади святого Петра в Риме. А я — лично, видел хорошую картину: на ней изображен Кутузов, и он въезжает на коне не помню куда, но с двумя глазами...

Г у р е в и ч. В том-то все и дело. Русский не должен быть одноглазым. Вот **они** — они могут себе позволить эту роскошь,

все эти адмиралы Нельсоны-Рокфеллеры. А мы — нет, мы не можем. Тревожная обстановка во Вселенной обязывает нас глядеть **в оба**. Да. (*Аплодисменты.*)

К о л я. Но... Лиссабон...наш такой красивый Лиссабон!..

П р о х о р о в. А это еще что за Лиссабон? Что такое вообще — Лиссабон? Облить его водой со всех сторон и никого не выпускать! Вот так. Или — поджечь его со всех сторон и никого не выпускать!..

Г у р е в и ч. Одно только слово «Лиссабон» — мне уже противно слушать. У меня разливается желчь, когда при мне говорят «Лиссабон». А разве должна разливаться желчь у человека? Нет, она разливаться не должна... Значит, и Лиссабона быть не должно! (*Аплодисменты.*) Тебе, Коля, нужен Лиссабон?

К о л я. Не-а...

Г у р е в и ч. А тебе, Витя?

В и т я. Нисколько.

Г у р е в и ч. Вот видите: на свете существуют вещи, решительно никому не нужные,— цветут, благоухают и существуют. Тогда как человеку не хватает самого насущного. Короче, Лиссабона не будет... Но при этом — могу я рассчитывать на своих стратегических союзников?

В с е (*вразнобой*). Можешь, можешь, Гуревич! Давай еще шлепнем по маленькой!..

Г у р е в и ч. Самое время! (*Шлепают по маленькой*).

С е р е ж а. Добрый день, быть может вечер, я знать, конечно, не могу, привет от чистого сердечка я передать тебе спешу. Здравствуй, покойная мама, с приветом к тебе твой сын Федя. (*И вдруг захохотал — необычайно — ведь его никто не видел даже улыбающимся. Похохотав и закрутившись волчком, падает на пол, бьется в странных пароксизмах.*)

В с е на время немеют. Музыка.

Г у р е в и ч (*нахмурившись*). Ну, что ж... Мама оказалась жива — и он от этого оказался мертв... В истории уже бывали случаи смерти от внезапно доставленного радостного известия. Мишель Монтень.

С т а с и к (*сбрасывает с себя позу мавзолейного часового и снова начинает пульсировать из угла в угол палаты*). Рожденные под знаком качества пути не помнят своего. Но мы — отребье

человечества — забыть не в силах! Расслабьтесь, люди, потрясите кистями. И, пожалуйста, не убивайте друг друга,— это доставит мне огорчение. Бог мудрее человекoв! Держитесь за ризу Христову! *(И снова окаменеваеt: на этот раз в коленопреклоненной и молитвенной позе.)*

Гуревич *(вдохновенно продолжает)*. А если нет Лиссабона — понятное дело, остальные континенты проваливаются сами собой... Начиная с азиатского Востока. Это пагубное и злоещее скопление нечистот — не имеет права **БЫТЬ!** Вот вам восточная надпись на камне, надгробная,— и ведь Евангельских времен!—«Всеобщий любимец, он был полон очарования. Не щадя никого, истреблял он всех без остатка». *(Смех в зале.)* Ну, что прикажете делать с такими народами? А ничего не делать! Они издохнут сами по себе. У них то и дело грохочут демографические взрывы, фурункулезы, хиросимы, напалмы, нагасаки, и вообще жрать нечего. Сами по себе — тихо вымрут, для очищения земли и небес! А все остальное довершит клещевой энцефалит, грызня марксистских диктатур и манчжурская лихорадка. Близятся сроки Воздания! Выпьем по махонькой, дорогие собратья, чтобы приблизить эти строки!..

А л е х а. Я, например,— за манчжурскую лихорадку! *(Первым выпивает, крикает и пробует возобновить представление.)*

Пум-пум-пум-пум.
 Пум-пум-пум-пум.
 Вот он, вот он, конец света!
 Завтра встанем в неглиже,
 Встанем-вскочим: свету нету,
 Правды нету,
 Денег нету,
 Ничего святого нету,—
 Рейган в Сирии уже!

Х о р *(уже успевших выпить и прокрякаться)*.

Ничего на свете нету,—
 Рейган в Вологде уже!

П р о х о р о в *(зычно)*.

Этот день победы!!

Х о р .

Прохором пропа-ах!
Это счастье с белею на устах!
Это радость с **пятаками на глазах!**
День победы!..

Г у р е в и ч. Ша! Пьяная бестолочь! вы, оказывается, ничего не поняли из моих вдохновенных прозрений! вы всё перенапутали...

П р о х о р о в. Мы все отлично поняли, Гуревич. Но только ты забыл про **то**, что он есть ООН и Перес де Куэльяр... И когда начнут проваливаться континенты...

Г у р е в и ч. Ха-ха! Перес де Куэльяр, конечно, схватится за свою перуанскую голову. Вы видели когда-нибудь людей с перуанскими головами? А вот у него — перуанская голова, и он-таки за нее схватится. Ну, и пусть. Все равно ведь, никто за нас не будет спасать зачумленный мир! И вы, все, — пируя, не забывайте о чуме! Пир — это хорошо, но есть вещи поважнее, чем пир. Генерал Хейг. И веруйте в конечное русское торжество, поскольку с **ними** — крестная сила, и ничего больше. С **нами** — все остальное!..

Звук вначале непонятный. Будто кто-то с размаху затворил за собою дверь на щеколду. Все поворачиваются. А это — В о в а. А это — Вовин рот, раскрытый в продолжении всякого акта,— захлопывается навсегда. Почти в это же время обрываются храпы комсорга Е р е м и н а под белой простыней. За сценой — «Липа вековая».

К о л я (*шатаясь, подходит к В о в е и прикладывает ухо к его сердцу*). Вова! Дядя Вова! Куда ты уходишь?!. Не уходи. В лесу-то ведь сейчас: как хорошо! и дух такой духовитый... (*по-ребячески плачет*) ...гамбузии плещутся в пруду... расцвели медуницы...

В о в а не откликается.

П р о х о р о в. Ну, почему бы действительно не отпустить человека в деревню?.. Ведь просился же, каждый день просился,— и всякий раз отказывали. Вот и зачах человек от тоски по лесным пространствам...

Г у р е в и ч. За упокой...

Четверо оставшихся, под все дрящущую «Липу вековую», выпивают за упокой.

Прохоров (*в упор смотрит на Гуревича*). И чем же все-таки кончится?.. Вся эта серия наших побед над зачумленным миром?

Гуревич. О! Вначале — конечно — русская нация будет чувствовать себя счастливо и триумфально. Как у Антихриста за пазухую. Но потом... Подцепив у побежденных все их недуги, они захиреют, и ничего не останется от их бывшего исполинства, они рассеются пылью по лицу земли. Вернее, их будет заносить — муссонами со стороны Яффы — их будет заносить все дальше и дальше на север, в сторону безжизненных просторов... все дальше на север, где дни еще облачнее, еще короче и, следовательно, где умирать еще безболезненнее и легче. Франческа Петрарка. И вот — пока русские летят в назначенную им бездну — народ Иеговы...

Прохоров. Наконец-то! Народ Иеговы! Мы с Алехой уже занимаем произраильские позиции. То есть единственно разумные. То есть предварительно даже выбивая из этих позиций самих израильтян!..

Гуревич. Лихо!.. Бахрейн, Кувейт и Эмираты, известное дело, обрекут нас на нефтяной голод...

Прохоров. Но ведь их к тому времени не будет: ни Бахрейна, ни Кувейта...

Гуревич. Ну так что ж, что не будет. Ты плохо знаешь арабов. Даже когда их самих уже и нет,— их упорствующий фанатизм и бестолковость все равно — остаются. Так вот, они обрекают нас на нефтяной голод. А нам — наплевать. Зачем она, собственно, нам нужна, эта нефть? Может, тебе, Витя, она нужна?

Витя. В гробу я ее видал.

Гуревич. Даже Вите она не нужна. Мы ее заменим чем-нибудь, эту поганую нефть. Вермутом, например, правда, Коля?..

Коля продолжает плакать, все тише, тише, и не отвечает ничего.
«Липа вековая» продолжается.

Гуревич. Итак, я поведу вас тропую грома и мечты! и шестиконечная звезда Давида будет нам путеводительной и

судьбоносной!.. Говорят, звезда его беспутного сыночка Соломона была уже пятиконечной. Это нам не годится, Соломон Давидыч, имея восемьсот штук наложниц и...

Прохоров. Вот ведь до какой степени можно изблядываться: пятиконечная звезда!

Гуревич (*одушевляясь все более*). Да здравствует Эрец Израиль до самого Евфрата.

Прохоров.

Зачем сужать? **От Нила** до Евфрата!

Гуревич.

Чего мельчать? От Нила до Евфрата —
Все это хорошо, но мелкогато,
А от Евфрата — на восток, восток...—
И вплоть до Нила!..

Алеха. От Синайского полуострова — до Кольского!..

Гуревич. А если кто косо взглянет на нас — **если еще будет кому** глядеть на нас косо — будет как в Талмуде: Бен-Зама взглянул — и потерял рассудок. Бен-Азай взглянул — и умер. И да испепелит их Провидение! И да разметет их Господь божественной Метлою Своею!.. И так, выпьем за союз сердец, покорных высшему жребию!

Прохоров. За союз сердец, связующий Россию и Израиль!..

Гуревич. За здоровье Ромена Роллана!.. сейчас, я вспомню, почему мне пришло в голову выпить за этого лысого черта... Да, да, вспомнил. «И будь во всем Израиле хоть один праведный, говорю я вам, вы не имели бы права осуждать весь Израиль!» Роллан, письмо к Верхарну. И столицей мира будет — что бы вы думали? Иерусалим? Ничего подобного! Кана Галилейская — вот что будет столицей мира! Ха!

Алеха (*басит*). И будешь ты столицей ми-и-и-и... (*Не закончив, оседает на койку.*)

Гуревич. Распростертие крыльев наших будет во всю ширину земли твоей, Эммануил! Не лишайте себя предрассветных чувств! Где твоя труба, лучший трубач Советского Союза Тимофей Докшицер?! Свистать всех наверх! Еще по **бокалу!** За солнечное сплетение обстоятельств!..

Алеха (*галосам хриплым и павшим*). Ура..

В и т я выпив, тоже оседает на койку, рядом с А л е х о й. Его начинает неудержимо рвать, рвать даже шахматными пешками и костяшками домино. Сотрясаясь рвотою, делает несколько конвульсивных движений ногами — падает на постель, бездыханный. Г у р е в и ч и П р о х о р о в загадочно смотрят друг на друга. Свет в палате — неизвестно почему — начинает меркнуть.

С т а с и к (*встает с колен. Забегал в последний раз*). Что с вами, люди? Кто первый и кто последний в очереди на Токтогульскую ГЭС? Отчего это безлюдно стало на Золотых пляжах Апшерона? Для кого я сажал цветы? Почему?.. Почему в 1970 году ЮНЕСКО не отметило 2 тысячи лет со дня кончины египетской царицы Клеопатры?!. (*И снова замирает, на этот раз со склоненной головою и скрестивши руки на груди, а-ля-Буонапарте в канун своего последнего Ватерлоо. И так остается до предстоящего через несколько минут вторжения медперсонала.*)

П р о х о р о в. Алеха!..

А л е х а (*тяжко дышит*). Да... я тут...

П р о х о р о в (*тормошит*). Алеха!

А л е х а. Да... я тут... прощай, мама... твоя дочь Любка... уходит... в сырую землю... (*Запрокидывается и хрипит*)... мой пепел... разбросайте над Гангом... (*Хрипы обрываются*.)

П р о х о р о в. Так что же это... Слушай, Гуревич, я видеть начинаю плохо... А тебе — ничего?.. (*уже исподлобья*).

Г у р е в и ч. Да видеть-то я вижу. Просто в палате потемнело. И дышать все тяжелее... Ты понимаешь: я сразу заметил, что мы хлещем чего-то не то...

П р о х о р о в. Я тоже — почти сразу заметил... А ты, если **сразу** заметил, — почему не сказал? принуждал почему?..

Г у р е в и ч. Да кто же принуждал? Мне просто показалось...

П р о х о р о в. Что тебе показалось?.. А когда уже передохла половина палаты, тебе все еще **казалось**?.. (*Злобно*). Ум-мысел у тебя был. Ум-мысел. **Вы** же не можете... без ум-мысла...

Г у р е в и ч. Да, умysel был: разобщенных — сблизить. Злобствующих — умиротворить... приобщить их к маленькой радости... внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до конца дней... Другого умысла — не было...

П р о х о р о в. Врешь, ползучая тварь... Врешь... Я знаю, чего ты замыслил... Всех — на тот свет, всех — под корень... Я с самого начала тебя раскусил... Ренедекарт... Ссучара... (*Пробует подняться с кровати и с растопыренными уже руками надви-*

гается на спокойно сидящего Гуревича. Но уже не в силах – что-то отбрасывает его назад, в постель). Сссученок...

Гуревич. Выражайся достойнее, староста... Что проку говорить теперь об этом? Поздно. Я уже после Вовиной смерти – понял, что поздно. Оставалось только продолжать. Заметить-то я **сразу** заметил. А вот убедился – когда уже поздно...

Прохоров. Ты мне просто скажи – смертельную дозу... мы уже перевалили?..

Гуревич. По-моему, да. И давно уже.

Обмениваются взглядами, полъями бездонного смысла. Продолжает темнеть.

Прохоров. Пиздец, значит... Ну, тогда... Там еще чуть-чуть плещется на дне... Ты слушай: прости, что я в сердцах на тебя нашипел... На тебе нет никакой вины... Налей, Гуревич, весь остаток – пополам. Ты готов?

Гуревич (*совершенно спокойно*). Готов. Но только **здесь** умирать – противонатурально. Меж крутых бережков – пожалуйста. Меж высоких хлебов – хоть сейчас... Но здесь!.. (*Чокаются кружками. Дышат еще тяжелее прежнего.*) И потом – мне предстоит вначале большое дело... один обещанный визит... (*Прохоров, ухватившись за горло и сердце, – клонится и клонится к подушке.*)

Гуревич (*машинально продолжает долбить*). Они там маевничают... У них шампанское льется со стерлядями... У них райская жизнь, у нас – самурайская... Они .. бальные, мы – погребальные... Но мы люди дальнего следования... Сейчас мы встанем... Изверг естества... неужели с ней? Уже несколько часов – с ней?.. А я-то: о Кане Галилейской. ...«Гуревич, милый, все будет хорошо...» – так она сказала. Сейчас мы посмотрим, до какой степени все будет хорошо... Сейчас, сейчас... (*Вскакивает и опять обрушивается на стул.*)

За сценой – или изнутри стен – упадочническая песня Надежды Обуховой: «Ой, ты, ночка, ночка тем-омная...» etc.

Гуревич. Ты звал меня на ужин, Мордovorот, так я – к завтраку... Чудотворная девка! Натали!.. Пока я тут сижу и приобретаю модальные оттенки, они в это время... Господи, не

мучай... они в это время... *(Роняет голову на тумбочку и сцепляется в волосы.)*

Г о л о с с в е р х у *(голос, в котором не столько императива, сколько насмороченного металла)*. Владимир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, на работу, на хуй, на хуй, на хуй, на хуй.

Г у р е в и ч *(поднимает голову и смотрит на птицу с недоумением безмерным)*. Боже милосердный! **Это** еще что? И почти ничего не вижу... Библию мне и посох — и маленького поводыря... За малое даяние пойду по свету — благовестить. Теперь я знаю, что и о чем — благовестить...

Г о л о с с в е р х у. Влади-и-мир Сергеич! Владимир Сергеич! На работу, на работу, на работу *(ускоренно)* на хуй — на хуй — на хуй — на хуй...

Г у р е в и ч *(с тяжким трудом приподымается со стула, сцепившись в тумбочку всей душой — только б не упасть, только б не упасть)*. Пока еще хоть немножко осталось зрения — я доберусь до тебя, я приду на завтрак... Ссскот... *(отрывается от тумбочки. Качнувшись, делает первый шаг, второй)*.

Г у р е в и ч. Ничего, я дойду. *(Третий шаг. Четвертый. Спотыкаясь в темноте о труп контр-адмирала — падает. Медленно, ухватившись за спинку чьей-то кровати — встает.)* Я дойду. Ощупью, ощупью, потихоньку. Все-таки дотянусь до этого горла... Ведь не может же быть, Натали, чтобы все **так и оставалось**. *(Почти совсем темно. Пятый шаг. Шестой. Седьмой.)*

Г у р е в и ч. Боже, не дай до конца ослепнуть... Прежде исполнения возмездия. *(И снова падает, рассекая голову о край следующей кровати. Две минуты беспомощных и трясущихся, громких рыданий.)*

Г у р е в и ч. Дойду. Доползу... *(Как ему это удастся? — снова встает во весь рост. Руками обшаривая перед собою пространство, делает еще пять шагов — и он уже у дверного косяка)*: Сейчас... чуть передохну — и по коридору, по стенке, по стенке...

П р о х о р о в, до того лежавший спокойно, приподымает голову — и издает крик — всполошивший все палаты, всех спящих и неспящих медсестер и медбратьев в дальней ординаторской и в докторском кабинете. Так в этом мире не кричат. Вздуродраженные, полусонные, подавшие постовые, с Р а н и н с о н о м во главе, — по освещенному коридору приближаются к 3-й палате поступью Фортинбрасов. Пер-

вое, что им предстает,— едва дышащий Гуревич, уже совсем слепой, с синим и окровавленным лицом. Боренька-Мордворот пинком отшвыривает его от входа в палату. Все врываются.

Ранинсон (*перекрывая разногласицу и гвалт*). Срочно к телефону!! На центральный и в морг!!

Постовые медсестры (*вразной*). «А один-то! Один умер стоя! скрестивши руки!.. и до сих пор не падает, к стене привалился» — «Весь запас метилового — подчистую!» — «Нет, один, по-моему, еще дышит...» — «Кто же так кричал?» И пр. И пр.

Куча санитаров (*толстых с носилками*). Сколько я помню, никогда такого урожая не случалось. (*Начинается вынос трупов, поочередно. Конец финала второй симфонии Сибелиуса.*)

Боренька. Наташа, где твои ключи?!

Натали (*ополоумев, даже не плачет*). Ой, не знаю... Ничего не знаю...

Одна из медсестер. А Колю-то, Колю зачем понесли? Он ведь будто немножко дышит...

Ранинсон (*язвительно*). Ничего! Тоже — в морг! Вскрытие покажет, имеем ли мы дело с клинической смертью или клиническим слабоумием!..

Боренька (*поддевая ногой раненую голову Гуревича*). А с этим — что делать?

Ранинсон. Пронаблюдайте за ним. А я — к телефону. Трезвону сегодня не оберешься.

Боренька (*за ноги втаскивает Гуревича в середину палаты. Слепцу и зрителю почти ничего не видно. Бореньке видно все*). Ну, как поживаем, гнида?.. Тоскуем по крематорию?.. Вончоее ваше племя!.. (*Серия ударов в бок или в голову тяжелым ботинком.*) Мало вам было крематориев!.. Всех ведь опоил, ссрань еврейская. Всех!

Гуревич (*хрипло*). Я же — ничего не знал... (*Еще удар*)... Я же слепой... Я ничего не вижу... (*Удар*).

Натали (*из полутьмы*). Что же теперь будет-то? Что же теперь будет-то? Мама!.. (*Толчкообразно всхлипывает. Плачет, как девочка.*)

Боренька (*при каждой его реплике Сибелиус на время отступает, и вторгается музыка, которая, если переложить ее на язык обоняний, — отдает протухшей поросятиной псиной и паленой шерстью*). Ослеп, говоришь? ссучье вымя!.. раньше ты

жил как в Раю: кто в морду влепит — все видеть. А теперь — хуй чего увидишь! (*Влепляет еще, потом опять в голову.*)

Н а т а л и (*истерично*). Борька! Переста-ань! Перестань! Ведь это с ума сойти!.. Переста-а-ань же! (*Закатывается в клопочущих рыданиях.*)

Б о р е н ь к а (*со все возрастающим остервенением*). Душегубки вам строить надо, скотское ваше племя! (*Серия ударов в почки, рычание слепого и сопение Медбрата.*) Пидор гнойный! Тварь ебучая! Ссскотобаза!..

Занавес уже закрыт, и можно, в сущности, расходиться. Но там — по ту сторону занавеса — продолжается все то же, и без милосердия. Рьк Г у р е в и ч а становится все смертельнее. Оттуда — из палаты — сквозь занавес — вылетает к зрителям куль с постельным бельем; следом тумбочка, и рассыпается вдребезги. Потом — клетка с уже **околевшим ото всего этого** попугаем.

Никаких аплодисментов.

Ранней весной 85 г.

КРОХОТНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

«За музыкою только дело», без этого нельзя. Кроме уже рассованных по тексту авторских указаний, можно использовать (совсем негромко) русские народные песни: вроде «Позарастили стежки-дорожки», «На Муромской дорожке», лучше оркестровые вариации на эти темы — (в 3-м акте). Русскую песню «У зари-то у зореньки» (в 1-й половине 4-го акта). 1-я часть 3-й симфонии Малера, совсем засурдиненно, в 1-м акте. Какое-нибудь из самых мерных и безотрадных Andante Брукнера в 5-м.

Ну, и так далее.

ДИССИДЕНТЫ, ИЛИ ФАННИ КАПЛАН *

Наброски к трагедии

ВОТ СЛОЖИЛСЯ КРУГ ДЕЙСТВУЮЩИХ В ДРАМЕ ЛИЦ:

Мишель Каплан — хозяин заведения — Приемного пункта посуды, в котором он живет, и действие происходит на исходе 2-го дня его белой горячки. Почему его «смердный дом» народ называет «Мавзолеем». Лжедмитрий 1, Лжедмитрий 2 — его полоумные подсобники-подручные, приемщики винной посуды.

Роза — любовница Каплана.

Фанни Каплан — любимая дочь Каплана с врожденным, но трогательным идиотизмом.

Юродивый Виталик — в конце гибнет под грузом ящиков с бутылками, которые падают от падения незнаемого человека в «сером». «О, где же необольстимый судия?! — набирает эти слова в “тапочек”, обращаясь к императору Хирохито. — Гибну — потому что взломали стены в Сантьяго-де-Куба, штурмуют казармы Монкада.

Аспазия (в валенках) — возраста непостижимого; постоянная поставщица бутылок, подруга Розы.

Прозерпина (с рюкзаком под мышкой) — товарка Аспазии с соседней территории по сбору бутылок (старуха).

Человек в «сером» — член КПСС «дядя Валера» — Рьжкий детина по кличке «Мамзелька».

Остальные — диссиденты, в очень разной степени умственной протрации.

«Длинный перечень» (очередь) — так и не появляющиеся, чтобы действия «не оживать».

«Ни одного героя — кроме Фанни — ни одного в разумном здравии, и это хорошо, потому что я в добром здравии за жизнь не встречал отнизу доверху».

Постоянно тревожно.

Музыка в трагедии не исполняется. А приводится в исполнение. Пьеса закончится сокрушительно. Не останется никого — НИКОГО? — никого. — А зачем НИКОГО? — А зачем оставаться. Жребий брошен. Крут очерчен. Корабли сожжены.

Начало: Каплан. С этими людьми мне НЕ О ЧЕМ ПИТЬ.

Странное дело — и Лжедмитрий 3 под занавес полоумный.

* Печатается по подборке из архивов писателя, сделанной Г. Ерофеевой.

1-й АКТ

Очень бойко принимают посуду Л ж е д м и т р и й 1 и Л ж е д м и т р и й 2. Но слишком часто закрывают «окошко» и размышляют о судьбах Вселенной под грохот и стуки в окошко (нетерпеливой очереди). Обычно они справляются о времени у сидящего на полу В и т а л и к а:

— Виталик! Набери номер королевы Нидерландов Беатрикс и узнай — пора ли открывать лавочку.— *В и т а л и к снимает «тапочек» — прикладывает к уху — долго молчит — как в телефонную трубку:— Пора!*

Внутренняя архитектура приемного пункта. Сдвоенные, счетверенные ряды ящиков уходят вдаль, меж ними остаются мокрые и нечистые пустоты — превосходные места действия, поскольку почти совершенно скрыты от зрителей. Да и зачем зрителю видеть все. Ему лучше б вообще не видеть. Такого же суждения и приемщики — Л ж е д м и т р и й 1 и 2: окошечко приема такое махонькое, что сдающим посуду занудам приходится пропихивать свой товар, изогнувшись в поясе, а посуде продвигаться к Л ж е д м и т р и я м, лежа на боку.

Пока это окошечко наглухо закрыто, но остается средоточием 1-го акта. Л ж е д м и т р и й 1 и Л ж е д м и т р и й 2 сидят от него на расстоянии и беседуют вот о чем:

Л ж . 1. И ты куда-никуда весь вечер не выходил, Дима, и ничем-ничем не занимался? Ха-ха-ха... Ведь этот фармазон, который отбил у тебя твою белую попочку...

Л ж . 2. Не говори мне об этом, Митя. И что значит: ничем-ничем не занимался? Я сокрушен был сердцем. А разве это не занятие? И так начиналось крушение: я погрустил, погрустил, потужил—потужил, а потом кручиниться начал. Кручинился—кручинился, а потом начал сызнава тужить, но еще без сокрушения сердца. И вот так часа два-три грустил, как Богоматерь, как вдруг почувствовал в себе прилив какой-то новой кручины... И от этого совсем пригорюнился... Какое качество, Митя, ты больше всего ценишь в человеке?.. скажи мне...

Л ж . 1. Пожалуй, незадачливость. Я и тебя за это люблю. И матушку—Родину люблю за это же самое. Но ты ведь юн, а Родина готовится к своей кончине... Теперь входит в моду все на свете делать посмертно. Так вот: я бы, посмертно, лишил мою Родину ее материнских прав.

Л ж . 2. Ты, Митя, бездуховен и свиреп... Нельзя же...

Л ж . 1. Это я!— я-то свиреп и бездуховен!? Даже Каплан сказал мне, что духовных запасов у меня до хуя и больше. А высших упований — что собак нерезаных! А святых порывов — столько, что их до Ленинграда раком не переставить!..

Л ж . 2. (с укоризною). Митя!..

Л ж . 1. Ничего, ничего. Отчизна дышит на ладан, мне это понятно, как день. Как ее последний день. И кто там кого в этом обгонит, мне понятно тоже. Украина лидирует у нас по близорукости, Молдавия — по столбняку, Приморский край — по клещевому энцефалиту, Кольский полуостров — по аппендициту, Литва — по ревматизму, Якутия — по мочекаменным болезням, а Северная Осетия — по эндемическому зубу. А столица Москва — по функциональным расстройствам, психозам и реактивным состояниям. И грамотность не спасет. Да и о какой грамотности можно ляпать, коли уж мы живем в стране, где девяносто девять процентов взрослого населения ни разу в жизни не прочли и не слышали ни одной строчки Евангелия!..

Л ж . 2. Митя!.. ты сегодня еще не прочищал горла. Может, оттого у тебя такие клокотания и мизантропизмы?..

Л ж . 1. А что — у Каплана есть чего?

Л ж . 2. В маленьком столике: Киндзмараули.

Л ж . 1. О, ...мать! А что это такое?

Л ж . 2. Киндзмараули — это почти что Хванчакара!

Л ж . 1. Почти Хванчакара?

Л ж . 2. Почти Хванчакара!

Л ж . 1. Волоки.

За наглухо закрытым окошком приема начинаются понемногу мягкие щелчки и стуки и оппозиционные шепоты.

Л ж . 1 (.....). Киндзмараули! Хванчакара!

Л ж . 2 (появляясь). Хванчакара. Но почему-то в банке!..

Л ж . 1. Какая нам разница! Хоть в плевательнице!.. К горячим рыбным блюдам следует подавать Су-Псех, Абрау-Рислинг, Гурджаани, Цинандали, Алькадор, Сильванер и Баян-Ширей. А вот уже к филе, эскалопу, антрекотам и лангусту смело подавай Телиани, Саперави, Мукузани и Каберне.

Л ж . 2. А — если артишоки?

Л ж . 1. Что артишоки?

Л ж . 2. Ну, может, не артишоки, а дичь, цыплята, миндаль...

Л ж . 1. А миндаль зачем?

Л ж . 2. Да уж так: подали жареный миндаль... И вот — перед тобой миндаль...

Л ж . 1. Тогда Чхавери!

Л ж . 2. Чхавери и Киндзмараули!

Оба пьют, но по харям их видно, что это не Киндзмараули и не Чхавери, а что-то тошнотворнее и крепче.

Л ж . 1. Вот это, миленький, точно Киндзмараули. Ты еще больше почернел и выгнулся, но светлее стал. Нас с тобой не спугаешь, и вот почему. Я длинен, как летний день, а ты, как зимняя ночь, длинен. И еще разница: если тебя встретят темной полночью, то потребуют от тебя часы, и ты их отдашь, скажешь только: «мерси боку» или что-нибудь такое. А если встретят меня — сами, молча снимут с себя свои часы и отдадут мне. А я молча положу их в карман и скажу: «Вот и прекрасно. Вундербар». А они мне: «Чего—чего?» — «Ничего,— скажу,— вундербар». Нас поэтому и Роза даже в темноте различает. Заметил?

Л ж . 2. Как это она могла в темноте различить, если я ни разу не видел ее в темноте?

Л ж . 1. А на свету — видел?

Л ж . 2. Видел... А за левым ухом у нее родинка — отчего?

Л ж . 1. А это потому, что страстная очень.

Л ж . 2. А волоски из носопьри?

Л ж . 1. Ну, это уж точно — страстная, Дима, дальше некуда...

Л ж . 2. А за правым ухом родинки нет — это как понять?

Л ж . 1. Это значит, такая страстная, что и спасу никакого нет, потому и пусто за правым ухом...

Л ж . 2. А почему пониже щиколотки?..

Л ж . 1 (*прерывает его*). Ну, ты как Васютка Говнодав. Ему вообще пить нельзя: он от этого сразу падает в обморок. Особенно если пьет в бабьей компании — они его так корежат, они его так пронзают, что он берет и шлепается в обморок. В один из этих обмороков он подхватил себе гонорею... а потом — вторую...

Л ж . 2. Это уж во время второго обморока?

Л ж . 1. Да нет. Уже первого...

Л ж . 2. А я при дамах не падаю в обморок. И когда я первый раз услышал ее — я затаил дыхание, я слух и зрение затаил. Я затаил испускание и пот, пищеварение затаил. А ей — что ей — индифферентная баба, беспорывная баба! Снежная баба!

Л ж . 1. А это потому, что ты при ней не выпил.

Л ж . 2. А если б выпил?

Л ж . 1. Была б не беспорывной! Только пить надо не Киндзмараули, а что-нибудь полегче, Алиготэ. Алиготэ — это лучше, чем либерте, эгалите, фратерните. Как ты думаешь?

Л ж . 2. Нет, не пить ничего совсем, как сказал Сомерсет Моэм.

Л ж . 1. Никогда не следует пить бросать, сказала Эдит Пиаф, известная французская блядь. А уж если нельзя не пить, то пить только молдавский белый портвейн, сказал любимый пианист Владимира Ильича Ульянова Исайя Добровейн.

Л ж . 2. Или шерри-бренди, сказала бы Индира Ганди.

Л ж . 1 (*с сарказмом*). Очень складно! Митя! Тогда уж давай, как сказал Акакий Церетели, продолжим Киндзмараули!

Пока Л ж . 2 в бегах, стучи в приемное окошко.

Выкрики: «Уже 15 минут третьего». Это значит: «расстреливать каждого третьего приемщика». «Когда будет Каплан? — Стрелять таких приемщиков».

Л ж . 2 (*притаскивает вторую банку Киндзмараули*).

Когда легковерен и молод я был,
 Российскую водку я очень любил,
 Молдавскую водку я очень любил,
 Кубанскую водку я очень любил,
 Ну, да и Перцовую очень любил.
 Когда ж легкомыслен я быть перестал,
 Московскую водку я пить перестал

(*И все аккорды, аккорды*)

Стрелецкую водку я пить перестал.

Л ж . 2. А все почему?—

И вдруг словно замер мой конь на бегу —
 Стрелецкую водку достать не могу,
 Российскую водку найти не могу,
 Донскую Степную купить не могу,
 А что за причина — понять не могу.

Л ж . 1. И как тебя занесло в приемщики посуды? Ты с детства лелеял эту мечту — или эту мечту ты начал лелеять после детства или вообще никогда не лелеял?

Л ж . 2. Как только начался, лелеял. Я вначале мечтал быть стеклодувом, потом — фальшивомонетчиком, вампиром — а потом опять стеклодувом! И прекрасной дамой! И...

Л ж . 1. Ну я понимаю: «прекрасной дамой». Но зачем же стеклодувом?! Тогда уж Моцартом! Вот тут у нас в очереди, третий год подряд, стоят сплошные Моцарты и очередь длится два-три часа, и Сальери ее принимает, пиздобол с тремя «жигулями», ну а что Моцартам «жигули»? Им нужна неотложная отравка, алгебра и гармония. Шеф сказал: «Открывайте возможности, в то же время внося неясности».

Л ж е д м и т р и и постоянно балагурят, принимая посуду.

— Милый котик, пей наркотик, а потом, немножко сплюнув, укуси меня за грудь.

— Вчера был день полузакрытых дверей.

К ним подходит Аспазия (Аспазия постоянно ошибается, всех называет Володей. А все отвечают: «Это Ульянов—Ленин был Володей.

Я тебе не Володя, а я — Лжедмитрий 2»).

Оба Л ж е д м и т р и я, то и дело, так что становится пословицею: «Не обобщай!» «Не обобщай, Григорий». «Не обобщай, Дмитрий».

Л ж . 1. И заебись, кто не понимает.

Мы чувствуем локоть друг друга,
И сердце пылает огнем.

Ты, Дима, любишь музыку Сигизмунда Каца?

Л ж . 2 (мурлычет).

Ах, эти девушки в трико так ранят сердце глубоко.

И в самом деле. На мне, как мачта, длинном, она повисла как парус — и я поплыл.

— Каплана сейчас не ищите.

— Т.е. он еще не пришел?

— Ну... как сказать... прийти-то он пришел, но его нету.

— Он в мире чистых сущностей. Тсс!

— Т.е. пришел и ушел?

— Он никуда не уходил. Люди, которые живут в мире чистых сущностей, вообще никуда не уходят.

— Но приходиться-то они приходят?

— Случается.

— И часто случается?

— Часто случается.

— Может и сегодня случиться?

Б л ю с т и т е л ь. Так будут сегодня диссиденты?

Л ж е д м и т р и й. А кто их знает, вы же этот народ обсо-
сали кругом — возьмут да будут. А возьмут — не будут.

— А вот эта, гладкая, — она о чем говорила?

— О! Она ведет с кем-то феноменологическую переписку. Она говорит, что устала быть экстравертированной. Но интро-
вертированность ей не дается. Всякий раз, когда заходит речь
об андрогенной монаде...

— А о ней часто заходит речь?

— Очень часто.

— А сам ты принимал участие?

— Принимал.

— Как именно?

— Я читал запретные стихи.

— С чего же ты взял, что они запретные?

— А мне падали по шее.

— Кто?

— Как кто? Диссиденты!

— А ну-ка, что за стихи?

Л ж е д м и т р и й откашливается. Делает позу.

Рабочий класс колонны вывел
В олимпиады и на стадионы,
Заменим звоном шагов в коллективе
Колоколов идиотские звоны.
Мы пафосом новым уьемся допьяна,
Вином — своих не ослабим волю!
Долой из жизни два опиума:
Бога — и алкоголь!

— А один сказал: в Мадриде есть чего кушать безработным
тореро. А я — нет, сказал, в городе Мадриде совершенно нечего

кушать безработному тореро. (Мы немножко подиспутировали в Париже.)

Л ж. Не могу не молчать — так я им сказал.

— А другой ей шепнул... и что это, это сохранит шелковистость ее волос.

— А один все кричал: непомерностей надо требовать, непомерностей!

— Русский народ вообще трудно чем-нибудь ошарашить. Объяви ему в разгар 11-й пятилетки, что каждая пятилетка будет 11-й.

— Ну что ж, скажет, 11-й так 11-й.

— Да, да. Был один священнослужитель. Бывший. Он утверждал, что служит одному лишь кумиру. И что кумир этот — утробная ненависть к свободе и прогрессу.

— Он у нас в интересном положении.

— Мишель, об истреблении Востока:

«Крестonosцы тоже, говорят, были немножко мародерами, но это их рыцарского облика не исказило. Вот так и мы — если немножко побуйствуем среди сарацинов!..»

— Так отчего же они Лжедмитрий?

— 1-й вот почему. Потому что родился в Угличе и звать его Григорий (т.е. в детстве наречен Григорием). А 2-й родился на том самом месте, где некогда была та самая келья Чудова монастыря. И звать его в самом деле Митя. Так что не совсем понятно, почему он Лжедмитрий?

— Чего ж тут непонятного, если настоящий Лжедмитрий, т.е. Григорий, родился в Угличе?

— В Угличе детей не рожают. В Угличе их режут.

— Помалкивай.

— А где это место, где Чудов монастырь?

— Теперь это невозможно установить. Но единственное, что достоверно, — откуда убежал Григорий.

— Какой Григорий? Вот этот? — пальцем в сторону Лж. 1.

— Скорее всего. Потому что кому придет в голову родиться в том самом Угличе, с которого удобней всего начать интригу, и затесаться в келью Чудова монастыря.

— А у тебя как жену звать?

— Маринка. Марина Юрьевна.

— И у тебя М.Ю.? — и у меня М.Ю.

— Насколько мне и всем известно, Лж. 1 бежал из кельи Чудова монастыря, а не Лж. 2.

— А откуда же сбежал Лж. 2? Из Углича?

— А кто его знает? Сейчас, если перед тобой сидит человек, то видишь точно, что он откуда-то сбежал, а вот откуда точно он сбежал, ни одна сука не признается.

— Но ведь я-то ниоткуда не сбежал.

— А, значит, это не настоящий Лжедмитрий.

— А коли так, почему позволяешь себе так говорить с «человеком»?

С «человеком» Лж. 2 говорит о рыбной ловле (партийный дядя Валера).

— А кого и выловишь — сразу бросаешь назад, в речку, потому что они противные, красные да еще трепещут.

— Дядя Валера! Это ты на кого намекаешь? Красные — да. Но мы никогда не трепещем. А противные — это как для кого.

— И эти у вас бывают... понимаете у Вл. Ильича: «в час народной расправы с чиновниками в рясах, с жандармами во Христе...» Бывают, бывают точно уж такие жандармы во Христе. Единственное, что я в них заметил. Законопослушность. Курсивная, слишком подчеркнутая. Охуелостью это не назовешь, но ведь не назовешь и иначе.

2-й АКТ

В основном состоит из бесед людей в сером с Лжедмитриями.

— Так этого Лж. 1 зарядили в пушку и стрельнули туда, откуда он пришел.

— Да нет, это был не Лж. 1, это настоящим Лжедмитрием зарядили пушку и пальнули не то в сторону Варшавы, не то Кракова, не то Сандомира.

— А откуда взялся настоящий Дмитрий?

— А все оттуда же. Все настоящее берется оттуда же, откуда все ложное. Настоящий Дмитрий уже в стволе орудия признался, что никогда не был знаком с Мариной Мнишек. А раз не был знаком — значит, настоящий Дмитрий. И еще он добавил: «Дура она, мать ее ...я б зарезал ее ножиком, но все ножики продаются только в Угличе».

— Ну почему? В Угличе кого зарезали?

— Гришу.

— Гришу? А не Дмитрия — младенца?

— Гришу!

— Ну, тогда я..... в вашем приемном пункте!

— Диссидентов терпеть не могу. Они все до единого — анти-музыкальны. А стало быть, ни в чем не правы. Цветочки не любят.

— Ваше время пришло! Разговаривайте!

К а п л а н. Дмитрий! Все двери на замок! Сейчас начнется главное. Виталик звонит гр. Дювалье и вдруг заходится — смех до слез — гр. Дювалье ему сказал, что жить Виталику осталось меньше получаса. (*Гибнет от обвалившихся ящиков, на которые падает с кровавой физиономией Человек в сером.*)

— Что он замышляет против мира, знает он сам.

— А вы сначала расспросите человечество и мир, что они вместе против него умышляли. Даже тот, кто с нами — тот против нас.

3-й АКТ

Белая горячка Мнх. К а п л а н а.

— Кто подлинный из них? скажи мне, дочь.

О К а п л а н е. Ему не по вкусу существующий миропорядок.

— Мгновенье. Безобразно ты. Не продлевайся. А впрочем, погоди.

— Так вы теперь ходите в нарукавниках повязках? А зачем? И без того видать.

— Ну, уж так надо. Инструкция есть инструкция.

Взрѣв К а п л а н а. Относительно: Жизнь есть жизнь.

Дети есть дети.

Война есть война.

С вошочими вашими тавтологиями...

Вам что же — нечего больше сказать, пиздобам.

А с п а з и я. А разве я кого-нибудь трогаю? Даже иду когда, собачка какая-нибудь выскочит, я ей говорю: «С легким паром тебя, собачка». Только и всего.

— Это почему же это с легким паром?

— Ну, с каким паром? Если она всего-навсего маленькая собачка?

О ней — Глаза ее лучились и сверкали. Нехорошее, невысокое было это сверкание. Однако ж это было сверканием.

— Стягивает она стан свой, чтоб дивные груди ее восстали!

— 30 лет, а выгладит, как цветочек, как блядиолус какой-нибудь.

— А можешь ли ты, баламут, сделать мою жизнь яркой и насыщенной? Почему ты не хочешь дать воскреслий? Любовь это не прощает. Дай мне воскреслия.

— Да откуда я на вас всех наберусь воскреслий.

— Из всех чар земных только пошлейшие могут на нее воздействовать.

Б л ю с т и т е л ь. А вы — вы кто?

Ф а н н и (опустив глаза в вязание). Каплан.

Б л ю с т и т е л ь. Каплан?

Ф а н н и. Каплан.

Б л ю с т и т е л ь. Пока я ничего не понимаю. Каплан? Каплан. Завороженный Дом. Каплан уж тут. Не хватает только Михельсона. Это не приемный пункт, а завод Михельсона.

— Они мне вот: Россия погибает.

— Ну и пускай. Ей вроде бы к лицу. Никому бы так не пошло умереть, как Ей. Причем самым недостойным образом. Это ходит, по-моему, в расчеты Господа Бога.

— Чувствуешь себя как соль рассыпанная, как разбитое зеркало, как в море оброненное колечко, как чернейшим из котов пересеченная дорога. Ты — чувствовал себя так.

— И совсем это не Божья Любовь. Это шашни Природы.

А с п а з и я. Я за сегодняшний день так ухайдокалась.

— Женщина болезнетворная, смертельная женщина.

— Ну, просто надоело. Где Каплан?

— Где Каплан? — По ту сторону рек Ефиопских, вот он где. В садах Эдемских. За гранью земного кругозора.

— Чего делает? чего делает? А вы — что делаете?!

— Он — текет в трех мирозданиях.

Л ж . 1. Ох, сука! Да нет, ну хотя бы в двух мирозданиях.

— Господь обнес нас пораженьем, и правильно сделал.

— Недочеловеки! Недолюди! Страшно и вообразить себя в вашем положении.

— Впрочем, не будем говорить о чепухе.

Господь, кого следует, приговаривает к стольким-то и стольким-то годам Душевного потрясения.

— У этой девушки потрясений нет.

— Это не годится. Я не признаю в человеке чего-нибудь, если нет потрясений.

— Дочь, ведь это неправда.

«Добродетель ее подвергается частым нападениям по причине миловидной наружности. Но она, эта белая голубка, скорее умрет, чем запянет свое оперение».

В с е р о м. А что он еще говорил?

— Говорил, что нижняя чакра ответственна за высшие тоны человеческих чакр.

В л ю б л . Л ж . 2. Я когда услышал ее, я затаил дыхание. Я не то что дыхание, я зрение и слух затаил, я затаил пищеварение. А ей — что ей! Индифферентная, беспорывная женщина. Снежная баба!

— Народ недоволен, надо открывать, — то и дело бросает Л ж . 1

— Не опиум для народа, а народ — для опиума.

— И зимних друг ночей, трещит мужчина перед ней.

— Все больше разверзается пропасть между словом и делом американской администрации.

У Л ж . 1 постоянно: Земля — колыбель человечества.

В конце, к человеку в сером:

— В колыбель тебя надо! В землю тебя надо, в колыбель человечества.

— До того ли ему? Гибнет Россия или нет? Странное дело: чем больше говорит о процветании, все понимают о гибели. Ну, почему? Поля зеленеют. И пр. Так он считает, погибает Россия. Он о гибели метагалактик. Он вычисляет, белая горячка.

— Не в этом дело. Это чушь. Но он считает, что если умрет метагалактика (юродивый — четыре метагалактики) — значит, вместе с ними умрет и... страшно вымолвить — и сов. власть.

Прием...— Поставщица Аспазия.

посуды...

— Ты что мне даешь дядя?..

Л ж . 1. Каждый должен суметь вынуть пробку из пустой посудыны. Пробка была нужна, когда там что-то в посудине было. Умею я?

— Не деньги надо чеканить, надо чеканить афоризмы.

— Я все пять актов буду их чеканить и хуй меня кто остановит.

— Шнурок есть? снимай шнурок, дядя. Давай сюда.

Трюк — достать из бутылки пробку.

Ко всем: проверьте все, стоящие в очереди... Все помешаны на спорте...

— Настали времена, когда у каждого должен быть свой шнурок. На всякий случай.

— Интересно, есть на свете такая держава, где так часто слышишь (чаще, чем ежедневно) — стрелять! Стрелять таких надо! — а ведь ни у кого, в отличие от большинства держав — на руках ни одной единицы огнестрельного оружия.

— А ты какую птичку больше любишь, Вася Говнодав?

— Мать Пречистая, да здесь народу собралось уже метра два с половиной.

— Один мой знакомый говорил: жизнь человеческая что детская рубашонка: коротенькая и вся в говне.

— Когда-то у нас была инициатива! Теперь у нас нет даже отсутствия инициативы?

— А я хочу феодализма: сидишь, напротив — замок в плющах, а ты сидишь напротив и кормишь грудью барскую суку.

— А я люблю портвейн и притирания.

— Что это за притирания такие?

— А это когда уже нет портвейну.

Ю р о д и в ы й. А я смотрю только советские фильмы: польско-шведские, австро-венгерские, русско-турецкие, татаро-монгольские...

Из нее Лорелея бы хорошая вышла. Лежит в болоте, в чепце, в цветах, и ее, как магнолию, уносит потоком.

Г о в о р я т Л ж е д м и т р и и (*В и т а л и к у с е г о т а п о ч к а м*). Чего ж особенного «со мной каждую ночь жены космонавтов по будильнику».

Л ж е д м и т р и и. Ин-тересно. Если взглянуть в сторону зенита, то Франция будет слева, а Германия — справа?

—...Лечиться тебе надо. У доктора Спока.

— А он где, доктор Спок? Ближе к зениту, если от него смотреть, то... Если двинул от Спока в сторону Франции, то где зенит?

Ну, и чего ты узнал из этих диссидентов?

«Салонные поэтессы огнедышащие скрипят зубами во сне и... в самом никудышном смысле этого слова».

Оба Л ж е д м и т р и я о диссидентах.

— Мое любимое междометие «увы», но я замечаю, что с последнего времени оно становится нецензурным.

— Я же не мешал тебе, когда ты грезил. Вот и ты не мешай мне грезить.

— А то я убью тебя, Митя, ты будешь и мертвый прекрасен. Под небом скользящих созвездий.

О пришедшем в «с е р о м»: Ну, принц или не принц, мы еще посмотрим. Принц должен быть черным. Черный принц! Он должен быть датским, маленьким и нищим! Остальные принцы не в счет.

— Накажет, накажет тебя Господь, и сегодня же!

А с п а з и я. Ха-ха! Да как же он меня накажет? Я у себя...

Да, по радио так и сказали: счастливо, евреи, отметить Вам Новый 3765-й год.

Ю р о д и в ы й жалуется. В сырости. Завотделом Инесса его туды отгашила. Он говорит: «Как Стеньку бросила в волны эта принцесса персианская».

— Так вот и держись, погода! Пусть завтра Вербное воскресенье! Съешь разную мокрядь на эту землю! Она не стоит Солнца! Так вот и держись, погода! Так вот и стой. Не предвещай ничего хорошего, погода!

— С этими людьми надо не человеческими словами говорить, а вострым-вострым ножиком.

— Дочку назову Илюлюя, и вообще как-нибудь так ласково.

Не забыть: как спит В и т а л и к. На посудинах вверх горлышками. А тут ведь и длинные бургундские, и чекушки — для неугасания духа (а некоторые вообще — с отбитыми горлышками).

— Ты, Вася, единственный предмет роскоши, который прошлой осенью не поднялся в цене.

Обо всем лучше всего спросить у В и т а л и к а. Он устанавливает связь со всеми: сняв тапочек.

В и т а л и к. Его постоянно спрашивают: Виталий, позвони такому-то (Андропову, госпоже Тейлор и пр.) — и узнай, который сейчас час. Мы не можем открывать заведения без точных часов.

А кремлевские часы вдруг... *Но тут человек в сером:* «Врут кремлевские часы?» *В и т а л и к* опять за свой тапочек: «Кремлевские часы врут когда ж? Никогда,— говорит,— верьте. Единственным часам верьте».

— А турецкая резня: это когда турки режут или когда режут турок?

О В и т .: «Он всякую тайну знает, но откроет ее не теперь». А с п а з и я тоже знает тайну. И тоже всякую и раскроет ее только в 4-м акте.

Л ж е д м и т р и й 1. (*к клиентуре, продолжая ерничать и прибаутничать*). Много пьете, дорогие товарищи, и честь вам и хвала за это от товарища Бисмарка, Железного канцлера. Он любил повторять: «Бог Всемогущий заботится только о младенцах, пьяницах и американцах».

Л ж . 2. Придурок — подсобник со второсортной физиономией.

Л ж . 1. А отсюда — прямо в винный отдел. Там (стоит) толстый Лева Сальери: с усиками а-ля Бержерак, а в очередь к нему мнутя 40 Моцартов.

Л ж . 1 (*о стуке за окном*). Феноменология духа! Не обращай внимания.

— Приснилось однажды милиционеру, что он бабочка. Он весело порхал, делал ноздрями и не знал, что он — милиционер, был счастлив. А проснувшись внезапно, даже удивился, что он совсем не бабочка, а милиционер. И он не знал уже, — милиционеру ли снилось, что он бабочка, или бабочке — что она милиционер. Это ты к чему? и т.п.

— Господь приговорил меня к трем годам Душевного потрясения.

— Я хотел у своего заведения установить водометы и изваяния, но мне не позволили. Вот какие бюсты я хотел установить: Александра Колчака, мадам Баттерфляй...

С появлением Мишеля.

— Прекратить прием посуды! Олухи. Ну, посудите сами, как в наши времена можно заниматься приемом посуды.

К Каплану обращаются эти в сером.

— Подсудимый, а скажите.

Вл. Луговской:

«Как снежное темя Гиссара,
Совесь его бела,
И ни одна комсомолка
Зарезана им не была».

— Духовной жаждою томим...

— Не давай гортани твоей томиться жаждою.

— Со времени смерти Паганини скрипка его лежала в Генуе, и никто не имел права прикоснуться к ней. Первый, кто дерзнул взять ее в руки и сыграть на ней, был скрипач Б. Губерман.

— Они дышат мне в душу чесноком и чечевицею.

— И нашего Емельку убил ихний Михельсон.

Чемберлен: «Иудей же избрал трагическую судьбу, это служит доказательством его величия».

Пророк Исайя — Праздники ваши ненавидит душа моя.

Мы — за идею абсолютного будущего, которое противостоит всей реальности прошлого и настоящего (по Буберу).

— И кто из вас знает, что Иордан вытекает из Тивериадского озера, впадает в Мертвое море.

Выше всего в человеке ценить непоправимость!

И все это я не проскакал на розовом коне, а шел привычной, подрагивая и скрипел.

— Ты как-то запала мне в душу, и я больше о тебе не вспоминал.

Хозяин заведения. Он здесь и ночует. Вот здесь — мой самый холодный угол, это моя Индигирка, это мой Оймякон.

— Здесь говорят непонятное о понятном. Там — понятное о непонятном.

— Ты что же, зараза,— хочешь изменить предначертания судьбы.

(Алиса) — А с п а з и я:

— Я немножко запоздала? Славик... делал двухчасовой доклад о существовании человека.

— Я в чем-то соглашаюсь с Вильямом Шекспиром, но кое в чем и нет.

— Эти дни были для меня насыщены. Насыщены напряженными научными поисками... Почему ты не бываешь в духовных центрах Москвы? Или ты считаешь свою грандиозную палатку единственным духовным центром?

— Эманирует, сидя в гостях, флюиды и метастазы. Другой тоже эманирует, но эманирует трансградиентные корпускулы, за неимением корпускул имманентных.

— Я нахожусь все еще в той стадии, которая уповаает.

— Дело не в установках, а в интерполяции.

— Нет, дело в структуре.

— Но мы в науку не подключаемся. Мне думается, к истинности не подключаются ценности, а к ценности подключается истинность.

(осматривая заведение в связи с перекосям пола...)

— А он просто вписался в полукультуру.

— В момент творчества я только меднум высших сил.— Мое головокружение от ее успехов.— И страсть к чему-то нездешнему, зыбкому к чему-то, коленно-локтевому.

Правый католик, но почти не Мур:

«Ну, что же, большевики — это атмосферическое явление, и относиться к нему следует как ко всякому явлению атмосферическому».

А для этого необходимо соединение крайней глубины с крайней бестактностью.

Величайший образец — Иисус. Верх неповерхности и вершина бестактности.

Что ж, надо еще подумать, для каких целей в 40-х годах Господь обделил нас поражением.

Как говорил Гладстон своему приятелю Дизраэли:

«О! Это будет не скоро! Когда птички полетят и французы образумятся».

— И набожность должна быть одаренной.

— А у него она не глубока, а упряма (читает молитвы, как кондуктор объявляет остановки).

— Много бед нам понаделали: хан крымский да папа римский.

Покойный папа Павел VI называл это «кризисом послушания».

Несостоятельность и слабость человека.

Рефлекс антиклерикализма — тоже.

«Преступление против Бога и человека» — Павел VI.

— Для этого ты слишком лучезарен.

Об атеизме: «Из тезиса, предназначенного для нескольких спекулятивных умов, он стал мифом толпы».

«Извращенное издевательство над наиболее обязательными очевидностями» (прелаты Вселенского Собора).

По Карсавину: «Мир — результат Самоограничения Бога».

— Следует вести себя удовлетворительно. Отлично себя вести нехорошо и греховно.

Когда Господь прибирает нас к рукам — против него нечего возразить.

Когда человек — это еще куда ни шло. Но когда Эти!..

ОН-то есть, ОН жив, а вот мы — неизвестно, есть ли мы и живы ли.

— противоречит или не противоречит это духу Писания?

— Как бы то ни было, единственный раз Россию возглавил католик, целых 11 месяцев. (Лжедм. 1605—1606.)

— Ну, я уважаю немоту, если она высокаторжественна.

И чего стоит мир, если над ним не тяготеет ни одно проклятие.

4-й АКТ

Кончается.

Ну что ж! к барьеру! Стало быть, к барьеру!

— просклоняй слово «стена».

Начинает спрягать:

Я — ткни и развалюсь,

ты — ткни и развалишься,

она — ткни и развалится.

Из Исаяи: «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили!» (33.1.)

— Под натиском слишком мощного потока мыслей

— У Диккенса

— Сжальтесь надо мной ради всех святых ангелов небесных

— Язык мой приник к ипостаси моей

— Я живу в эпоху всеобщей невменяемости.

Раззудись, плечо!

Размахнись, рука!

Чтобы в воздухе летали буржуазные окорока!

Меня здесь выбрали членом тред-юниона и подносят в день два пикалика. А все потому, что юность мою опалили фугасы.

Прямо пойдешь — жигь не будешь, налево пойдешь — жизнь потеряешь, вправо пойдешь — умрешь, назад пойдешь — околеешь.

Ю р о д и в ы й. Его пустошные словеса (звонящий по тапочку, сколько времени и пр. Он же предсказывающий судьбы).

— Нострадамус!— позвони де Голлю.

— О чем ты думаешь, Борис, Печальный пасынок природы?

Набальзамируйте меня (из Генриха XV).

Совместить в такой компании все голоса — придать видимость махонького единства — упражнение в контрапункте.

Отличать: предметы роскоши от предметов первой необходимости (предмет третьей-четвертой необходимости).

— И холодно, как будто ты не у себя в постели, а где-нибудь в море Лаптевых.

и у Шекспира: ромашка растет тем сильнее, чем больше ее топчут.

и у Островского: «Самое главное в жизни — быть всегда бойцом, а не плестись в обозе 3-го разряда.

— Чем скромнее боец, тем он прекраснее».

— Какой же психопат

Не любит листопад.

Ему: Ну и что же: возьми на память из моих ладоней немножко водки и немножко пива... и не вспоминай жизнь свою —

Мы будем жить на белом свете номер 2.

— пустота —

— мне хотелось бы черпать тебя загорелою рукою.

— мне такой ущербной монады не было (о поэтессе).

— Вначале надо подвергнуть все свои хорошие чувства почти поголовному истреблению:

— мне вот что нужно, чтобы во мне проснулся вампир.

— Извергни его, на нем печать Вельзевула.

— Мизантроп, не любящий проторенных троп.

В а м п и р и с т .

Обряд известный угощения:

Несут на блюдечке варенья

и молодого краснофлотца

несут с разбитой головой

(внелогичен и по ту сторону всяких обязательств)

Входя: Невольно к этим гнусным берегам

— У меня есть предчувствие, что я скончаюсь где-нибудь между Звенигородом и Вестфалиею. Но только интересно: ближе к Вестфалии или к Звенигороду?

— Ты скончаешься здесь. В моем сердце ты уже издох. Тебе осталось это в сердце нашей Родины. Ты понял, о каком сердце я говорю?

— По вечерам бывает так приятно иногда прибегнуть к геноциду. Или к погоне за химерами.

— Я сначала хотел быть кавалеристом. А теперь я знаю, кем я буду: я буду следить за пожарами, чтобы никто не вредил

пожарам, чтобы принимать редкие меры против тех, которые тушат пожары. Хе-хе, лет пятнадцать назад эта мысль меня бы согрела.

Девочки должны быть парализованы. Так лучше.

— Но в нем гнездятся демоны.

— Да, да. Мистика всегда шла бок о бок с половой распущенностью.

Кольшется уже. Так Харонова ладья на стиксийских волнах — в царство тлена и вечного запустения.

— И днесь не пью, и присно не стану.

Все мыслью объять и все успеть совершить.

Нагадить — на вершинах Килиманджаро, Джомолунгмы, Фудзи, Монблана и на обеих вершинах Эльбруса. Вот это я понимаю.

Крайне левый: типа друзей поэта Делоне. Но из худших.

2 акт. Вот до чего довели русские. Пришел по вызову телемастер. Всего-то навсего. А старушка ушла на кухню, и у нее от испуга руки трясутся — может быть, из органов?

Им: наши люди крылаты, наши верховные — крылаты. «Тщетны были бы все усилья, но крыльев ей нам не связать. Думал ты, пташка уж поймалась» и т.д. Законов всех она сильней. И заставит себя любить.

3. Помолчи. Не проникай в меня. Я сам знаю свои сроки. Не вводи свои танки в мой Кабул.

1. Человек за бортом!

— Вот она, сказочная ширь русской природы! Но убивать сразу полтора-два миллиона человек — это, по-моему, несимпатично.

4. А когда вообще начнется настоящее действие? Вот ведь уже и ночь накануне Ивана Купала — и никакого настоящего действия нет. Может, его вообще не будет. По нашим временам, лучше обходиться без действия...

2. А Фанни-то придет, наконец, или не придет? Неужели весь вечер сидеть с этими вот проблядешками?

Каплан (им). Ничего, ребятишки, если бродяга к Байкалу не подходит, Байкал подойдет к бродягам.

Борец и Каплан (ему). А хочешь, паладин, я тебе больше не поддесу.

Каплан. И сплю здесь. Здесь — мой кабинет... Вечерами прогуливаюсь: у сосновых новеньких ворот. «Может быть, сюда

какого супостата. Может быть, сюда того дегенерата... ветерок попутный занесет, я и сторож. Я и...

Вот — наши басурманы и супостаты!!— и...

— И это меня-то лупить! Меня! Кабинетнейшее из земных существ! Внебрачного сына Евы Браун!

1. О ней: ...и трепетание предсердий. А что, пригожая. И чтобы внутри ее были клавикорды, а снаружи — тучные пажити.

3. Ю р.: Идем, дома у меня никого нет, сестра-студентка — на овощебазе, брат в командировке, мать в параличе, отец — в Анголе.

— Я выбросил ее из окна, с 9-го этажа на 4-й.

2. О н а : тот-то уже потому лучше того-то, что, когда выпьет, не говорит умных вещей.

Иностр. 2 (женщина неограниченных возможностей).

Иностр.— Такая женщина, что леденела кровь и волосы становились дыбом...

Он щекотал эту великомученицу.

3. Это уж у нее так заведено. Потребность наутро уничтожить своего ночного мила-друга-приятеля умышленно деловым складом физиономии и обратно пропорционально ночи холодностью — я бы назвал это комплексом Клеопатры.

3. Да нет же, мы почти и не прикоснулись друг к другу, я чмокнул ее в запястье, правда. И вот, через полгода она родила пухлую девочку с голубыми глазами.

2. Дуры солнышка ждуг, дуры песни поют, а дураки все сидят, разгораются.

2. Наслаждайся, богоподобная! Ты еще в самом разгаре!
Кто-то издевается:

свежа, как предание.

Красавица. Писаная, как торба. И свежа как...

— От каждой двадцатой бабенки его кидает в озноб (о Гурев.)

2. К а п л а н. Твоя фатальная девочка скоро облысеет, раздавая свои локоны разным православным бабникам.

1. Я не могу о ней говорить без слез.

1.3. Он так взволнован, что с души воротит.

2. Спроси у него, существенный он человек или несущественный?

1. От одних только икр ее мороз подирает по коже.

3. О н а : А мне наплевать в орлиные очи твои!..

2. Она меня обезглавила. У меня болит шея от недоброкачественных грез. И пр. (*все время поворач.*). Сладостных дел мастерица, как сказал бы Саади.

3. И это она выгворяла в те дни, когда твоя осанна проходила через такие горнила!

2. Веселый Конконформизм. Мишель Каплан. И придурки.

Куда ты ведешь нас, безумный старик?— А хуй его знает! Я сам заблудился!

Каплан 1. А если они ворвутся, я сбегу на балкон и пригворюсь цветочком. Они придут, посмотрят — а это что за цветочек вон на том горшке? А моя Светочка со страху скажет что-нибудь не то, вроде «палтус» или «хариус».

А что это у него сбоку, у этого «палтуса»? А это тестикулы — а по совместительству — узурпаторы.

1. Чего гогочешь, как Плуگار какой-то недорезанный.

2. Или: Сидит, надулся, как какой-то Буонаротти.

2. Каплан. Иным покажется, что надо экономить свои силы при освоении Нечерноземья. Но нет — я не пожалею всех своих сил для освоения Нечерноземья (в ответ на упрек русских националистов).

2. Придурки. Каплан. Язык Барбароссы и Эрнста Тельмана, канцлера Бисмарка и доктора Геббельса — велик и могуч.

Придурки рифмуют: Язык В. Пика востер как пика. Россы с трудом усваивают язык Барбароссы. Язык Эриха Хоннекера не дает им ни хера и т.д.

— С ветс'ую в{ась все {юбят. Ее е {юбят т {ь" {ду ы, {ифгеры и} {дава е.

2. (Вадимчик. приверженец нормандской династии. Эсквайр)

— На нашей стороне все, в ком еще душа держится.

3. На черном рышке и в швейцарском банке.

— Какой же скептик? Хорош же скептик, у которого 40 тысяч симпатий и мильон терзаний.

Это мы уже одолели. Мы уже привыкли ценить только непомерное.

2. Мужайся и уповай! (Бытие: «Почему ты огорчился и стчего поникло лицо твое!»)

2. Это уже ползалога полууспеха!

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но зачем ты выпил стакан моего портвейна? Ал. Македонский тоже был

великий полководец, но зачем же пить чужой портвейн? Я — понимаю — земля — колыбель человечества, но нельзя же сидеть на ней и выпивать стакан не своего портвейна».

4. К а п л а н. Друг рода человечества.

«У него не житье — а мгновения».

3. Они не стремятся в дальние миры, еще будучи девушкой.— А я — уже будучи девушкой — стремился в дальние миры.

2. Невесело встречают вербное воскресенье миллионы людей, живущие в станах капитала. Задумчиво грезят они на своих сеновалах.

3. Знаю, что такое рыцарь. И терпеть не могу рыцарства. Зато, что у них забрало, а страха и упрёка нет.

2. Вот у нас в винном отделе: стоит толстое мудило Сальери и к нему в очередь сорок Моцартов.

3. Все твои привычки пагубные! У тебя есть хотя б одна непагубная привычка?

2. К а п л а н. Надо лишить нашу Родину-мать ее материнских прав.

К а п л а н. Что ж! И Геркулес чистил конюшню, и Аполлон-Феб пас стада скота у Адмета!

3. Вергилий утверждает, что душа может чахнуть без видимых причин.

К Фанни 2. Не твоего ума дело.

Ф а н н и 3. Это напоминало бестолковый ритуал испанского двора: испанские гранды перед королем снимают шляпы, а король в тысячный раз запрещает им это делать и возвратит шляпы на головы. И ведь все знали, что и в следующий раз будет равно так же: все снимут шляпы, а король покажет им жестом, что это (станут снимать шляпы, а король их от этого предостерегать, но они все равно снимут шляпы...)

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК



Нашел человека! Богородице Дева, радуйся! Говори, Симеон: «Ныне отпущаеши». Доктор Фауст, кричи: «Вот мгновение! Постой!». Туши фонарь, Диоген! Исая, ликуй! (на пути в Мыгищи).

•

говорить о меню применительно к духовной пище

•

Идеал последовательности: направляя заказ на книги в магазин «Книги стран народной демократии», писать так: Москва, К-9, ул. Горького, 15, Книги стран коммунистических однопартийных режимов.

•

С мира по нитке — голому петля

•

Надо привыкать шутить по-"Крокодилски", например, так: «Будь у нее формы, я взял бы ее на содержание».

•

Дай мне силы, боже, пройти завтра мимо него и не плюнуть в лицо ему!

•

Веселись, негритянка!

•

в обществе блестящих женщин села Караваева

•

Это случилось в 1909 г., т. е. уже к тому времени, когда он [Скрябин] совсем раздухарился и стал давать своим опусам блатные названия.

•

Мне не нужна стена, на которую я мог бы опереться. У меня есть своя опора и я силен. Но дайте мне забор, о который я мог бы почесать свою усталую спину.

•

что удобнее потерять: вкус или совесть?

•

если это система, то очень нервная, эта система.

•

Рассказ о Маугли автобиографичен. Киплинг сам был вскормлен волками британского империализма.

•

и хочется кому-нибудь что-нибудь внедрить

•

А, знаю! Античность, громы Юпитера, зерно Персефоны, борьба титанов и драйзеров и т.п.

•

В 1956 г. стало известно, что Олег Кошевой был педерастом. Это послужило причиной фадеевского самоубийства.

•

смертоносные сообщения

•

использование и возврат измененных чувств

•

В мировой поэзии скептицизм облачается обычно в форму шестистопных ямбов: например, так: Гамлет не говорил: «ту би ор нот ту би». И Мальбрук никогда в поход не собирался.

•

у Ф. Сологуба: «Расстегни свои застёжки и завязки развяжи».

•

Жарко, как у Манюни под мышкой.

•

О благородстве спорить нечего. У Матфея уже изложены все нормы благородства.

•

Джесси Стюарт: «Нет в мире лучших слов, Тэккер, чем «поедем-ка домой!»».

•

Если ты все знаешь, так скажи, какой средний грузооборот у Щецинского порта?

•

С детства приучать ребенка к чистоплотности, с привлечением авторитетов. Например, говорить ему, что святой Антоний — бяка, он никогда не мыл руки, а Понтий Пилат наоборот.

•

Любую подлость оправдывать бальзаковским: «Я — инструмент ... на котором играют обстоятельства».

•

В мой венец он влил 2–3 своих лавра, а я потом ходил и не понимал: откуда это так плохо пахнет?

•

Дежурная фраза Кузьминичны: «Сову видно по походке, а добра молодца — по соплям».

•

пристрастие всех неуравновешенных натур к моральной философии

•

все проделывала с потрясающей пластичностью

•

Хорошему человеку всегда хорошо

•

«прекраснее самой красоты», как говорят на Филиппинах

•

Надо уметь «подождать до времени», чтобы избавиться от упреков разных сопляков, вроде Гамлета; надо доносить свои башмаки, прежде чем решиться.

•

Одна русская дама у Герцена: «Что мне надо сделать, чтобы полюбить Швэйцарию?»

•

Так же, примерно, модно, как в 50-х гг. было смеяться над Ламартином.

•

И чудак же этот Ахиллес Пелид! У всех нормальных людей только пятка неуязвима, а у этого — все наоборот.

•

Продается ручной скворец по кличке Федя. Разговаривает, свищет по-соловьиному, поет «Цыганский барон» и целуется. Цена 75 руб.

•

В 18–19-летнем возрасте, когда при мне говорили неинтересное, я говорил: «О, какой вздор!. Стоит ли говорить!». И мне говорили: «Ну, а если так, что же все-таки не вздор?». И я наедине с собой говорил: «О! Не знаю, но есть!». Вот с этого все начинается.

•

Нужно, чтобы всякий предмет, попавшийся на глаза, мог стать темой.

•

Ягненок! Возляг рядом с волком! Слейтесь в поцелуе, мучитель и жертва! Сними паранджу, угнетенная женщина Востока!

•

философские камни в печени

•

Интересно, как глядели бы на тебя, если б ты сейчас вот вышел в белом жилете с отворотами а la Робеспьер. Или, например, орал бы в переулке: «Долой Гизо! Да здравствует Реформа!»

•

Последовательным антисоциалистом может стать только тот, у кого утвердилась Святыня.

•

«Обжирайтесь, мрачные умы!»

•

Завет Талейрана: никогда не следовать первому побуждению сердца, потому что оно всегда хорошо.

•

Не женщина, а телесное наказание.

•

Царь Мидас, к чему бы не прикасался, все обращал в золото, а в твоих руках все делается дерьмом.

•

Вот еще красивое женское имя: Антанта.

•

Цельх три рубля! «За каждым крупным состоянием кроется злодейство», сказал Бальзак.

•

Ритуальный танец Замбии «Убийство Лумумбы» символизирует радость жизни и борьбу с темными силами природы.

•

Чтобы жена никогда не сомневалась в твоей верности, — советую я, — дай ей понять, но только самым косвенным путем, что ты простофиля. Т. е. не абсолютно простофиля, а ровно

настолько, чтобы не потерять любви и быть [одновременно] свободным от подозрений.

•

Вижу, как цветут каштаны. Прихожу к тому, что красивее калины ничто не цветет. Смотреть, смотреть. Нюхать, нюхать.

•

а оладьи такие нежные, такие аппетитные,— ну, прямо как девушки!

•

Ценные вещи создаются только в «мире, где все продается и покупается».

•

Любимый герой Шолохова (Давыдов, «Поднятая целина») говорит: «Ты бы лучше массовую работу вел, а растреливать — это просто».

•

Лично я убежден в историчности Адама и Евы.

•

О! До чего горька была участь женщины-узбечки до Октябрьской революции!

•

Родственные чувства испытывать удобнее, потому что они имеют очень четкий предел.

•

громадная душа в щуплом и веснушчатом теле. Не женщина, а стихотворение в прозе.

•

из матафизических соображений

•

Новая история интереснее старой. Можно было бы проследить, как дублируются поступки древних из тех сообра-

жений, которые им показались бы смешными. Муций Сцевола — о. Сергей, Курций — Гаршин.

•

ничто не вечно, кроме позора

•

тщетны россам все препоны

•

За одно и то же, т. е. за один способ поведения, известную группу металлов называют *благородными*, а газы — *инертными*.

•

«только деньгам нужна красота, красоте же и денег не надо»

•

«Был я голоден — и не накормили меня, был я наг — и не одели меня, не имел крова — и не приютили меня».

•

В стиле Ларошфуко: «Глупость недоверчива».

•

Вот клички: в 1955—57 гг. меня называют попросту «Веничка» (Москва). в 1957—58 гг., по мере посещения и повзросления — «Венедикт»; в 1959 г.— «Бэн», в 1960 г.— «Бэн», «граф», «сам»; в 1961—62 гг. опять «Венедикт», и с 1963 г.— снова поголовное «Веничка».

•

Андре Моруа в книге «Моя родина», в книге, написанной специально для нефранцузов, говорит о Франции со всех сторон и решительно обо всем, кроме музыки.

•

сантиментальная горячка

•

«Что у еврея на уме, то у женщины на плечах».

•

А Мопассан, например, самой пошлой вещью на свете называл Эйфелеву башню.

•

Любите безмолвные игры.

•

Болван Робеспьер, он почему-то и в атеизме усматривал аристократизм.

•

И главное: научить их чтить русскую литературную классику и говорить о ней не иначе, как со склоненной головой. Все, что мы говорим и делаем, а тем более все, что нам предписано «сверху» говорить и делать — все мизерно, смешно и нечисто по сравнению с любой репликой, гримасой или жестом Ее персонажей.

•

А интересно, для чего чучмекам надо было устраивать в Ташкенте землетрясение?

•

У Чехова повсюду и постоянно герои поют романс «Не говори, что молодость сгубила...» Что это такое?

•

кремлевские обскуранты

•

Всякие сопливые скептики ей говорят: «Бросьте, дамочка, вот уж третий год как он во гробе, и уж смердеть перестал». А она подошла ко гробу (о, как подошла!) и говорит: «Встань и иди вон». И что ж вы думаете?— встал и пошел.

•

Колокольчики, лютики; собираю первые букетики; это развивает чувство тона и пропорции.

•

Мой мальщ, с букетом полевых цветов, верхом на козе. Возраст 153 дня.

•

Во сне переживаю ситуацию, радующую совершенным отсутствием светлого исхода.

•

Я успел только пригубить из чаши восторгов, и у меня ее вышибли из рук.

•

А то, что я принимал за путеводные звезды, оказалось — потешные огни.

•

«Все хляби твои и потоки твои прошли надо мною».

•

далась вам эта внутренняя секреция!

•

«с точки зрения вечности» и «с точки зрения Фонарного переулка»

•

Двенадцатый день не пью, и замечаю, что трезвость так же губительна, как физический труд и свежий воздух. Мелкое наблюдение: я никак не могу вспомнить один редко употребляемый и более крепкий синоним к словам «мракобес», «ретроград», «реакционер», «рутинер» — который уже день не могу вспомнить. Бьюсь об заклад, как только сниму с себя залоги и выпью первые сто грамм, припомню немедленно.

•

Когда он бывает чем-нибудь доволен, его любимая присказка: «Умерла моя старушка у окна».

•

Итак, в школах необходимо преподавать: астрологию-алхимию-метафизику-теософию-порнографию-демонологию и основы гомосексуализма. Остальное упразднить.

•

А я и спрашиваю: «Ангелы небесные, вы еще не покинули меня?». И ангелы небесные отвечают: «Нет, но скоро».

•

Научись скорбеть, а блаженствовать — это и дурак умеет.

•

В июне, в Мышине, я все это (и самые тонкие явства, вроде Рильке и Малера) «кушал без аппетита». Теперь очень понятно, что значит «жрать все подряд» — только бы утолить голод. От этого голода (т.е. ни одной мелодии и ни одной стихотворной строчки за полмесяца) — самая естественная слабость, головокружение, «не речивость» и все такое. Если бы я вдруг откуда-нибудь узнал с достоверностью, что во всю жизнь больше не услышу ничего Шуберта или Малера, это было бы труднее пережить, чем, скажем, смерть матери. Очень серьезно (к вопросу о «пустяках» и «психически сравнимых величинах»).

•

«хорошенькое личико в стиле времен регенства»

•

И еще женское имя: Галиматья.

•

дуновение вдохновения

И при всем том я еще не встречал человека, которого эротическое до такой степени поглощало бы всего.

•

Прынец Гамлет, пляшущий матаню.

•

В Нотр-Даме бедняга Квазимодо полчаса «с жуткой равномерностью» и изо всех сил бьется головой об стену. И ничего. Потом он садится у двери «в позе, исполненной изумления».

•

Грустная песня США: «Отец небесный, заря угасает».

•

Невозмутимая истерия, но мне дорого обходится.

•

Стыд — лучшее из числа «благородных чувств». Можно завидовать мертвым во многом, но только не в том, что они срама не имеют.

•

И возражения-то самые смешные: раз Флавий умолчал, значит Нагорная проповедь галиматъя. Иона не мог попасть в чрево кита — значит и все книги пророков ничего не стоят.

•

«с недельку потужить» после кончины

•

Популярной в 20-е годы была поварская вегетарианская книга с названием «Я никого не ем».

•

Признаки верного благополучия в семье 20-х гг.: герань, гардины, граммофон.

•

Жена Геббельса курила сигареты: отучить Зимакову курить.

•

Любит философствовать, приговаривая: «Кто создал наше тело?— Природа. Она живет и разрушает его каждый день. Кто выпестовал наш дух?— Алкоголь выпестовал наш дух, и так же разрушает и живет его, и так же постоянно».

•

наш простой советский сверхчеловек

•

«Берегите слезы ваших детей, чтобы они могли пролить их на вашей могиле» (Пифагор).

•

он был человек простой и неотесанный, поехал в Горки проветривать мозги и т.п.

•

Бонапарт рекомендовал как можно чаще оперировать понятиями, ничего не выражающими и все объясняющими, например «судьба».

•

Прежде у людей был оплот. Гусар на саблю опирался, Лютер — на бога, испанка молодая — на балкон. А где теперь у людей опора?

•

Есть языки, в которых вообще нет бранных слов и выражений, тем более нецензурных. У малайцев, например, самое сильное оскорбление и ругательство: «Как тебе не стыдно!»

•

А почему я бездельничаю — потому что в калашный ряд только со свиным рылом впускают, а вода только под лежалый камень течет, и т.д.

•

И если уж гнаться, то не меньше, как за двумя зайцами.

•

У жидов есть искусство и есть торговля. И примесь искусства в коммерции, и примесь коммерции в искусстве.

•

«старичок крепкий, как умывальник»

•

«Гляжу я на тебя, Тихонов, и думаю: отчего это все великие люди плохо воспитаны?»

•

Для чего нам говорить «самолюбие», «тщеславие» и все т.п., когда у нас есть «гордыня», термин точный и освященный новозаветной традицией.

•

Аттила, принимая византийское посольство, сидел на троне и выковыривал грязь между пальцами ног.

•

Китайцы смеются, сообщая печальные новости — по их понятиям, это выказывает твердость духа и ограждает от выражений сочувствия. Эренбург: Эми Сяо сообщает ему о смерти своей жены — с хохотом.

•

Фет — буфет. А у Маяковского даже: Фет — кафе.

•

и две коровы: одну назвали Догма, другую — Доктрина

•

Конь задохся, как удавленник. Бубенцы осатанели.

•

И еще женское имя: Агентура.

•

Mutantur tempora. В правлениях совхозов висят портреты па-тера Менделя. Стаханов, преклонный старик, застрелен в затылок при попытке к бегству ракетой «земля-воздух». Проходимец Лысенко объявлен врагом народа, а Надежда Крупская уличена в лесбиянстве. Мичурин, оказалось, на своем участке в Козловском уезде выполнял задания фашистских агентур. Сыновья удавлены. «Чорт» снова пишется через «о», а «весна» через «ятъ».

•

раздроблена нижняя челюсть правой ноги

•

Великолепное «все равно». Оно у людей моего пошиба почти постоянно (и поэтому смешна озабоченность всяким вздором). А у них это — только в самые высокие минуты, т.е. в минуты крайней скорби, под влиянием крупного потрясения, особой утраты. Это можно было бы развить.

•

Во Вьетнаме учрежден вымпел, который вручается подразделению, сбившему самолет противника после доклада Хо в Пхеньяне. Вымпел называется: «По приказу дяди Хо разгромим американских агрессоров».

•

У В. Тихонова ни сердца, ни ума, ни постоянства, ни идеи — одно только: индивидуальность.

•

А что нам с этих трехсот грамм будет? Мы же гипербореи.

•

— Это кто тут у вас, Ерофеев, все стреляет?— спрашивает она.

— Это Амур,— отвечаю,— стреляет мне в сердце, жестокая девушка.

•

«ни гласа, ни послушания»

•

Геббельс, автор неологизмов: «железный занавес» и «трудо-вой фронт».

•

отсутствие динамичности в моем характере

•

все потеряно, кроме индивидуальности

•

Не любить собак. Любимая собака Гитлера в подземе имперской канцелярии разделяет его судьбу. Собака-овчарка Блонди. Гитлер в марте 45 г.: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак».

•

Солнце останавливали словом. Иоанн Богослов. Первые учебные заведения мира — школы риторики, а не военного дела, не медицины и пр.

•

познакомились и согрешили

•

Байрон говорит, что порядочному человеку нельзя жить более 35 лет; Достоевский говорит: 40.

•

А какие имена (не фамилии, а имена)! Лазарь Каганович, Лаврентий Берия, Иосиф Сталин...

•

рожа красная, как святые раны господни

•

Мне ненавистен «простой человек», т.е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости и в досуге, в радости и в слезах, в привязанности и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его «простота», наконец. Запомнить вечер в Брянске 19/VI. О, как мои слабые нервы выдерживают такую гигантскую дозу раздражения. Я посидел от того, что в милом старом веке называли попросту «мизантропией».

•

стучит казбечиной по пачке «Казбека», гладит пистолет и дует в него, точит нож о голенище — «Ну, так как же, будем говорить?».

•

Английские книги по этикету XV—XIV вв. запрещали, во время трапезы, плевать через стол и сморкаться в скатерть.

•

понемногу суживать тот круг вещей, над которым позвоительно смеяться

•

Мелкая сволочь. Люди вдесятеро сильнее их чувствующие зовут к самообузданию и являют образцы. А эти — не могут!

•

Публиций Сир: «Мы начинаем интересоваться людьми, когда видим, что они интересуются нами».

•

— Вы такой нежный человек, Ерофеев, такой неожиданный. Я буду реветь, когда вы уедете.

•

Гете имел привычку принимать королевских особ у себя — во фланелевом халате и в тапочках.

•

Колхоз дело добровольное: хошь, не хошь, а вступать надо.

•

А вот еще одна моя заслуга: я приучил их ценить в людях еще что-то сверх жизнеспособности.

•

Магазины на ул. Пушкина. Соболя и колбасы. Вино, фрукты и диапозитивы.

•

«Буря возмущения среди трудящихся Англии»: консерваторы ввели трехдневную рабочую неделю.

•

и ограниченность и нормативность

•

Ср[авни] их тяж[есть] и безвыходность, и мою, дурац[кую]. У них завтра зарпл[ата] — а сегодня нечего жрать. А у меня ленин[градская] блокада.

•

Пресловутый Амальрик: «Россия — страна без веры, без традиций, без культуры и умения работать».

•

т.е. виною молчания еще и пост[оянное] отсутствие одиночества: стены закрытых кабин муж[ских] туалетов исписаны все, снизу доверху. В открытых — ни строчки.

•

гарнизонным языком и походкою

•

Эпикур, в письме к Менелаю, свое знаменитое: «Благодарение божеств[енной] натуре, за то, что она нужное сделала нетрудным, а трудное — ненужным».

•

Мистика всегда шла бок о бок с половой распущенностью.

•

«Гибельные следствия полуфилософии» (Карамзин).

•

Библейское: «И только печаль утоляет сердца».

•

Ввели новый термин: «бессильный гуманизм». Да и всякий гуманизм бессилён. Да здравствует бесс[ильный] гум[анизм]!

•

Дворник у Максимова: «Я вас всех приведу в исполнение!»

•

«вместо полноценного шизофреника с агрессивными наклонностями — ему подсунули заурядного болвана без всяких бредовых снов и аномалий»

•

«за кровавую блажь нескольких параноиков должна платить вся нация»

•

Марк Крепс у Максимова: «Да мир до самого светопрествления обязан благословлять Россию за то, что она адским своим опытом показала остальным, чего не следует делать!»

•

«вмешиваться в земной правопорядок»

•

Вот и Христос: «тут же разрушу храм и в три дня его построю». Почему же в три, если он мог и в одно мгновение? Так убедительнее для обывателя.

•

Не хочу ходить по одной половице.

•

Вадим Тихонов, титан пустобрехства, корифей бестолковости.

•

И я постоянно эскортирован.

•

соитие страстотерпца с великомученицей

•

Они работают, ну и пусть работают. Это очень мило с их стороны.

•

«обморочным ощущением отчаяния»

•

На всей земле нет более скучного умом человека.

•

Ото всего этого несет непоправимостью.

•

У него зато душа грамотная, душа — с высшим образованием.

•

«Мир — результат самоограничения Бога» (Л. Карсавин).

•

Не забывать о главном: трогательность.

•

Одну руку вложил в другую и сделал так подряд несколько стахановских движений.

•

Следует вести себя удовлетворительно. Отлично себя вести — нехорошо и греховно.

•

И в самом деле (где-то у Шварца): если бы Франц Моор пришел в театр смотреть «Разбойников», он болел бы за Карла Моора.

•

«подкрепившись молитвой»

•

Св. Филипп, в мире Феодор: «Не разлучай меня с моей пустыней»

•

Альбер Камю «примыкал к модернистскому направлению так наз[ываемого] героического пессимизма».

•

У него: «из столкновения человеческого разума и безрассудного молчания мира рождается абсурд».

•

Восст[ановить] эту параллель пьющих и непьющих:

Христос — Магомет

Дантон — Робеспьер

Геринг — Адольф

Есенин — Маяковский

•

По примеру языка нести коммуникативную функцию.

•

Татьяна Нилова: «Сорокин тем лучше Тихонова, что, когда выпьет, не говорит умных вещей».

•

женщина неограниченных возможностей

•

бесстыдство помыслов

•

пукать надо чуть картаво, с еврейским акцентом

•

«непригодна для молодых субъектов»

•

«ангел ты мой поднебесный»

•

«Превыше всего — забота о сохранении собственного достоинства» (Цезарь у Саллюстия).

•

Самые частопомин[аемые] фамилии по заморским радиост[анциям]: Пиночет, Попадопулос, Померанц.

•

Перголези — Векерлен:

«Ах, зачем я не лужайка?
Ведь на ней пастушка спит».

•

Нельзя сказать, чтоб я вел себя наилучшим образом.

•

Протопоп у Лескова: «Мечтателю подобает говорить бесполово».

•

Да мало ли отчего дрожит рука? От любви к отечеству.

•

Я наказан в Болшеве, как прежде в гимназиях: неделя без прогулки, воскресенье без сладкого.

•

«Эта работа тем более подходила мне (раб[ота] историка), что я был свободен от надежд, от страха и от духа партийности».

•

непреложная девушка Рунова

•

Человек внезапный. А у меня нет никакого вкуса к этим внезапностям.

•

«искалеченных правильной жизнью»

•

и одесситская манера выражаться: «Не доводите человека до крайности» и «Наплюйте мне в очи».

•

«мы восприняли это как оскорбление нашей мечты»

•

«Нет, товарищи, так мы счастья не достигнем!»

•

«По библейским понятиям, она была проклята Богом отныне и до века».

•

«такой нечаянный и огромный душевный покой (отсутствие самых ничтожных тревог), по словам людей суеверных, никогда не остается безнаказанным»

•

«одиночество, близкое к состоянию безмолвного душевного подъема»

•

«щемящие сердце взаимоотношения»

•

«у меня было какое-то важное дело на душе»

•

Ср. Сто дней Наполеона и Сто дней Магеллана.

•

«Поник я буйной головой,
Погибли идеалы»

(Некрасов)

•

Корот[кие] мысли: «Любови цыганской короче», как гов[орил] Блок.

•

На левую ногу я надел ботинок без носка, на правую — только носок. Пусть все видят, что я взволнован.

•

«свободный дух, не удрученный преступлениями и не ослепленный страстями» (Катон Утический-млад.).

•

назидательное зрелище

•

Сходится клином земля, с овчинку кажется небо.

•

Это происходит и по вине людей и по Божьему попущению.

•

он щекотал подмышками эту великомученицу

•

Эпоха великих порнографических открытий

•

Солж[еницын] не потому интересен, что о нем много трезвонят. Ср. например, шумы в местах радио «Своб[ода]». Мы вслушиваемся не потому.

•

«хорошо образованную душу и хорошо устроенные члены» (у Коменского).

•

«кто хочет, пусть думает иначе»

•

«Здесь никогда не бывает благодатных времен года»

•

дегенеральный секретарь

•

150, потом 200, непростительно мало

•

«Наши внутренние силы ослаблены грехопадением»

•

«Это может доставить удовольствие только извращенному сердцу».

•

«Ты сам избрал свой рок», как гов[орила] Дидона Энею (Персе[ю])

•

Супруги [Воронели], кичащиеся своей небыстрорастворимостью в деле.

•

Романс Ипполитова-Иванова: «О, запах померанцев!»

•

Глупая радиостанция «Свобода», она выбирает для трансляций на Союз как раз те волны, на которых больше всего шума — нет бы сместиться влево или вправо.

•

Любить Родину беззаветно — это примерно значит: покупать на все свои деньги одни только лотерейные билеты, оставляя себе только на соль и хлеб. И не проверять их.

•

Никсон попросил Голду Мейр занять более гибкую позицию.

•

Уйди, противный, а не то я тебя убью из револьвера.

•

«Распускайте Думу, но не трогайте Конституцию» (Столыпин).

•

«таил в себе сокровища эгоизма и эпикурейских склонностей» (П. Анненков).

•

Вот у Некрасова изображ[ение] горя:

«Соленых рыжиков не ест,
И чай ему не пьется».

•

«Что мне в ваших рукоплесканиях?» (Иоанн Златоуст).

•

Всеблагий Боже, но чем же закусывать?

•

беззаветный труженик В. Ер.

•

До победного конца. Т.е. или Садат пополам, или Мейр вдребезги.

•

послан на прежние местожительства.

•

«там есть орхидея, прекрасная, как семь смертных грехов»

•

«заражен чужеземными взглядами»

•

«Обожаю простые удовольствия. Это последнее прибежище сложных натур».

•

«Идеальный человек. Но жаль, что пьянствует» (Чехов о Горьком).

•

Мы так и не прикоснулись друг к другу, я чмокнул ее в запястье, правда, а через полгода она родила пухлую девочку с голубыми глазами.

•

«Агония продолжалась три минуты».

•

Чета Алухтин — Чайк[овский]. Продлить и заподозрить: Рожд[ественский] — Таривердиев.

•

суесловие и пустозвонство

•

Дуры песни поют, а дурак все горит, разгорается.

•

Князь Вяземский советует иметь по русскому часовому при каждом поляке.

•

«и раздвояется сердце человека»

•

«Не родись красивой», как сказ[ал] Андрей Эшпай.

•

И посылает нам искушения, чтобы удостовериться, насколько мы усовершенствовались.

•

«Я христианин и не подобает мне кланяться твари» (А. Невский).

•

«махровые головки» у цветов (рус[ская] поэзия)

•

Жандармск[ий] генерал-майор Глоба телеграфирует в Петерб[ург] директору Департамента Полиции:

«Астапово полное спокойствие. Население относится безучастно к участи графа Толстого».

•

Графу Толстому, за 3 дня до кончины, для поддержания деятельности сердца дают коньяк.

•

«Счастливы тот, кого смерть застигнет за подобным занятием» (Эразм Роттердамский).

•

Он все путает Андре Жида с Андреем Ждановым. Леконга де Лиля с Руже де Лилем и Мусой Джалилем. Бук с бамбуком.

•

Он в Риме был бы Периклес, а в Афинах Брут.

•

вела себя естественно и позорно

•

Одоевский, 13 дек. 25 г. «Ах, как славно мы умрем!»

•

Жители острова Гельголанд желают друг другу в Новый год не здоровья, не удачи, а «спокойного сердца».

•

«Иногда, хоть и редко, свежесвыпущенная моча светится фосфорическим светом; причина фосфоресценции еще не выяснена» (проф. Бок).

•

Пленцдорф. «Еще один гвоздь в мой гроб, старики!»

•

Какой-то иностранец (1825) доносит на Запад, что при коронации Николая I в Москве «мужиков было задавлено на 8000 рублей».

•

я упал в обморок, но не показал и виду

•

Не замечать за собой ничего дурного. Пусть левая твоя ноздря не ведает, куда сморкнулась правая.

•

Ты, Ер[офеев],— сказал мне 12-го,— специалист по этим ледяным бабам, ты гляциолог.

•

«а по ночам обнимать пустоту», как говорит Мопассан.

•

«нечто необычайное, превышающее всякое вероятие»

•

Что в этом случае сказал бы псалмопевец? Он ничего бы не сказал.

•

Вьпью еще стакан солнцедара, закушу луковицей и буду славить моего господа.

•

Щербина говорил о русских:

«Мы — европейские слова

И — азиатские поступки»

•

во Владим[ирской] области, «заколдованной области плача»

•

Эта пара еврейских любовников — Сакко и Венцетти.

•

О где же необольстимый Судия? Чего он медлит?

•

Не возьму моральной потери, но и подставлять левую щеку потом не буду. Попробую забыть и «перестрадать». Пусть

левая твоя щека не ведает, что тебя трахнули (съездили) по правой.

•

параноик «с византийским уклоном»

•

в скоморошьем расположении духа
в дидактическом, менторском етс.

•

«Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного» (Псал. 13, 2, 3).

•

«Св[ятое] Писание есть небесная школа, аудитория истины»
(Кассиодор).

•

свежа, как предание

•

«Прости меня, благородное животное».

•

Народ говорит: «Неудобно только на потолке спать. "Так просто" только кошки ебутся».

•

«в этих стихах слышится вызов небосводу»

•

«Богородица не велит»

•

нации, скопом, вымирают от угрызений совести

•

Боря уехал к Сед[аковой] за мозгами.

•

Эразм гов[орил]: всего безопаснее спать на клевере, потому что змеи никогда не прячутся в этой траве.

•

Конституция должна гарантировать ч[елове]ку право на галлюцинацию и «перманентную угнетенность».

•

«похоть очей и гордость житейская»

•

«Ум ищет божества, а сердце не находит».

•

В дороге 23/1. Кому предстоит послать телеграммы? 16 фев.? Ах, да, они все умерли.

•

Сколько среди персонажей русской беллетристики XIX самоубийц — больше, чем было в действительности. Ср. в XX — повальные самоубий[ства], а ни один почти персонаж не покончил с собой.

•

И не забывать о своем диаспорическом родстве с иудеями.

•

Ключевский: «гальванистические подергивания мозгами».

•

От каждой двадцатой бабы тебя, Ер[офеев], кидает в озноб.

•

Твоя фатальная девочка скоро облысеет, раздавая локоны разным православным бабникам.

•

«в мою взволнованную душу, в которой свирепствуют тысяча бурь»

•

«эпикурейская распущенность»

•

Какого им еще мессию? И что он сможет добавить к тому, что тот уже сказал? Этот, ихний, будет молчать и заниматься судопроизводством.

•

Еще жен[ское] имя: Прокуратура (пр[осто] Прошка).

•

из разряда деликатесов

•

«Между нами зияла метафизическая бездна»

•

Сослан в Тулу за гомосексуализм.

•

морганатический (т.е. тайный) брак скреплен симпатическими чернилами.

•

Этого глушца даже удобно держать у себя в квартире: он поглощает углекислоту и выделяет чистый кислород.

•

«Ночь глуха, полна соблазна.
Девы грудь волнообразна»
(В. Бенедиктов)

•

Хотел ее пощупать, но это вызвало бы большой международный резонанс.

•

Установить для Мельниковой, был ли Дантес евреем, она мне за это полтинник даст.

•

«удаление с кафедр и заточение»

•

«умозрительные конструкции»

•

в Болшеве, т.е. в стороне от всяких превратностей

•

«мой вялый разум и мое усталое сердце»

•

Р. у супруга-еврея заимствовала жестоковейность народа-избранника

•

Черный сентябрь. Под угрозой парабеллума направить автобус с детишками куда-нибудь. Дорогой выбрасывать трупы первоклассников и цветы.

•

и никто во вселенной над этим не властен

•

рукотворный, т.е. ману-фактурный

•

Если в граммах считать, я больше пролил слез, чем Боря водки выпил.

•

И Сергей Михалков, одержимый холопским недугом.

•

До чего дошло дело: передачи по радио для любит[елей] рус[ского] языка: «Труженики-суффиксы и работяги-приставки».

•

А в одиночестве он занят непотребством, вместо того чтоб откровенно беседовать с Богом.

•

«и безумием любви отравлено сердце»

•

Еще замыс[ел]: если меня сейчас остановят и спросят (вздор как[ой]-н[ибудь], я отвечу (невпопад). Если догонят, возьмут за локоть и спросят (опять вздор), я уберу локоть и ничего не отвечу. И т.д.

•

«но терпение и молитва преодолели все напасти»

•

«желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать»

•

Сергий Радонежский: «От юности своей я не был златоносцем, в старости же тем более хочу пребывать в нищете».

•

«романтическая причуда» — прежде чем уничтожить чел[овека], обрезать у него уши

•

О степенях взволнованности: у [?] перчатку с левой руки надевают на правую руку. У Самуила Маршака те же перчатки уже надевают вместо валенок.

•

Лучшее назначение перчаток у «полноценных» людей. Герой Жуковского швыряет ее даме сердца в ебало. Герои Лермонтова — кидают ее оскорбителям, требуя сатисфакции. Герой Льва Толстого лайковой перчаткой лупит татарина по зубам.

•

всеобъемлюще, незыблемо и достоверно

•

Не умер, а «ушел за грань земного круговера».

•

Старик Петруша: «А сегодня вот что снилось: сижу я на завалинке, курю, и вдруг мне глас с неба: брось курить, Петруша, а то умрешь».

•

Европе нужен бык, быку нужна Европа.

•

Ткацкая фабрика имени Пенелопы.

•

в небеса запустил ананасом

•

«Грех юности моей и неведения моего не помяни».

•

«А у нас на троих есть бутылка одна».

•

Вы такая аппетитная дамочка, такая соблазнительная, дозвоьте у вас п-пульс пощупать.

•

Дурачить людей по методу Станиславского.

•

Я стал терпимее к иноверцам.

•

Лучше недобдеть, чем перебдеть.

•

в целях продолжения перспектив

•

Держись!

•

Семейные алтари разбиты. Нравственность низвергнута. Ночные кабаре и кафе-шантаны.

•

Для чего только этот человек топчет мироздание?

•

пронзительный ум

•

Ты видишь, я плачу?

•

«И десять девственниц пришли торжественным посольством. Облобызать следы плевков на праведном челе» (Жюль Ромен).

•

разделяя его разрушительные идеи

•

нравственные устремления юношей

•

Стихи дымчатые и призрачные. Например: «И поет про замечательные кудри черноморский молодой матрос».

•

Все то, что можно короче назвать собирательным именем «муки транзита».

•

Надо только уметь подкараулить это в себе и облечь в более или менее зловонную форму.

•

ненужное фанфаронство, чапаевщина

•

4 террористич[еские] организации: ОАС, БОАС, Даллас и Мосгаз

•

дубовая демократия взамен стального единства

•

Так думаю я и со мной все прогрессивное человечество.

•

Я сердоболен.

•

вульгарное

хлебные карточки
 жилотдел
 казенные портянки
 маргарин
 подоходный налог
 ливерная колбаса
 солдат
 туберкулезный диспансер
 «попердывал»
 автобаза
 младший сержант
 Дашка
 совнархоз
 понос
 санпропускник
 завскладом

изысканное

гиацинты
 грезы
 па-де-труа
 левкой
 протуберозы
 любёвнички
 жюрфикс
 грациозно
 фильдекос
 богиня
 фиал
 сладостный илот
 маминька
 лирический вздох
 гармония
 Санта Мария Новель

•

Смрадные и грешные отверстия ниже пупа

•

Выходит, как жених из брачных чертогов.

•

«Теченье дней, шелестенье лет»

•

Осталось: 600 раз пообедать, 12 раз сходить в [?] и т.д.

•

на мне слишком много вериг

•

О русских и прочих песнях. Русские продиктованы тем или иным видом опьянения, тоскливого или бесшабашного. А песни типа: «Под горою, под сосною спать уложите вы меня» — в состоянии похмелья, наутро.

Ср. итальянские: «Купите фиалки, они недорого стоят».

Ср. украинские: «Я не пойду за тебя, у тебя нет хаты» и пр.

•

История и мифология.

1. Почему закололся Митридат?
2. Акведук и ликтор — это одно и то же?
3. Диверсанг и дивертисмент "-"-
4. Аннулировать и реабилитировать "-"-

•

Кстати, об Иоганне Штраусе. Простигутки у Чехова, Куприна, Горького etc от него без ума, то есть именно от него: см. у Горького в рассказе «Отомстил»: «У него нервный звук. В его музыке звучит нега и страсть».

•

Вот чем (арифметически) измерять моральную ценность индивида: длительностью реакции на эквивалентное ранение.

•

«Но временами демон печали и меланхолии, приблизившийся к нему, задевал его своими черными крыльями» (Бауэрнфельд о Шуберге).

•

Поздние Бальзак и Диккенс, оба, склоняются к детективу. См. авантюрный «Блеск и нищ[ета куртизанок]». Диккенс почти в манере Уилки Коллинза.

•

«А что я с этого буду иметь,
Того тебе не понять»
(Новелла)

•

Тертуллиан и его знаменитое «душа человеческая есть по природе своей христианка».

Розанов: «Душа человеческая по природе своей язычница, которой, чтоб воспитаться христианкою, нужно пройти через тесные врата бесчисленных отречений».

•

В «Правде» 37 г. статья «Колхозное спасибо Ежову».

•

А после пива сразу красное, «не переводя дыхания», как говорил Эренбург.

•

«и теперь такая мигрень и так в носу грустно...» (водевиль Екатерины II).

•

Лауреат Ленинской премии Николай Коперник.

•

Пощупай душу мою, обнюхай мое сердце.

•

Ближайшее родство, как имбирю родственен кардамон.

•

зато душа у нее пригожая

•

как яньгчар без ятагана

•

гуттаперчевая девочка

•

Что лучше: ошибиться или ушибиться?

•

Розанов цитирует Гоббса: истина вроде той, например, что сумма углов треугольника равна 180° , не обошлась ни в одну каплю крови, поскольку это истина, не затрагивающая ничьих интересов.

•

В разврате камнейте смело.

•

Оделся в праздничный наряд город великого Октября.

•

строгие, подтянутые барабанщики

•

Советская власть стала взрослеть тоже на 37-м году.

•

мальчик величиной в 5 лютиков, в 2 одуванчика

•

Не говори с тоской «не пьем»,
Но с благодарностью «пили».

•

В конце. Бешеное нагромождение всяких несообразных финальных перипетий. «Но это ведь тоже совсем неправда».

•

Метерлинк: «Все слова сходны. Молчания всегда различны».

•

белобрысыя балаболки (баламутки)

•

французские композиторы на М: Манго — Маникюр — Манекен — Медальон — Меню

•

Лишить нашу Родину-мать ее материнских прав.

•

«это я сделал, и вседержитель это видит»

•

«открыта была до самых пор» (актриса т.е.)

•

«смерть враждебна естеству и помыслам преграда»

•

А меня это не касается. Моя хата на проезде МХАТа.

•

толстеет, раздается, как топор дровосека

•

Лева набран петитом, а я курсивом.

•

Макс Штирнер: «Я ничего не делаю — ни Бога ради, ни человека ради; все, что я ни делаю, я делаю лишь ради самого себя».

•

Из чьей-то скептической песни:

«Ври, Мюнхаузен! Выдумывай, барон!
Выдавай за чистую монету!
Не стесняйся, старый пустозвон,—
Все равно на свете правды нету!»

•

«И скончался на 88-м чихе под громкий смех окружающих».

•

Громкий успех болгаринского «Ивана Выжигина», громче всех пушкинских успехов.

•

Пушкин называл Англию родиной карикатуры и пародии.

•

Загадка. Что черное на одной ноге? Что черное на двух ногах, трех, четырех? Негр-калека, два негра-калеки, рояль, негр-калека играет на рояле.

•

Любить тебя или наоборот? Т.е. перед тобою пуд соли и тебя терзает: съесть с тобою этот пуд или высыпать его тебе куда-нибудь.

•

«невозмутимо и безжалостно совершил свое черное дело»

•

пастельность и цельность

•

выебончик с надрывчиком

•

загадочная, т.е. вышедшая за гада.

•

По Шопенгауэру: бессмысленна всякая деятельность (кроме деятельности мыслителя, философски доказать эту бессмысленность).

•

Пес Фроловых — 5-месячный Вильгельм Карлович — сын Карла, пса, хозяин которого Покрьшкин.

•

Как у тургеневских девушек — страсть к чему-то нездешнему, зыбкому, к чему-то коленно-локтевому.

•

«Вы вступаете в брак по сердечному влечению».

•

«У вас помутился разум от молодого вина?» — девушки — морякам.

•

инакопишущие

•

беспутства хватило бы на 10 гениев

•

У меня нет адресов, у меня только явки.

•

Шопенгауэр приводит слова какого-то бойкого англичанина: «У меня нет средств содержать совесть».

•

И еще: «совесть не грызет меня, я ей не по зубам».

•

На столе сервированы были болгарские духи с водой из унитаза.

•

С меня, болшевского, П. И. Чайк[овский] написал свое знаменитое *Andante cantabile* на тему «Сидел Веня на диване, курил трубку с табаком».

•

От одних только икр ее мороз подирает по коже.

•

«без всякого намерения, из одной опрометчивости»

•

«следствие расположения духа и обстоятельств»

•

Народные заговоры и средства:

1. От зубной боли. Стиснув во рту корень лесной земляники, задушить двумя пальцами крота.

2. Все почти загов[оры] нач[инаются] так: «Лягу я, раб Божий и, помолясь, встану, благословясь, умоюсь я росой, утрусь престольной пеленою, пойду я из дверей в двери, из ворот в ворота, в июле и скажу... (что-нибудь ляпнуть)».

•

«а тело бы мое было от вас не окровавлено, душа не осквернена»

•

и трепетная, как реальность

•

Мартин Бубер: «Чувство времени у евреев развито намного сильнее, чем чувство пространства: красочные эпитеты Библии говорят — в противоположность, например, гомеровским — не о форме и цвете, а о звуке и движении».

•

Снять с него штаны и избить по пяткам дирижерской палочкой.

•

От любви к Родине: расстройство чувств, нарушение координаций, дрожь в руках, в висках боли.

•

«в его заскорузлой голове»

•

Я бесил их своим бессилием.

•

и преуспела на поприще бессловесности

•

Из всех слов ж[енского] рода это слово претерпело наибольшую девальвацию

•

Ну, конечно, зачем ему знать лат[инские] глаголы и спряж[ения], когда ему «ведомы глаголы вечной жизни».

•

Не будем обижаться, не будем издеваться,
А будем обнажаться, а будем раздеваться.

•

толщина по-польски будет «грубость»

•

вместо «плащ» говорить «гиматий»

•

«книга, полная романтич[еских] измышлений»

•

Создатели рус[ского] балета: Людвиг Минкус, Цезарь Пуни, Мариус Петипа.

•

музыка балетно-дивертисментного характера

•

«Она (хр[истианская] рел[игия]) всегда оставалась в Сов[етской] России самой значит[ельной] альтернативой больш[евистской] идеологии».

•

А в ответ на это сказать какую-нибудь гадость, например: «Служу Сов[етскому] Союзу».

•

Фрейд: «Удовлетворять свои сексуальные импульсы гетеросексуальным путем».

•

обед: опоссум с бататами

•

«До сих пор нет большей печали для человека, чем начать лысеть преждевременно».

•

Еще один предмет для подражания: св. Денис, когда ему отрубили голову, взял ее в руки и прошел с нею восемь верст.

•

В те дни, когда твоя осанна проходила через горнила.

•

В повар[енной] книге определение того, что такое гювеч — болгарское национальное кушанье из мяса, риса и овощей, которое может быть без мяса и без риса и без овощей.

•

ведет себя, как выходец из Гренады. Антильская жемчужина.

•

У меня бронхи болят, седалищный нерв болит, пупок и носоглотка. Тестикулы и фолликулы.

•

«он раскрывает ей свое страдающее сердце»

•

«Во всяком случае, в этом было добросердечие».

•

«и ему стала так невыносима мысль о разлуке с сыном, что он задушил его носовым платком»

•

«и не было б детей, разрывающих наши сердца»

•

«Дела человеческие решаются на небесах».

•

Создавать деревенский колорит: ты будешь кукарекать, а мы воздух портить втроем.

•

«спивается от неосуществившихся амбиций»

•

Сюда, в эту фатеру, надо ввести чрезвычайные силы ООН.

•

Ты вынул из меня душу. «Сердце трепетное вынул».

•

болеутоляющие функции

•

«Лазаревич, мой спаситель, мой могучий избавитель».

•

«Делая букет, надо в душе поговорить с цветком» (5-е правило из «50-и заповедей икэбань»).

•

Музыка хороша в высшей мере и не исполнена, а приведена в исполнение.

•

Дон Гуан гов[орит] Командору: я чай пью — приходи ко мне чай пить — только со своим сахаром.

•

баба д[олжна] быть безгневною

•

«Гневить Всевышнего, окаянных бесов радовать».

•

Горят лампы и золоченые жирандоли.

•

«Твои глаза от этого синеют» (П. Б. Шелли).

•

«растроганность осталась»

•

Они боятся вредного. «Это вредно». Вредно сдерживать в себе газы. Вредно сообща прикладываться к одному кресту.

•

не «пока живу», а «дондеше есмь»

•

группа «беспокойных отщепенцев»

•

«в руке Сокрывающего судьбы свои от умных и разумных»

•

Фр[анцузские] правые коммунисты, сторонники «социализма с человеческим лицом».

•

«Можно обладать и небольшим голосом, как гов[енные] драм[атические] актеры».

•

«девичий наркотик»

•

Всё пусть. «Пусть скачет жених, не доскачет». «Пусть неудачник плачет».

•

Так и умри, не научившись свистеть. Так и не свистнув ни разу.

•

Может обойтись без тех тот, кто в себя погружен.

•

«Только питьё держит в равновесии тело и душу» (Г. Бёльль).

•

У Горб[унова]: «Кто-то кричит и тонет. Чья-то душа Богу понадобилась».

•

Мы с Борей в Болшеве: он, сидя за столом, уходит в себя. А я прихожу в себя, лежа на диване. И говорю: «сейчас не время в себя уходить. Сейчас надо из себя выходить».

•

Ты такая толстая, что тебя не то что таскать на руках, на тебя смотреть тяжело.

•

Поговорим о чем-нибудь несуществующем, хватит плоского реализма: об деньгах Тихонова, об уме Любчиковой.

•

Кто из нас больше всего накортке с Богом? Людские мнения мы уже слышали, но на них начихать.

•

Послушаем, что скажет животное.

•

более или менее лучезарно

•

«заплаканный верзила»

•

будничная баба и праздничный мужик

•

«Мне уже настало время спросить Бога о моей судьбе».

•

«теснимый скорбями»

•

«Перед великим умом я склоняю голову,— сказал пошляк Гёте.— Перед великим сердцем — колени».

•

Родилась тогда-то. И была со мной каждый день. А потом куда-то делась, я не знаю, куда.

•

Прелюдия Глиэра в исполнении Я. Флиэра.

•

По радио: о многожестии Ермоловой.

•

Удач тебе на всех путях твоих.

•

Любовь к несбыточным мечтаниям, например, побыть бабой недели полторы. Или года два евреем.

•

Кто бы ни был прав — Библия или Дарвин — мы происходим, стало быть, или от еврея или от обезьяны.

•

«за недостатком ясных улик»

•

«потряс душу и сердце, овладел воображением и произвел чудо»

•

ее архитектоника

•

Дурак Ал[ексей] Толстой: «На войне человек становится лучше. Чепуха с них слезает, остается ядро — и видно, с изъяном это ядро или нет. Каждому на войне хочется быть лучше и вернее».

•

гарибальдийская пицца (лапша, мак[ароны], спагетти).

•

Тем же занят был, чем были заняты пажы с графинею на виноградниках Мабли.

•

Плакать надо только от чего-нибудь большого, не надо мелким быть в слезах. Например, от большого количества выпитого, от большой глупости Тих[онова], от большого ума Любчик[овой].

•

С меня он слезает угрюмый.

•

Почему я должен болеть за арабов? Ни один араб меня еще ни разу не похмелил.

•

Завет Ник[олая] Гоголя — не оставлять порывы. Мы даже в этом переборщили.

•

Он избрал самую скверную из баб, Надежду, такое же отсутствие вкуса у него во всем, и в выборе сам[ого] скверного способа правл[ения].

•

Снова выплыли гады из мрака.

•

Написать «Тысячу полезных советов для начинающих преступников». Как выводить кровавые пятна на одежде (ни в коем случае не мылом, иначе пятна неделю останутся в ткани).

В умывальную чашку налить теплой воды, прибавить к ней чайную ложечку виннокаменной кислоты и т.д.

•

«Пусть твой труп будет таким же холодным».

•

Это, м[ожно] ск[азать], не просто хорошая проза, а вкусная и здоровая пища.

•

«У лиц с пониженным или отсутствующим этическим чувством».

•

«и всякой эякуляции должна предшествовать достаточная по продолжительности эрекция»

•

«Начавшееся семяизвержение остановить усилием воли, как правило, невозможно». (Мильман).

•

талант собутельничества

•

«как ведут себя важные дамы в важных обстоятельствах»

•

В этом, конечно, есть своя правда, но это комсомольская правда.

•

Хор[ошие] сравнения у Гейне: как гов[орили] о евреях, распявших Христа, так и в год знаменитого восстания в Сан-Доминго чернокожих: «Белые убили Христа! Перебьем всех белых!»

•

Слово «социализм» изобрел в 1834 г. Пьер Леру.

•

174 года со дня изобретения Карамзиным слова «впечатление».

•

И в запой отправился парень молодой.

•

Они пишут не сочин[ения], а диктанты.

•

Ты черный металл, я цветной, я и мягче и ценнее.

•

В твои годы (36 лет) Хафез Асад стал уже сир[ийским] министром обороны.

•

и ненависть к людям исполинского духа, где бы он ни проявлялся

•

«плод законченного скептицизма»

•

Обработанные и подсоленные лягушечьи бедрышки смочить в молоке, запанировать в муке и жарить во фритюре. Гарнировать лимоном и соусом тартар.

•

«Однажды Бог явился мне и сотворил чудо», как сказала Юлия Шмуклер.

•

недемократические привычки, например, мыть руки перед едой

•

Адам из мягкой глины, а Ева из твердого ребра.

•

Не забыть о йогах и клизме.

•

«горький вкус обреченности и рока»

•

«Я ценю сильный характер, даже если он скверный».

•

«блестящие, но бесполезные порывы»

•

Когда пугает каждая печная труба, и дым, идущий из трубы, и даже тень, идущая от дыма.

•

исправлять диспетчерские функции

•

проговорили ночь о первопричине всех явлений

•

мечта о благосостоянии в прямом, а не в карманном смысле слова

•

вольный каменщик на богостроительстве

•

В древнеегип[етском] эпосе, оправдат[ельная] речь умершего:

«Я не чинил зла людям
И не нанес ущерба скотам».

И дальше:

«Я не был причиной недуга
И не был причиной слез».

•

Любой донос хуже, чем тысяча плохо сделанных порнограф[ических] открыток. Любой дон-хуанов список лучше, чем самый лучший проскрипционный.

•

«не обремененная сознанием»

•

пить для восторгу или для терзания пить

•

Пора домой. Я чем-то удручен.

•

«Человек может прожить 5 недель без пищи, 5 дней без воды и 5 минут без воздуха». И 5 секунд без Веди.

•

«Она мечтала уйти из мира, где отсутствует замысел».

•

не без пафоса, а без аффектации

•

«Словно бы, говорит, мне скушно, третий день сердце чешется».

•

«Дай только Бог, чтоб это было не в последний раз в сей нашей кратковременной жизни».

•

вместо «выпить послед[ний] раз» — «прощальный карамболь»

•

«отличается стойкостью и нектаральным вкусом»

•

«нам больше невозможно пить по этому преискуранту»

•

«Ты вышей. Это тебя сократит».

•

не «талантом наградил», а «такое ему Бог дал насчет этого понятие»

•

Ему пить нельзя — он от этого падает в обморок. В особ[енности] с бабами, они его корежат, как выпьет — сразу обморок. В один из этих обмороков он подхватил сифилис.

•

Я пью за разоренных дам.

•

Покупайте советские часы — самые быстрые в мире.

•

«находясь в тюрьме за половые преступления»

•

«во всем испепеляющем сиянии своей личности»

•

Иезуиты изгоняются из Франции на том основании, что это учреждение противоречит естественному праву.

•

Прощай. Веревку и мыло я найду.

•

Гроза-то мелкая-мелкая. Гроза Николая Островского.

•

«но я был равнодушен к предметам его энтузиазма»

•

С таким грузом добросовестности можно ли жить?

•

У Гейне: «Только дурные и пошлые натуры выигрывают от революции. Но удалась революция или потерпела поражение, люди с большим сердцем всегда будут ее жертвами».

•

«описавший эту разновидность разврата»

•

И этот хронический гамлетизм, хотя я ни убил ни одного отца ни одной из своих невест, и мама моя не выскакивала замуж за убийцу моего папы.

•

«Пусть жена изменяет мне, только бы родине не изменила».

•

режим наименьшего благоприятствования в МьшLINE

•

Королева изящества и рыцарь мечты. Барышня и хулиган. Подлец и проститутка.

•

«Чувство юмора» (так называемое), доведенное до масштабов мексиканской мексиканщины. И дурак Фауст с его прожектами, и оскорбленная девка, Мефист[офель] на случай «великого преобразования природы» удаляется к Брокен плясать с голыми ведьмами, и ни одна баба от него не накладывала рук.

•

Воздухоплаватели Коккинаки и Гастелло.

•

«в тихий край медлительных движений и медлительных улыбок»

•

«приглашаем молодого актерика на комильфотные роли».

•

Взрыв в Хиросиме и единственное существо, выразившее протест,— рим[ский] папа.

•

К вопр[осу] о «больше пролил слез», чем и т.д. У меня больше грязных мыслей в голове, чем грязных волос на ней и т.д.

•

«подкрепляя достоверность своих слов ссылками на Талмуд»

•

«Клянусь кровью и телом Христовым».

•

Манера письма должна быть чрезвычайной, а интонация — полномочной.

•

И кроме, еще: мы обязаны свято хранить (оберегать) массивы Уссурийской тайги. Так разве я нарушил? Я сижу и свято оберегаю. Я в эти массивы еще даже ни одного окурка не бросил.

•

Так много зайцев в этих сверх[снегах]. Дед даже поскользнулся на одном из них.

•

Ресторан в Тель-Авиве под именем «Тоска по родине». Захаркано, заблевано, на стенках «хуй», посуда немьггая. После расчета специал[ьный] вышибала коленкой под зад отправ[ляет] тебя на бульвар.

•

Из листовок 20 г.: «Тов[арищ] красноармеец! Ты крепко удержишь винтовку своей мозолистой пролетарской рукой, и штык твой колет то направо, то налево». И т.д.

•

Итак, я остаюсь верен своей исторической надежде.

•

Ну и что ж, что поблядовывает. Помнишь, в песне Леля: «Не мешай по тропочкам, тропочкам-дороженькам, девушке бежать, девушке бежать».

•

Я при словах этих не только затаил дыхание, и зрение и слух затаил, я не только что дыхание, я пищеварение затаил.

•

Присуждение Пахм[утовой] к 50 лет[ию] ордена Ленина. Ник[олай] Добронравов, в постели: «Ну, иди ко мне, кроха моя орденосная».

•

Решено соорудить снеж[ную] бабу — статую юбилейной Пахмутовой, с приклеенным орденом Ленина, вырез[анным] из газет.

•

Если б в 45 г. мы двинули бы дальше на Запад, дошли до самых зап[адных штатов] США, то по типу Суворов-Рымникский, Потемкин-Таврический, Дибич-Забалканский, маршал Жуков звался бы Жуков-Колорадский.

•

Когда Господь глядит на человека, он вдыхает в него хоть чего-нибудь. А тут он выдохнул.

•

чуйствую с утра недостаток ядерного потенциала

•

Сообщ[ение] по радио: между V и VI (ноябрьским) съездом композит[оров] их число на 500 стало больше.

•

И о Мур[авьеве]. Он груб, и стало быть глуп, я-то был влюблен в него в ту юную пору, когда ум дороже сердечности.

•

Очень динамичный хуеплетик, очень динамичный.

•

Не надо ли чего, кроме соединения крайней бестактности с крайней неповерхностью. Величайший образец — Иисус. Верх глубинностей и вершина бестактностей.

•

Беспорывная женщина, снежная баба.

•

А мы для них, для жидов, просто окр[ужающая] среда, среда обитания.

•

Надпись «Комитет борьбы с окр[ужающей] средой» заменили на «Охрана загрязнения окружающей среды».

•

«и чтут тебя все земнородные племена»

•

Или, на ту же тему: «я простая девка» и т.д. Один сонет у Гумилева из «Жемчугов» начинается так: «Я попугай с Антильских островов».

•

умен от вечной темноты

•

Я любил тебя не менее, чем Исаака Авраам.

•

Законов всех она сильнее.

•

И заставляю себя любить.

•

«крайне жизнеспособная посредственность»

•

Служить не катализатором, не ферментом даже, а просто антифризом.

•

Надо еще подумать, для каких целей в 40-х годах Господь обделил нас поражением.

•

Ну, да что говорить, все зависит от душенастроения. Вот и наш портвейн народ зовет иногда пренебрежительно: бормотуха, а иногда ласково: портвешок.

•

Вы служите единому Богу, а я бесчисленным ваалам и вангам.

•

По радио: состязания тяжелоатлетов в наилегчайшем весе.

•

Если б меня спросили: как ты вообще относишься к жизни, я примерно ответил бы: нерадиво.

•

— Куда ты ведешь нас, безумный старик?

— А хуй его знает, я сам заблудился.

•

А я уйду на балкон и притворюсь цветочком. Они придут, посмотрят — а это что за цветок на этом вот горшке? Носова со страху скажет что-нибудь не то, вроде «палтус».

•

Рус[ское] нар[одное]. Моя милиция меня бережет, сперва посадит, потом стережет.

•

А веселиться я не люблю. Я человек бесшалостный.

•

Ты буднишношатающийся, а я праздношат[ающийся].

•

Ну, конечно же, буду более или менее весело и бессовестно врать. Ложь, только ложь, и ничего кроме лжи.

•

В високосный год надо чтобы водка стоила 3.66.

•

А вот Хомейни. Они поступают как Магомет, и торжествуют потому. Кто бы в Европе рискнул бы поступить а la Иисус?

•

До чего же разные: эти почитают грехом спутать Ишуя с Абессаломом, а те — перепут[ать] Белу Руденко с Евгенией Мирошниченко.

•

Добав[ление] к народным этимологиям:
Декадентщина — увлечение декадами (как-то искусства и пр.).

Известняк — тот, кто все знает.

•

Кто это говорил, что деревья — это всего-навсего недорезанные бревна?

•

Нас четверо на даче. Трое со мной: юный, добрая и вечный.

•

И как быстро наступает тьма в этом ноябре. Я размахнулся — было еще светло, а как ебанул, полная темнота.

•

Ты работай, девка. А у нас — судьбы праздные.

•

«Я левит из Вифлеема Иудейского и иду пожить где случится».

•

«и вот теперь я знаю, что Господь будет мне благодетель»

•

Ну, даже на трубе. Ну, кто лучше всех в России играет на трубе? Ну, конечно, Тимофей Докшицер.

•

Летают комары. Две желтопузые птицы летают у нас по террасе.

•

И два взгляда на вещи: точный и восточный.

•

Ведь блядь блядью, а выглядит как экваториальное созвездие.

•

Писал себе письма, похерив гордость мужскую, говорил о любви, просил перемениться. И пр. И сам себе, из девичьей гордости, не отвечал.

•

А чё это меня на север все тянет, может я когда ни то птичкой был?

•

«ибо сильно блудодействует земля сия»

•

«Построен новый свиноводческий комплекс» (радио).

•

Урожай был получен не ниже, чем в прошлом году, несмотря на то, что в этом году погодные условия были таковы, что обусловили некоторое снижение урожая ввиду неблагоприят[ных] погодных условий.

•

Им ведь вот чего надо: Вальс цветов. Пармская обитель. И пр. и пр.

•

Ему за это вот лит[ературное] сочинение надо не два с плюсом; на единицу не тянет, минус 3 надо постав[ить].

•

«они действовали под влиянием заблуждения, но далеко не из подлости».

•

«но рассмотрите сами внимательно Вашу душу»

•

Алиса, 25/XI, телеф[он] «Эти дни для меня были насыщены. Насыщены напряженными научными поисками. (Почему ты не

бываешь в духовных центрах Москвы? Или ты считаешь свою квартиру единств[енным] дух[овным] центром?).

•

(Туда же: она по-прежнему на страже суверенитета? Да нет, здоровья. Так и запомню: на страже здоровья и суверенитета).

•

и очень невоиничный образ мыслей, так что подозрительно

•

и сквозное у Надьки: «базедка моя опять разыгралась»

•

Единств[енное] хорошее место во всей Крупской переписке: «непосредственность, с которой публика реагировала на игру. Аплодировали не хорошей или дурной игре, а хорошим или дурным поступкам».

•

всесоюзное совещание мусоров

•

Самое милое из именованй партии: правящая с этого года в Канаде прогрессивно-консервативная партия.

•

Алиса сказала бы так: «Выявилось некоторое сближение наших позиций в отношении ряда еще неразрешенных проблем».

•

Спросят, кем работаешь, скажи первое, что в голову подвернется, например так: энергетиком Нурекской ГЭС.

•

Вернее, не так. На вопрос: кем работаешь, отвечать: энергетиком Нурекской ГЭС и по совместительству узурпатором.

•

По радио: «На ее предложение откликнулось 102 молодых производственников».

•

И у них, у этих девушек, в душе что-то такое большое-большое, неразрешимое-неразрешимое, как проблема иранского Курдистана.

•

Да ну, чепуха, так просто. Чтобы чаще Господь замечал.

•

и все дела-то у меня, такие, мокрые, от слезы

•

«эволюция к более возвышенному воззрению»

•

сильву пленность, сильву прерванность

•

из того же цикла: засурдиненный, зачехленный, забаррикадированный, как сказали бы коммунары; на нем двойной тулуп, как сказали бы фигуристы

•

А вот тут мой полюс холода, мой Оймякон.

•

Большая халда, а строит из себя этакую маленькую субрэтку.

•

К вопр[осу] о дезертирстве. Цветок лучше назвать не палтус, а тестикула.

•

говённая монументальность, самонадеянность горбонося

•

вечер 26. Антисеминар по антисемитизму

•

Ну, короче, всё то, но немножко не так, и подозрительно оттого. Как у героя 70-х гг. Ишолита Мышкина: аксельбант не на том плече.

•

Мои познания в альпинизме ограничены только тем, что «народному вождю Красной Армии» в сказочно далекой Мексике раскроили череп альпинистским ледорубом.

•

толстосумчатые животные

•

так же скучно, как делить человечество на две категории: брахицефалов и долигоцефалов

•

ты холодец, студень ты

•

алкаш, играющий в каш-каш

•

Я оптимистично гляжу на мой народ: Количество подбитых женских глаз все-таки больше, чем количество доносов женских.

•

И вот, 20 какого-то ноября — твой синяк таков, что говорить о нем можно 2¹/₂ мин. Вот единица измерения — время об этом.

•

души прекрасные надрывы

•

Это всё та же, с детства, боязнь большой аудитории — о питер[бургском] неписательстве с двумя-четырьмя за столом я еще могу, а вот когда десятки тысяч — я не могу выйти к рампе и все такое прочее.

•

сидит такая ликующая, праздно болтающая

•

Весёлая разница. Махонький Бахрейн и большая Индия. Доход на душу населения соответственно 3800 долларов в год и 150.

•

Немец с фамилией Доннерветер.

•

беспольное ископаемое, вот кто я

•

Погоди, я приеду позднее, тов. Суркин будет делать двухчасовой доклад о существе человека.

•

Под знаком вышибающей из ума икоты.
Под знаком рвоты, которой нет предела.
Канун трагич[еский].

•

а ведет себя так, будто он национальное достояние

•

Ей — шлея под хвост, а мне кортик в грудь, по самую рукоять.

•

Я на мир не смотрю, я глазею на него.

•

Помолчи, не проникай, я сам знаю свои сроки, не вводи свои танки в мой Кабул.

•

Любопытные сведения из последней русской истории: в 1932 г. была объявлена «безбожная пятилетка», планировалось к 1936 г. закрыть последнюю церковь, а к 1937 г.— добиться того, чтобы имя Бога в нашей стране не произносилось.

•

А вот Михаил Евграфович говорил, что если хоть на минуту замолчит литература, то это будет равносильно смерти народа.

•

В начале января, на подъемах, я понял, что я безобразен недостаточно, потому что кишка тонка.

•

достойно только восхищения и ничего больше

•

Прежний президент Пакистана Бабрак Кармаль оказался агентом ЦРУ, смещен. Взамен его новый — Грабарь Куркуль.

•

Национальный герой Греции Недонеебылос.

•

Губанов — Седаковой (по телефону): «Лелька! Когда же мы поговорим запросто, как гений с гением? То есть, тет на тет?»

•

Я, конечно, не хочу вводить в заблуждение мировое общественное мнение, но и т.д.

•

И набожность должна быть одаренной — а у него она и не глубока, и упряма.

•

Ну, немножко покаянешься, немножко подушегубствуешь.

•

Ты что же, зараза, хочешь изменить предназначения судьбы?

•

Стороны той государь,
Генеральный секретарь.

•

а в это время я, одержимый гегемонистическими амбициями...

•

Красота моя с ума меня свела. .

•

«пустота, которая утешает и морочит себя подвижностью»

•

Уничтожающее суждение о Христе и христианстве в «Завещании» Жана Мелье. Обвиняется Христос — даже в том, что Он «всегда был беден» и «не имел никакой ловкости».

•

Боря Сорокин в гостях эмануирует флюиды и метастазы. Саня Лазаревич по телефону добавляет: «И трансгредиентные корпускулы, за неимением корпускул имманентных».

•

И вот — в первозданной красоте я предстал перед астраханцами.

•

Я проваландался декабрь,
Чтоб в январе окрепнуть.

•

Мне уже по вкусу бедные, но опрятные стихи.

•

и не то что слова эти не имеют ни цвета, ни вкуса, ни запаха, а сами эти обороты холостые, как у нового агрегата Саяно-Шушенской ГЭС

•

тружусь до последнего вздоха, тружусь до последней капли крови

•

и родовит, и даровит

•

Авдюшка так во всех отношениях сух, что годится на растопку очень.

•

А на прощанье — шаль с каймою
И что-нибудь еще — стяни.

•

с евреями надо держаться дистанции погромного размера.

•

«Я сказать тебе не смею,
Что давно тобою тлею,
От твоих прекрасных глаз
И от пламенных зараз.»
(Ермил Костров).

•

Громадная ода Клушина, с заголовком: «Благодарность Екатерине Великой за всемилостивейшее увольнение меня в чужие края с жалованьем».

•

Дело прочно, когда под ним струится кровь.

•

Нонешний русский патриарх выступает с заявлениями типа «Все советские люди должны сплотиться вокруг...» или «Долой конфронтацию! Да здравствует детанг!»

•

А я на них (на православных) гляжу флегматично, как на декабристов-диссидентов барон Дельвиг.

•

Я третий день шел в пятый класс школы, когда русские испытали атомную бомбу. 3 сентября 1949 г.

•

Говорить о ней, как по радио говорят о каком-то агрегате: отличается большой маневренностью и высокой проходимостью.

•

Помолись за лежащего на одре болезни.

•

По поводу Кабула и пр.: «Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы». И заебись, кто не понимает (лучше: «отъебись»).

•

Середина января. Бабушка с ключечкой: «Молодой человек, вы не найдете лишнего рублика?»

•

Человек — это звучит горько (просто сорвалось).

•

А ты говори попросту, без всяких там аннексий и контрибуций. И без репарации.

•

Из песни Блантера:

«С нами поют пионеры-отличники,
С нами поют молодцы-пограничники».
(вариант «С нами не пьют...»)

•

А что делал ты в ту огнедышащую эпоху?

•

Название водевиля: «Щетина забулдыги, или Агидель, тоскующая по мордасам».

•

я ведь все это — для укрепления нашего альянса

•

Китаёзы, оказывается, те, изобретшие порох, использовали его только в пиротехнике. Ничего главное им в голову не пришло.

•

Контрреволюции не делаются в перчатках.

•

Почему британцы всё это должны делать за нас: Орвелл, Конквест, Кестлер и др.

•

Что ж, что от нас отвернулся Мохамед Али? С нами Дин Рид и Пит Сигер, мы еще повоюем.

•

А все, что загадка, то гадко.

•

Ни с того, ни с сего убивать человека — это несимпатично (а два миллиона — это уж совсем несимпатично).

•

Я в чем-то соглашаюсь с Вильямом Шекспиром, но в кое-чем и нет.

•

Прогноз погоды на 22/II. Самое теплое место на карте России — Кольский полуостров. Вот и мы, там родившиеся, такие же почти никуявпереднепредугадываемые.

•

Он по пьянке въехал к грубиянке.

•

А что ей, собственно, сказать? «И будешь ты царицей мира» или «Постыли мне все девы мира»?

•

Сидит такой тяжелый, такой загадочный, как тунгусский метеорит.

•

Из песни Юза Алешковского:

«А она была египтяночка,
А он израильский солдат».

•

Нужно долго мучиться,
И тогда получится.
(Советская песня)

•

Или начать так: «Я очень баб люблю, они смешные и умные».

•

все эти блицвизиты

•

Самое главное — открытие магазинов. Признак, в любом государстве, полного спокойствия и полной нормализации жизни после кризисных и мятежных ситуаций. Вот и позавчера в Кабуле.

•

— Да ты же написал гимн Советского Союза. И слова твои, и музыка твоя.

•

«Следует приручать лишь тех птиц, которые хорошо размножаются в неволе» (Радио).

•

— Ах, зачем я не птица, не синяя птица?

— Помолчал бы уж, старый вахлак.

•

Жил в Одессе маленький хроменький шибздик Яшка и все ходил на костылях, и вот приехал в Одессу большой-большой доктор и говорит маленькому хроменькому шибздику Яшке: «Слушай-ка, маленький хроменький шибздик Яшка, брось ты свои костыли и ходи нормально». И бросил Яшка свои костыли, ступил один шаг, ёбнулся и дух отдал.

•

выражает стиль не столь низменного, сколь ненизменного народа

•

Сидит, надулся, как какой-нибудь Буонаротти.

•

вечером — неусыпный, утром — беспробудный

•

«Мне, конечно, трудно сравниваться с передовыми доярками».

•

Я без забот, без сожаленья
Веду котующие дни.

•

И чего из себя воображает. Прямо, не человек, а букет цветов из Ниццы.

•

Хорошая опечатка в стихах Алейникова: потустота.

•

Радиостанция «Юность», 26/II: «Женщина, я бы сказал, с выпуклой жизнью».

•

Это за что же меня шельмовать?

•

Я ведь попросту, без всяких эквивоков.

•

Как полезно читать энциклопедию: узнаёшь, что Юденича звали Николай Николаевич. Ум[ер] в Англии в 31 г.

•

Савойская капуста для квашения непригодна. (МСЭ, ст. 121).

•

Мне не до сук.

•

Даже когда их много, я к ним ко всем вместе обращаюсь на «ты».

•

Эстет, обессиливший от эротических наслаждений.

•

Приятная и мучительная роль доверенного лица.

•

Придать своим словам достаточную теплоту, и вместе с тем не переусердствовать.

•

Меланхолия ищет несчастье и фиксируется на нем.

•

«умудренный знанием грусти»

•

Нежность серьезная, без сюсюканья, без слащавости, без причитаний, даже без излишней ласковости.

•

Это такое страдание, что и смотреть на это было жестокостью.

•

Между прочим, самая милая из современных русских песен: «...я с каждой елочкой знакомлюсь за руку...» и т.д.

•

Ж.-П. Сартр: сахарная болезнь и самопроизвольная дефекация — болезни русского социализма времен диктата Иосифа.

•

Я в последнее время занят исключительно прослушиванием и продумыванием музыки. Это не обогащает интеллекта и не прибавляет никаких позитивных знаний. Но, возвышая, затемняет «ум и сердце», делая их непроницаемыми ни снаружи, ни изнутри.

•

Если «да», то «да». Если «нет», то «нет». Что сверх того — то музыка.

•

Орфей и Фауста роднит то, что оба они заклинатели царства теней.

•

Я пью волшебный яд желаний.
Приди, приди, я твой супруг.

•

Человек, запятнавший себя сделкой с дьяволом, опознается после смерти: на смертном одре вы увидите его лежащим лицом вниз, и хоть пятькратно его перевернете, все равно так он и останется.

•

враг человеческий, предавшийся сатанинскому блуду

•

заключившие союз с чертом могут еще спасти свою душу путем принесения в жертву тела — т.е. самоубийство.

•

ублажать публику всевозможными сенсациями

•

обходительная музыкальная манера

•

это возвышает меня, но не стимулирует

•

не попутно, а мимоходом

•

греховный потенциал человека

•

Раньше привораживали мазью, сделанной из жира умершего некрещеного младенца.

•

временное приобщение к сельскому примитиву

•

Для того, чтоб посвятить себя музыке, нужны известные душевные предпосылки, в которых ему отказано природой.

•

он страдал от чрезмерно развитого чувства комического

•

средневековая грехобоязнь

•

быть в безопасности от каких-нибудь посягательств на его деликатность

•

необъятность сферы банального

•

ощущение своей социальной второстепенности

•

по-гусарски дерзко

•

наивность, но не обычная наивность первой степени

•

очень добропорядочная мысль

•

человек неопределенных артистических негодий

•

Это гибель, озаряющая небосвод багровыми сумерками богов.

•

не лишен меланхолической жилки

•

Из числа людей уклоняющихся, сторонящихся, соблюдающих дистанцию.

•

Мир вступает под новые, еще безымянные созвездия.

•

я овладевал ей по мере того, как она мной овладевала

•

Марнольд о «Кармен» Бизе: все хорошее в этой опере — испанское, все остальное — еврейское.

•

Сравнить превращение бесцветной мелодии в более терпкую и приятную с превращением воды в вино в кувшинах Галилейской Каны.

•

Из кубка пью на всех пирах,
В глазах сверкают слезы.

•

Из дурашливых стихов Верлена:
«Добрый вечер, луна... Хочешь, умрем вместе?»

•

а начиная с утра, приобщал ее к духовной сфере

•

хочу быть «сообщником в твоих печалях тайных»

•

Что лучше: дремать или следовать за ложными пророками?

•

Я знаю ее и визуально, и акустически.

•

Не исследование, а мечтательное умствование.

•

муз кровосмешительство

•

Комичное, веснушчатое лицо — а в голосе корнелевский трагизм.

•

здесь слышатся короткие резкие удары, как звон пощечин по лицу Спасителя

•

На 27-м году жизни, наконец, научил[и] понимать Шопена и женские партии Римского-Корсакова.

•

Его непричастность к нашему миру.

•

моя привязанность к сфере словесно-гуманитарной

•

Не надо говорить: «прописной истиной», надо говорить: «общим местом».

•

Женщину красит заурядность.

•

О пастухах достаточно сказано уже у Вергилия.

•

торжественно провозглашать элементарные истины

•

«умереть, уснуть и проснуться в слезах» (сов[етский] юмор).

•

Надо преодолеть высокоинтеллектуальную напряженность беседы, соскользнув в сферу легкой и обыденной болтовни.

•

В первой части оркестр был настолько взволнован, что на протяжении второй он никак не может отдышаться.

•

крупным планом подаются, без связи и разбора, отрывчатые «пороссячи триоли» и только на задворках их блуждает где-то нищая, бледная, одичалая мелодия

•

О 3-м квартете Бартока: у него очень много есть что сказать, он захлебывается от обилия мыслей, сбивается, начинает все сначала, путается снова и заключительным аккордом махает рукой — э-э-э, мол, все не то, все не то.

•

адмирал своему барабанщику: сыграй мне что-нибудь меланхолическое

•

Ср. Кодан, соната для виолончели и фортепиано. Виолончель изнемогает от эротических томлений, а фортепиано слушает ее с холодной невнимательностью и иногда, в знак участия рассказчице, кивает ей четкими ударами, почти всегда впопад.

•

В 1-й части он храбрится и шутит, во 2-й слюняй и нюня и мочится на пол, как маленький.

•

Самозабвенное неистовство шахсей-вахсея сменяется угрызениями совести *pianissimo* — зрителям представляется возможность высморкаться и почесать пузо.

•

«И возвращается к своей прежней теме, аки пес на свою блевотину».

•

«широкоскулая, волевая уверенность в своей правоте»

•

Честно задуманная музыка и не без хороших манер.

•

расстрелян по подозрению в эстетстве

•

От гавайских гитар до гаванских сигар, от сиамских близнецов до сионских мудрецов.

•

И что такое вообще йоги и что это за властвование их над своим организмом? Они могут только поставить себе клизму и то так изощренно, что она им не помогает.

•

Неважно, на кого сколько отпущено строк, это случайность. У Пушкина в «Суровом Данте» на Сурового Данта — 1 строка, по одной на Петрарку, Шекспира и Камюэнса, по три на певца Любви и барона Дельвига — и целых четыре Уильяму Вордсворту.

•

Мари Шарль Фердинанд Вальсен Эстергази — вот как звали того французского офицера, который выдал германскому генштабу секреты. А не Альфред Дрейфус. Вечно вы все валите на евреев.

•

«Нет смысла уповать на какие-нибудь медикаментозные средства».

•

Не вино и не бабы сгубили молодость мою. Но подмосковные электропоезда ее сгубили. И телефонные будки.

•

Поль Валери: «Из истории можно извлечь лишь склонность к шовинизму. Никаких уроков извлечь нельзя».

•

В ирландских сагах: «Три недостатка было у Кухулина: то, что он был слишком молод, то, что он был слишком смел и то, что он был слишком прекрасен».

•

«этой бедной России, заблудившейся на земле»

•

«Девушка проходила по жизни, собирая цветы, опустив ресницы».

•

Мой путь саморастрачивания ничуть не хуже и не лучше других. «Что есть польза?» — спросил бы прокуратор Понтий Пилат.

•

И почему Васлиса должна уходить к Иванушке, если ей и с Кашеем хорошо?

•

Милые характеристики: «Чистый ариец. Характер нордический. Спортсмен. Неуклонно выполняет свой долг».

•

В будущем году спрыснуть 150-летие великого наводнения в Петербурге — 7 ноября 1824 г.

•

Чаадаев по поводу этого наводнения и по всем подобным поводам: «Первое наше право должно быть не избегать беды, а не заслуживать ее».

•

нести чисто декоративную функцию

•

Вот, еще один вид непредвиденности и смерти. Оса в бутылке красного вина — укусы в горло и смерть от удушья.

•

Вот вам Мао: «Война необходима, etc. Если даже половина государства будет уничтожена, то еще останется половина, зато империализм будет полностью уничтожен, и во всем мире будет лишь социализм. А за полвека население опять вырастет, даже больше, чем наполовину» (на совещании в Москве коммунистических и рабочих партий, 1957 г.).

•

все остальное — нервическое

•

в самом плачевном смысле этих слов

•

«Я с детства не любил вокзал,
Я с детства виллу рисовал».

•

«Стала пухнуть прекрасная Елена». (Песни западных славян).

•

Могут приобретать, как говорят лингвисты, модальные оттенки.

•

истина, поданная в денатурированном виде

•

Возведение дружеских связей и бесед, «салонное просветительство», в ранг высокого творчества. Чаадаев.

•

По повсеместным деревенским понятиям собирающий цветы мужчина — придурок и размазня. «Раз у него душа к цветку лежит...» и т.д. И почтение к бутафорским цветам из города — украшение икон и пр.

•

Еще еврейская фамилия: Дебаркадер.

•

«И улыбка познания светилась
На счастливом лице дурака».

•

Анекдот-сказ Кати Беляевой о часовне непогребенных мертвецов.

•

Вяземский, узнав о душевной болезни Батюшкова (33 года недуга): «Все мы рождены под каким-то бедственным созвездием».

•

Фашисты, постоянно: «не заниматься беспочвенным теоретизированием», «быть ближе к реальной жизни».

•

«За отсутствием состава преступления».

•

Тогда Чаадаева упрекали в двух слабостях: унынии и нетерпении.

•

«Нести неверующую Россию на своих плечах», как выразился митрополит Антоний Блюм.

•

Я ортодокс, Бог обделил меня, ни одной странности.

•

четверых убил, шестерых изнасиловал, короче вел себя непринужденно.

•

христоцентризм

•

Богородица, фатимской девочке Люсии: «В Моем Пречистом сердце ты всегда найдешь убежище».

•

В британском энциклопедическом словаре: «Как zakalyalas stal» — «история успеха молодого калеки».

•

«Мне скушно обыкновенное, а по сравнению с Христом все обыкновенно» (Василий Розанов).

•

умственная и эстетическая аскеза

•

«разложение системы моральных ценностей» и «вакуум идеалов»

•

Пушкин, с отвращением: «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

Чаадаев: «покорный энтузиазм толпы».

•

Анненский:

«Не оттого, что от нее светло,
А оттого, что с ней не надо света».

•

Омрачает, бередит и расширяет сердце всякая тяжелая токкатность. Вот и сегодня слушал финал 7-й сонаты Прокофьева.

•

«когда грешная Россия готовилась к отступничеству от Христа»

•

«обида, от которых скорбит Ее Пречистое сердце»

•

Богородица Семи скорбей, по количеству мечей, пронзающих ее сердце на изображениях.

•

противостояние двух болванов

•

«Большой скачок» в Китае. Едят траву в Пекине и обливают мочой трупы на площади Тяньаньминь. «Несколько лет упорного труда — десять тысяч лет счастья» (Мао).

•

пароксизмы без всяких модуляций

•

Лексикон прописных истин.

•

«стиль, манера мышления и чувствования»

•

Китайцы, ведущие свои передачи для зарубежа на 40-х частотах даже (в нарушение международного права) на волнах, предназначенных исключительно для сигналов бедствия.

•

Мао, в беседе со Сноу: «Мне лично нравится международная напряженность».

•

в сторону с «надлежащих путей»

•

Начальник московской жандармерии о Петре Чаадаеве: «Образ жизни его весьма скромн, страстей не имеет».

•

дефлорационер

•

«В других государствах иначе делается и лучше делается».

•

не первосортная, а второй сорт Б.

•

«презренное и пустое вещелюбие»

•

сделал два глотка и умер в страшных конвульсиях

•

выбирать между европеизацией и русификацией

•

В кругу: русофилов, смогов, сексуальных мистиков, сатанистов и строгих католиков.

•

Воинственные мечты на Сретенке.

•

Наклонность к творчеству с розовых лет: рисовал мочою картины, прорезая желтым белый снег.

•

не будучи человеком героического склада

•

Тип забавника. Могущего, например, столкнуть в канаву слепого, из затайства.

•

ничего зиждительного

•

«с оттенком гуманитарности»

•

манера чувствования, склад мышления, образ мысли, психический строй

•

Если умрет, то останется говно, а не умрет — унесет много добра.

•

Историк Рюккерт: «Несмотря на открытое положение русского народа, тяжесть его физической массы и внутренняя тягучесть его существа были так велики, что он никогда не мог быть увлечен или потоплен внешним течением».

•

Никого не различаю: Галансков, Гинзбург, Тарсис, Амальрик, etc.

•

Полицейский роман. Гангстерский фильм. Ковбойская музыка. Etc.

•

Н. Страхов в 70-х гг.: «Мы ведь с непростительной наивностью, с детским неразумием все думаем, что история ведет к какому-то благу, что впереди нас ожидает какое-то счастье, а

вот она приведет нас к крови и огню, к такой крови и такому огню, каких мы еще не видели».

•

Есенин, утонул в 1925 г.

•

Все узнаю с запозданием. Вот и о смерти Сальваторе Альенде Госсенс — спустя три дня, 13 сентября, въехав после тих[их] новоселий в исторический район.

•

Антисемит бы сказал: «Почему в песне “Вот мчится тройка” — нехристь староста татарин — допустили бы мы такое о жидках?»

•

Мигель де Унамуно: только видения Дон Кихота обладают истинным бытием. Все остальное в романе — иллюзорно.

•

«Маленькая точка света, которая блестит во мне, может быть блестит из Росси[и]... христианская вера снова появляется в интеллигенции. Для меня это знамение. В этом ошалелом мире, где все в конце концов смешивается, мне кажется, что сам Бог сопротивляется и говорит нам: “Я здесь. Не страшитесь”».

•

Об эмпиризме и грубых сравнениях, пробовать иметь собственное эмпирическое мнение обо всем, включая бледную поганку, испробовать ее, etc.

•

«Мистификатор» и трюкачист Сальвадор Дали.

•

«Мы лишаем свою интимную жизнь трепетных красок».

•

Ерофеев, больше всего известен как толстосум.

•

В Мьшл[ине], 18/IX отмечаю шестьсотлетие со дня рождения великого сына Азербайджана поэта Имадеддина Насими, «виночерпия на пиршестве земном».

•

«максимально благосклонное отношение КПСС к евреям» в 1918—1948 гг.

•

змееведы, то есть герпетологи

•

дромомания — охота к перемене мест

•

«пользуясь приемами площадного фарса»

•

будуарная струя в поэзии

•

лауреат премии им. Махтумкули

•

«плод их расистских амбиций»

•

«В момент страшного испытания Церковь Христова парализована немощью» (1939—1945 гг.).

•

Сплетение обстоятельств, солнечное сплетение обстоятельств.

•

Важно еще, чтобы преступление считалось преступлением в момент его совершения, а не в период судебного приговора.

•

Их симбиоз (Тихонов и Любчикова) — алгебра и гармония, храм и мастерская.

•

«алогизм бытия»

•

«обесцененность мира»

•

Нездешне, инфернально взвизгивает, как Брюнхильда в «Валькирии».

•

Я в жизни адмирал, и чувство это знаю.

•

У Сапгира:

«Все враги — евреи,
Все сторожа — шпионы».

•

Человек должен быть как вода, говорили древние китайцы: в круглом сосуде — круглым и так далее. Попалась преграда — остановись. И теки все вниз, вниз, никуда больше.

•

истощим и неисчерпаем

•

«поединок латинского ума и тевтонской воли»

•

«общество, смирившееся со своим крахом»

•

Эти античные (опять) занимались только гомосексуализмом, а если и любили баб, то только безруких (Ника Самофракийская), безголовых (Венера) т.е. наоборот.

•

«и через 15 лет расконвоировали»

•

идеи с чужого плеча

•

Брать билеты в транспорте, сморкаться только в общественных уборных, etc.

•

Опрос рабочих завода Рено по поводу их литературных симпатий. «Авангардистских выкрутас» они не любят. Два любимых большинством произведений «Железная пятга» Джека Лондона и «Как закалялась сталь» Ник. Островского.

•

«в кантатно-ораториальном жанре»

•

Ни один композитор мира не покончил с собой и не умер насильственной смертью.

•

Святейший Синод при Николае I учреждает новую епархию, глава которой носил титул епископа Камчатского, Курильского и Алеутского.

•

Мир, как Владик Цидринский, мал, плохо клеен, скорбен, и только иногда натужно говорлив и бодр.

•

«Добрый день быть может вечер узнать конечно не могу привет от чистого сердечка передать тебе спешу здравствуй мама с приветом к тебе твой сын Федя».

•

Розанов: «Русь молчалива и застенчива, и говорить почти что не умеет. Вот на этом просторе и разгулялся русский болтун».

•

«Симпатичный шалопай — да это почти господствующий тип у русских».

•

Гитлер сдает в печать свою «Mein Kampf». Обнаружено на 800-х страницах 2500 разного рода ошибок (больше всего — орфографических).

•

«для обуздания разврата», как говорил адмирал Житков

•

Жорж Матье, мэтр «лирического абстракционизма»: три его заповеди для подступа к картине: «1) опустошить себя, 2) сконцентрироваться в этой пустоте и 3) писать с максимальной возможной скоростью».

•

Первая заповедь отношений к вам: незаинтересованность.

•

Я по свету немало хаживал. Марк Лисянский, Исаак Дунаевский.

•

Вы нас благословляли, когда воевали мы, теперь и мы: будь благословен, Израиль.

•

Опять Андрей Кучаев: рыженькая, убери талию

•

моя хлопотливая и суматошная должность тунейдца

•

они со всех сторон обложили меня своими контрибуциями

•

«продал себя за рюмочку похвалы» (Розанов).

•

«Ты-то, Ерофеев, возвышенных соображений, ты высмаркиваешь на все, что для них нужнее всего, но все-таки и их позови, вдруг да они возвышеннее тебя?»

•

«Не спят, не помнят, не торгуют», у Блока. Чем мы заняты? Если спросят,— так и отвечать: Не рассуждаем. Не хлопочем. Не спим, не помним, не торгуем. Не говорим, что сердцу больно. Еtc.

•

Я с каждым днем все больше нахожу аргументов и все больше верю в Христа. Это все сильнее остальных эволюций.

•

«с удручающей регулярностью»

•

не поощрял, не подстрекал, а попустительствовал, пособничал, потворствовал

•

«умеренного, но устойчивого благополучия»

•

«порочный режим, но прочный»

•

Меня, прежде чем посадить, надо выкопать.

•

У Седаковой в прозе, дворничиха: «Мертвые — они умрут, а живые по ним убивайся!»

•

Скатертями — все твои дороги.

•

со-преступность

•

писать так, во-первых, чтобы было противно читать,— и чтобы каждая строка отдавала самозванством

•

«Народы! уважайте и любите друг друга!» (Николай Страхов).

•

«бывшая в бдении и алкании день и ночь»

•

Их терминология: «Скончался при невыясненных обстоятельствах».

•

обиходного свойства истины и сведения

•

«большевики оказались мобильнее эсеров»

•

Рекорды. Телефильм на английских экранах в 52-х сериях о перипетиях жизни А. Гитлера.

•

фантомы и химеры

•

Великолепные экземпляры. С 8 до 5-и въезжают, с перерывом на подьбки с 12-и до 13-и, потом с 5 до 7 [сгнуть], с 7 до 10-и въезжки, потом etc.

•

без пролития желчи

•

То есть заблудившись, найти что-нибудь более значительное, чем следуя проторенным путем, идти в направлении обратном общепринятому, — Колумб и его Новая Индия.

•

Не выпьем. Не пойдем никуда, чтобы на людей не смотреть и себя не показывать.

•

Господь не прощает такую вражду и такие потери Господь не прощает.

•

сочетать неприятное с бесполезным

•

«никогда бы не унизился до такой тривиальности»

•

В туалете на пл. Ногина: «Давно известно и не ново, что только здесь свобода слова. Да здравствует пл. Сах[арова]! “О’Кэй!”»

•

«Молодые девушки у лидийцев все занимаются развратом, зарабатывая себе приданое.» (Геродот).

•

О принципе добровольности, американский публицист Норт: «Я предпочел бы видеть весь мир пьяным добровольно, чем одного человека трезвым насильно».

•

Согревшись у костра, разож[женного] комсомольским билетом, пляшут а la венгерская оперетта: «На свете парня лучше нет, чем и т.д.»

•

Прекрасно у Розанова: эти Герцены и Михайловские, и Некрасов — почему они, всю жизнь говорившие, что буржуа должны отдать рабочим фабрики и заводы — почему Герцен деньгой не помог Белинскому? Почему из-за долга в 1700 рублей покончил с собой Глеб Успенский, хотя богачи Некрасов и Михайловский уверяли, что любят его, и давно любили.

Вот вам пролетарские доктрины и пролетарская идеология.

•

Христа (как следует) знали 12 человек, при 3 с половиной миллионах жителей земли, сейчас Его знают 12 тысяч при 3,5 миллиардах. То же самое.

•

В этом мире я только подкидыш.

•

Это предохраняет от морщин вокруг рта.

•

Завтра написать Курту Вальдхайму о том, что я признаю независимую республику Гвинею-Бисау.

А Курт Вальдхайм мне в ответ телеграмму: «Дурак ты».

•

Карамзин изобрел только букву «ё». Х, П и Ж изобрели Кирилл и Мефодий.

•

Его замысел был умножать, а не делить, вычитать, а не прибавлять — в противовес Его.

•

«таким крайним бесстыдством, такой способностью к неистовству» (французский роман)

•

Проза документальная и проза орнаментальная. И живопись геральдическая.

•

Ни Индонезия, ни Чили
Нас ничему не научили.

•

И вот, я спросил его шепотом, чтобы никого не потревожить (да и кого было тревожить, мы же были одни). Так вот, я чтобы никого не потревожить, спросил его шепотом (etc).

•

«враг трансцендентальной эстетики, сторонник эмпирических методов исследования»

•

Жив ли Абрам Моисеич? Нет еще.

•

Что невесел? Иль не радуется житье?

•

В Талдоме (ночь): «лучше быть стройным тунеядцем, чем горбатым ударником».

•

Все делается по бабьему наущению: бедняга Макбет, дезертир Антоний, вор Адам, все трезвенники мира.

•

а мою, мол, точку зрения, оставили в стороне как неосновательную

•

Лиза Чайкина, заведующая избой-читальней.

•

Октябрь. Каждый день — накопление чудовищных горечей без всяких видимых причин.

•

Из всей латыни знать только NB и Sic.

•

«Путеводитель по кварталу публичных домов Барселоны».

•

Люди, не убивайте друг друга, ибо это доставляет мне огорчение.

•

«Я назову тебя проблядью», как сказал Виктор Боков. «Часто сижу я и думаю. Как мне тебя называть».

•

издержки детопроизводства

•

фамилии: Пассажи́ров и Инвали́дов

•

мы́гтарства и передряги

•

«и некий недуг, поразивший его детородные части» (Геродот).

•

о спартанском царе Клеомене: «общаясь со скифами, он научился пить неразбавленное вино и от этого впал в безумие» (у Геродота).

•

Московские евреи Пляцковский и Фрадкин: «Увезу тебя я в тундру».

•

Выбить этот козырь из их бессовестных рук, то есть сделать наше здравоохранение платным. По любому поводу.

•

Как аллилуйи делятся на аллилуйи просто и сугубые аллилуйи.

•

«прогрессирующий сатанизм»

•

«зачинатель преступных деяний»

•

«послужит для них началом бесчисленных бедствий или безмерного счастья»

•

Я смело могу занимать произраильскую позицию, Кувейт и Бахрейн не обрекут меня на нефтяной голод,— зачем мне нефть?

•

У Г. П. Федотова определение понятия «русская интеллигенция»:

«Русская интеллигенция есть группа, движение, традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей».

•

«он замянул себя кровопролитием»

•

Чередование бориных душевных состояний: сначала преодоление подавленности, потом подавление этой преодолённости etc.

•

«Пределом человеческой жизни я считаю 70 лет» (Солон).

•

Деревья гибнут без суда и следствия.

•

стремительное превращение сопляка в старого хрена

•

Прекрасные египетские фараоны. По свидетельству Геродота: «После Мена было 330 царей. Ни один из них не совершал никаких деяний и не покрыл себя славой. Они ничего не совершили».

•

«Алкоголь является пищевым средством в том отношении, что 1 грамм его при полном сгорании даёт 7,18 калорий» (д-р Гертнер).

•

Обстановка и мебель. Чугунная ограда, сосновая кровать, пара электрических стульев, скамья подсудимых.

•

Но ему-то надо привлечь 2-3-8 сердец, а мне то надо 20-30-80 сердец. Вот отсюда разница.

•

Когда камыш только шумит, гнутся деревья.

•

Замечаю в канун 56-й годовщины: я умею кривить морду только слева направо, справа налево не получается.

•

Какой-то британец: «Рыцарство — удел бедняков».

•

Словом, разрушали города.

•

Геродот говорит: надо чтить чужие обычаи. И спустя двести страниц: «Закапывать жертвы в землю живыми — персидский обычай».

•

«жеманные и элегантные вертопрахи»

•

Мао: Пусть они здравоохраняются сами.

•

«При наличии еврейской диаспоры».

•

Стихи поэтов Бангладеш. Отсутствие мелкой монеты не может служить извинением безбилетного проезда.

•

Оскар [Уайльд] хвалит русских за «жалость» их литературы. И он сам — по выходе из Редингской тюрьмы — «в тюрьму я вошел с каменным сердцем, думая только о наслаждении, теперь же мое сердце окончательно надломилось...».

И дальше: «в мое сердце вступила жалость, и я понял теперь, что жалость есть самая великая, самая прекрасная вещь из всех существующих на свете».

•

Ведь кроме того, что мы знаем, мы не знаем ровно ничего.

•

от гуцульства к бендеровщине

•

дамочка, плачевная во всех отношениях

•

подлец, ты конченный, больше ты никто, высшей марки.
Или: и завтра ты будешь иметь бледный вид с голубым
отливом.

•

Саул молится: «Боже, зачем ты обременяешь меня вожде-
лениями?» (Андре Жид).

•

«Я был никто, теперь я — некто».

•

Какой-то шотландец-ученый рекомендует для укрепления
голоса вдыхать росу цветов.

•

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий.
Так провожают пароходы —
Совсем не так, как поезда.

•

«Выживание наиболее приспособленных» (о выселении
Тих[онова] из квартиры Любчиковой).

•

плоская не как Кизлярские пастбища, а как фабричная
доска показателей

•

«И сам летишь, и все летит» (о нынешней русской птице-
тройке).

•

И — все они алког[олики]: Я пью один. Вотще воображенье...
И еще: «Тихо запер я двери и один, без гостей, пью за
здравие Мэри».

•

«Кого ебет чужое горе?»

•

Как пчела медоносная — от каждого цветка понемногу.

•

Хром, как Гордон Байрон; как Василий Чапаев, не знает языков; не моет ног годами, как Антоний Падуанский.

•

Ну, разве можно так терзаться! Не терзайся!

•

«Ему должно расти, а мне умяляться»

•

Вот как. Из пьесы «Саул» Жиды: слуга говорит: «Он помешался! Видишь ли, я охотно допускаю, что можно всю ночь напролет пить вино; или же молиться, если у вас на сердце неизбывная тяжесть; или, наконец, смотреть на небо, чтобы узнать, какая будет завтра погода... Но все три дела разом! Он помешался».

•

О поносе и сухарике.

•

«Предоставьте мертвым погребать своих мертвецов»

•

эта пагуба, это глумление

•

Поспешишь — блядей насмешишь.

•

Надо погодить называть месяц август месяцем растрав и изнеможения, хотя сегодня уже 3-е. Дождись поднятий.

•

Я буду вас пестовать, а вы меня — лелеять.

•

Оставьте мою душу в покое.

•

Шерлок Холмс подавляет Скотланд-Ярд своим титаническим интеллектуальным превосходством.

•

Мое сердце не гов[орит] этой музыке «нет», но и да оно не говорит. Мое сердце пожимает плечом, когда слушает ее.

•

А может, Он ждет вопросов крупнее, и ему кажутся мелким узкокобым вздором все наши *wagun, wozu, sug*, «отчего?» и т.д. Как мне кажутся смешными вопросы моих коллег.

•

У него бездна ответов и он удивлялся: почему так мало вопрошаем? почему ленивы и нелюбопытны и суетны?

•

большой и пламенный, как привет

•

Услышал о странных сапсанах, которые нападали на всех мотоциклистов и тюкали их в голову, пока те не сваливали в кювет. Оказывается, какой-то мотоциклист когда-то разорил гнездо сапсанов.

•

Видеть сны необходимо мне вот для чего: для утражнения и удостов[ерения] в моральных принципах и чтобы понять: одинаково ли оставляют след страхи и горести сна и яви. В конце концов горе — внутренняя категория, и оно не обязано иметь под собой основание. Граф Толстой или Федор Достоевский выдуманные потрясения и утраты переживал острее и глубже, чем иной свои основательные. И т. д.

•

Опять Добролюбов и К°. Слушая песню на слова барона Розенгейма «Степь за Волгу ушла» и т. д. Они-то, собаки, смогли бы написать хоть строку, от которой бы у русского замер дух?

•

Оказывается, глава Канады — не президент, а генерал-губернатор.

•

как старец Гомер сказал, она «распаляла во мне надежду»

•

Шофер СМУ Росвязьстрой рассказывает при всеобщих восторгах коллег: «Мой лозунг — пей все что горит и еби все что дышит».

•

Я слишком многим жертвую для того. Как сказали бы эллины, я приношу гекатомбу.

•

У меня тоже комплекс Эдипа, но совсем другой. Т.е. я сознательно ослепил себя.

•

Энона — нимфа, верная подруга Париса во время его пребывания в Идейском лесу. Т. е. Парис ушел из Идейского леса, и Энона тут же перестала быть верной подругой Париса.

•

Повсюду в Ногинском, Ореховском и пр. районах, на всех предприятиях висят соблазнит[ельные] у входа: «Желаем хорошо потрудиться», а при выходе: «Спасибо за труд. Желаем вам отличного отдыха».

•

Все о том же смягчении нравов. На предприятия[ях] не пишут «Соблюдайте правила техники безопасности», а пишут: «Папы и мамы! Будьте осторожны! Вас дома ждут дети».

•

вегетативная твоя душа, растительная то есть

•

Я это уже понял давно, с тех пор как она связалась с этим данайцем.

•

Для чего надо было грекам натираться подсолнечным маслом! Они его называли «елеем».

•

Будь здоров, т.е. как Кастор и Полидевк, займись гимнастикой и мореплаванием.

•

Карл Орф, «Танец неблагодарных женщин».

•

Несовершенство наших душевных процессов: ср. как отлично работает наш кишечный тракт. А здесь — застой, тошнота без выгашнивания, неспособность вовремя освободиться от того, что накопилось нечистого и т.д.

•

Ну зачем им, сволочам, пить? Они без того постоянно качаются, ходят боком, движутся не так как надо, говорят вздор и не стыдятся ничего. Самоувер[енны] и безошибочны.

•

И, что там ни говори, даже самая хорошая ошалелость требует сейчас хорошего рационального руководства (рац[ионального], т.е. во вкусе Фомы).

•

Матфей: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата».

•

Коллекционировать те способности, которые отличают человека от всей фауны: 1) способност[ь] смеяться, 2) пить спиртные напитки, 3) совершать беспричинные поступки, 4) поступать наперекор своей выгоде, 5) решиться поднять на себя руки.

•

Ну так что ж, что пляшет? И царь-пророк Саул плясал перед Самуилом.

•

Хорошо как лекарство, но не как пища.

•

ибо они были сребролюбивы

•

наполняют мою душу мерцанием

•

К вопросу о таланте. Эллинское «талант» это примерно 1400 рублей по валюте XIX века.

•

У меня в душе, как на острове Свободы: не бывает праздничных дней.

•

«Все это слишком просто, чтобы вы могли понять» (Честертон).

•

Екатерина Великая: «человек безукоризненной честности, но недалекого ума».

•

Как говорил Фома, «я впал в несовершенство».

•

они прейдут, а мы пребудем

•

давась от слез

•

Эллины были тверже в этом отношении. Агамемнон возвращается (через 10 лет) со своею Кассандрою и застаёт Клитемнестру с Эгисфом. Никто не думает убить Агамемнона за блядки, его убивают не за блядки. А Клитемнестра подсудна со всех сторон.

•

Степень бабьего достоинства измерять количеством тех, от чьих объятий они уклонились.

•

«Ты не холоден и не горяч, ты только тепловат; не могу тебя терпеть, выплюну тебя из уст моих».

•

«В девяти случаях из десяти человек, меняющих фамилию,— прохвост».

•

потворство адюльтеру

•

Теперь уже говорят не «четыре часа две минуты», а говорят «три 62».

•

У Гомера: «Странник,— сказал,— не угодно ль тебе поросятины нашей?» (свинопас Эвмей).

•

так, чтобы твою ценность измеряли в каратах

•

В старых открытках: «Люби шутя, но не шути, любя».

•

Она уж закончила, но ее надо исполнить.

•

Мы отдохнем. Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах.

•

Это все мысли, которые лень даже прогонять.

•

Задич обращается к юристам: «Звезды правосудия!».

•

Из всех пишущих русских К. Победоносцев более всего ценил Мельникова (Печерского). Даже пересылал «В лесах» Александру III и рекомендует прочесть.

•

Говоря райкомовским языком, она всемерно способствовала мне.

•

Их всех убил палач Самсон, значит, он один и виноват.

•

с небес ли это было или от человеков?

•

Из приговоров севильской инквизиции (16 в.): Хуан де Монтис, за то что дважды состоял в браке,— 100 ударов розгами и десять лет на галерах.

•

все равно пригвожденность, ко кресту ли, к трактирной ли стойке...

•

Я как Борис Годунов. Глад и мор и гнев народный и смуты, и терзания. Являются плюгавые, чернявые и энергичные Василии Шуйские, являются и плетут интриги. Являются юные Лжедмитрии. А я — только стискиваю голову, мечусь между Владимиром и Талдомом с вечным «Уф, тяжело! дай дух переведу!»

•

«Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников».

•

Игнатий Лойола, из поучений. «Работающий в винограднике господнем должен опираться на землю лишь одной ногой, другая должна уже быть приподнята для продолжения пути».

•

драгоценные мысли Мухтара Ауэзова касательно Абая Кунанбаева.

•

Таня Обухова — не интеллект, а все остальное на «и»: инфантильность, изнуренность, идиотизм.

•

предсмертную тоску Пушкина («Ах, какая тоска!», он говорил, что от нее он страдает больше, чем от боли) — приписали воспалению брюшной полости.

•

Последнее, что ел Пушкин в этой жизни, была морошка. «Перед самой смертью ему захотелось морошки». Нат[али] кормила его с рук.

•

«шустрая, как вода в унитазе»

•

«практический и скептический XIX век»

•

«Только что отнятый от суки щенок требует особого внимания и заботы».

•

несовращеннолетний возраст

•

Каждая минута моя отравлена, неизвестно чем, каждый мой час горек.

•

«все мерзостно, что вижу я вокруг», как сказал Самуил Маршак.

•

Спаниель — собака с крепким сухим телосложением. «Голова у него легкая и сухая, с плавным переходом от лба к морде».

•

Фокстерьер — собака смелая, злобная и легко возбудимая.

•

Яхрома, порт семи морей.

•

Любимый герой Анджелы Дэвис — Вас. Ив. Чапаев.

•

как дым и пар, как тень исчезающая

•

еврейская фамилия Пропеллер. Ср. Шиханович.

•

Из формы церковного отлучения и проклятия (XIII—XVI в.)

«...Да постигнет его проклятие наше в его доме, житнице, постели, поле, в городе и дороге. Да будет он проклят в сражении, в молитве, в разговоре, в молчании, в еде, в питье, во сне. Да будут прокляты все его чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и все тело его от темени головы до подошвы ног...

Как я гашу теперь эти светильники, так да погаснет свет его очей. Да осиротеют его дети, да овдовеет его жена. Да будет так, да будет так! Аминь».

Можно прибавить: да будет проклят: в лесах и на горах, в гостях и дома, со щитом и на щите, на кровати и под кроватью.

•

Перевести в умственную сферу понятия «ультра» и «инфра». Т. е. выше понимания и ниже понимания.

•

«Беременных женщин,— сказал Саккетти Франко,— тянет на всякую диковину».

•

запустение и безмолвие

•

У Аверченко: произведение искусства; на черном подносе приклеена дохлая крыса, вокруг нее разбросаны жженые сички. Картина называется: «Сумерки насущного».

•

виконт надел галифе, сунул в карман парабеллум (Бренско-Брешковская).

•

она такая брюнетка, что даже удивительно

•

и ее оскверненное чрево

•

инфантерия — это, оказывается, всего-навсего «пехота»

•

«всю ночь блуждали по отрадным садам богини Венеры»

•

развалины замка, пещеры, потоки и весь этот реквизит

•

У меня, как у лилии, пыльца на рыльце.

•

«необузданная и фуриозная женщина»

•

Рунова вместо кукольниковского «И шепчешь невольно: о боже, как долго!» — «И шепчешь: о боже! идут контролеры!»

•

Конфликты в итальянских песнях:

«Люблю я ма-ка-роны,
Хотя моя невеста их не любит».

•

«Мы с этой дамою почти единоверцы» (Аполлинер).

•

так ступает человек, влекущий тяжелое бремя

•

«Полноте ребячиться», как говорит Герман графине.

•

Сравнивают бергмановский кинематограф отчаяния и феллиниевский кинематограф надежды.

•

Виктор Гюго, 1877 г. Принимает у себя в гостях на ул. Клиши императора Бразилии дона Педро. Тот робеет при входе.

•

Дураки, они свою столицу Христианию переименовали в Осло.

•

«от элементарности — к бесчеловечности»

•

Ты родилась под знаком Солнцедара.

•

Но бархатистостью своих лядвей
Она и это, впрочем, искупала.

•

Спорт Бори Сорокина, многоборца: прыгает выше собственной головы, убегает от самого себя, борется с соблазнами, гимнаст: ходит по острию ножа меж двух бездн, поднимает душевные тяжести рывком и жимом, играет со смертью с выигрышем для себя, etc.

•

Вольная борьба — с соблазнами.
Классическая борьба — с предрассудками.

•

Гребет на своей одиночке — против течения.

•

Увы мне! Увы!

•

Узбекистони и сельдерей

•

с нервическим кокетством

•

Три лучших гишпанских города: Мадера, Малага и Херес.

•

СМУ ПТУС. Оказывается есть и люди порядка Хеладзе, сказавшего полгода тому: «Ерофеев вне всякой дисциплины».

Оказывается, от Гейне начинается понятие «сверхнатурализм», т.е. понятие, включающее в себя все кроме реализма.

•

французская народная песня «Ах, как же я простужен!»

•

существо, призванное прорицать и заклинать

•

«исполненное чисто кастильского благородства»

•

Сент-Бев и Мюссе то и дело ходят в публичные дома «в поисках забвения».

•

Тягомотина и банальности, хуже нет. Аполлинер, вся поэзия и все письма: «Я умел любить — это ли не эпитафия!». Или: «Ты воспламеняешь сердце, Мадлен, как проповедь в храме!». Или еще: «Пусть долетят до тебя, Лу, снаряды моих поцелуев». О войне пишет: «Я умолчал о некоторых фактах... Мои впечатления, зафиксированные по горячим следам...».

•

Опять этот ненавистный пошляк Аполлинер. «Мое сердце голосует за надежду», «Прошу Вас, очаровательное видение, напишите мне письмо подлиннее».

•

Опять письма Аполлинера: «Пожалуйста, Мадлен, обнажите свою душу, свое тело, свое сердце».

•

И еще: «Видел твою жену. У нее вкус лаврового листа».

•

Шопенгауэр: «Жизнь вполне терпима, но вряд ли стоит родовых мук».

•

Ты будешь музицировать, я буду вальсировать.

•

Честертон о разнице в пессимисте и оптимисте: Оптимист это тот, кому все хорошо, кроме пессимиста. Пессимист — тот, для кого все плохо, кроме него самого.

•

и снять мансарду на бульваре Сен-Жермен

•

случалось, она теряла авторитет, но не теряла достоинства

•

Теперь уже говорят не о «муках слова», а (в применении к кино, музыке, etc) — о «муке приближительности».

•

опять все то же: тайники души, кладовые подсознания и пр.
дичь

•

«арлекинада как средство и против обыв[ательского] застоя и против натужной героизации»

•

«самосозерцание на грани нарциссизма»

•

«бесцеремонная сентиментальность»

•

элитаризация масс

•

И всего-то рупь-двадцать прошу у тебя. Иль нож мне в сердце вонзишь, иль рай мне откроешь.

•

привет тебе от всех блядей Одессы

•

Игра в короля — принца — засерю — подчищалу.

•

Какой славы ты хочешь? Боевой или трудовой славы?

•

Французский католик Анри де Монтерлан о половой любви:
«Это власть, оккупация чужой души».

•

две кошечки во дворе, их зовут Алгебра и Гармония

•

Как сказал Данте Алигьери, пусть взглянет в ее глаза тот,
кто не боится вздохов.

•

О христианстве еще спорят, дурно ли оно, хорошо ли. А вот
о духовом оркестре спорить нечего: здесь чистая духовность и
т.д.

•

«трудно было спастись в атмосфере постоянной парадно-
сти»

•

спала по утрам, а по вечерам формировалась как женщина

•

и вся их, разграфленная по пунктам, профессиональная
этика

•

Опять Иегова в Ветхом Завете: «Но поскольку ты тепл —
изблюю тебя из уст моих».

•

охальник и баламут

•

Бозэций презирал народную молву и народную мудрость на том основании, что она лишена способности различать.

•

слава богу, лишен Ordnung und Zucht — порядка и дисциплины

•

Я влазал на нее как невольник.

•

У вас вот лампочка. А у меня сердце перегорело, и то я ничего не говорю.

•

но ведь ты-то! ты! человек «тончайшего сердца!»

•

она меня обуяла, я обуреваем ею

•

Ценить в человеке его готовность к свинству.

•

Два молодых человека, встревоженные, хотели повернуться ко мне спиной, но их разнесло ветром.

•

греховно был распростерт

•

и это так же глупо, как..., как уходить добровольцем на фронт

•

Шесть раз я выстрелил ему в затылок — он не шевельнул и бровью.

•

У них харкотина взамен души, и вместо мозгов — блевота.

•

меня выковоряла она на свет, как козявку из носу

•

А что сделал в мои годы Нерон? Ровным счетом ничего.

•

Я иду в места больших маневров, я подкрадываюсь к мищени и становлюсь у нее, в меня лупят все орудия семи стран варшавского пакта — а все мимо.

•

Музыка — средство от немоты. Может быть вся наша немота от неумения писать музыку.

•

Обязательно вставить соревнование, кто кого перепьет.

•

Итак, самому бестолковом[у] из всех русских и т.д.

•

И как грешный сон все остальное.

•

Мертвым можно завидовать во всем кроме «сраму» и т.д.

•

Девушки должны собирать цветы, ибо это вырабатывает в них навык низко нагибаться.

•

Мне противен мой дом, и вход и выход из него.

•

В цикл: туман один поднебесный.

•

Здесь проделаем дырочку в стене — я обожаю сквозняки. Здесь — веточку флер-д-оранжа и букет асмоделей. Сюда — вобьем крюк в потолок. Для фламандских люстр.

•

А вот генерал де Голль жил скромнее — и до старости сохранил силу. В 85 лет он произвел на свет внука — до чего еще свеж был генерал.

•

щемило слева и справа от сердца

•

Что ж, и мне тоже свойственно бывает томиться по прошлом[у], по тем временам, например, когда еще твердь не отделилась от хляби, а только тьма изначальная.

•

Все лучшее во мне говорило мне: ...

А все худшее возражало на это так: ...

•

Но человек он был мглистый и шаткий, его обвинили в [...] и Ф. Э. лично защекотал его в своем рабочем кабинете.

•

Сынок утонул в ведре, потом дочь — последняя дочь — расшиблась насмерть, упав с веника. Мама не могла перенести этих двух потерь сразу — и через три недели родила третьего.

Третий был странным существом. Он молчал... и только на третьем году жизни заплакал.

•

Мерзавочка! И с таким торсом.

•

Ты должна вздыматься, как пламя.

•

Она, как утренний туман, обволокла меня — и закольхалась, как утренний туман.

•

Могу ли я сказать, что ты послана мне с высоты небес? Да, я могу это сказать, я еще много что могу о тебе сказать, но не скажу.

•

Ты пролилась на меня с облаков.

•

Ты лишила меня вдоха и выдоха.

•

Меня околдовать трудно, я чарам не поддаюсь.

•

Случай во Владимире: я — дошел уже до такой степени, что у меня часы пошли в об[ратную сторону].

•

Мой сын снимает майку через ноги и трусы через голову.

•

С веткой в ушах, с парализованными ногами, я вошел в этот дом. Меня встретили оплеухою.

•

Одна дымящая головня упала рядом со мной — я плюнул на нее, я высморкался в нее — она вспыхнула и разлетелась в небе тысячью искр.

•

Пламенный хитон натяну я на вас! День гнева воссиял! Где моя паяльная лампа?

•

Опали им гортань и душу!

•

Т.е. у конца: я жду от вас. Не так: я ничего от вас не жду, вернее, нет — я жду от вас сказочных зверств и несказанного хамства.

•

Израильтянин, в котором нет лукавства.

•

Уже на 3-м курсе спрашиваю: а на каком я учусь факультете?

•

И еще раз о том, что тяжелое похмелье обучает гуманности, т.е. неспособность ударить во всех отношениях, и неспособность ответить на удар.

•

этот мозгообатель Гамлет... [не] доносить свои башмаки

•

И вот мы уснули вместе с моей мечтой. Вначале уснула моя мечта, я — следом за ней.

•

Сначала людям, потом блядям, потом матросам.

•

Цели в жизни нет. Все в жизни лишь средство, как сказал В. Брюсов, стихотворец.

•

Просыпаюсь: змея лежит рядом и обнимает. И спрашивает: А он бы не удивился, если бы взамен меня кто-нибудь другой?

•

А потом она уехала. Я не могу об этом говорить, у меня спазмы.

•

Надо быть искушенным во всех грехах, чтобы отвратиться от них от всех. Маленькая ложь и привычка к ней необходима как средство против той, гигантской лжи... (см. прививка оспы, etc).

•

Мы с каждым днем все хуже. И каждый, и все человечество с каждым днем все хуже. И поэтому, если говорить о качестве людей, то лучше всего тот, кто это чувствует, т.е. тот, кому с каждым днем все хуже и хуже.

•

Человек не самолюбив и суеверен. Он уважает все болезни, кроме тех, которые он сознательно в себя внес.

•

рубашка на груди так была распахнута, что видны были ноги

•

Перемешать В. и К. как водку с кефиром. К-й запивать В., потому что иначе сблюёшь.

•

Но все-таки почти еженедельно я подозревал, что ты есть и что вдруг да не заб[удешь].

•

Мы все так опаскудились мозгами и опаршивели душой, что нам 13-летняя привязанность кажется феноменом. Мы, правда, живем в мире техники и скоростей, ну, что ж, пропусти технику, иначе действительность собьет, протиснись сквозь все эти такси и иди куда тебе надо.

•

Человек, идущий за малой нуждой, все-таки ценнее машины, летящей для доклада в СЭВ.

•

И опять: могу ли я понимать это так, что ты пролита на меня с облаков?

•

«прочти и порви» совместить с «прочти и передай другому», т.е. верх интимности с верхом всеобщности.

•

Ну, что прибавила техника! Она просто отвлекает от дела. Т.е. пере[секая] улицу, надо сначала смотреть налево, потом направо, etc.

•

не дают опустить свою же голову на свои же плечи

•

Постоянно о знаках Зодиака. «Черед[овались]... и т.д.» И как знаки Зодиака, чередовались восторг[и]. Невразумительные письма, как знаки Зодиака.

•

О необходимости вина, т.е. от многого было б избавление, если бы, допустим, в апреле 17 г. Ильич был бы таков, что не смог бы влезть на броневик.

•

Т.е. задача в том, чтоб пьяным перестать пить, а их заставить.

•

Не смех со слезами, но утробное ржание с тихим всхлипыванием в подушку, трагедия с фарсом, музыку со свехпрозаизмом, и так чтоб это было исподтишка и неприметно. Все жанры слить в один, от рондо до пародии, на меньшее я не иду.

•

простодушие с желчью

•

С Пентагона до Кремля, с небес до земли, с головы до ног — все изменено.

•

Все бегают по лестнице вверх и вниз [и слышно]: «Эй, держи!», etc. А тут одно — как бы тебя не заметили.

•

В конце прошлого века Ф. Достоевского на западе еще так мало понимали, что, например, во Франции в переводах исключалась как балласт «Легенда о Великом инквизиторе».

•

от Достоевского у экзистенциалистов концепция абсурдности бытия и трагизма человеческого существования

•

«Идея личной ответственности каждого взамен идеи безличной безответственности всех.»

•

Их терминология на этот случай: разобщенность, изолированность, обреченность, забывтость, заброшенность.

•

загнанность, завербованность, проданность

•

не самоирония, а самоглумление, самоподтрунивание

•

а о внутренностях героев сейчас говорят так: раздвоенность, разбросанность, расколотость, расщепленность, раздавленность, разбитость

•

о них говорят коротко: в странах Бенилюкса

•

Ну, пусть они меня признают. Но ведь это все равно что Кубу пока признали только Гайана, Ямайка, Тринидад и Тобаго.

•

«в этой погоне за миражами, потребности забытья и уйти от обыденности» к чему-нибудь, хоть блядкам, etc,— будничность, еще более облезлая и тошнотворная

•

Анатолий, кончай фраериться!

•

Для Бори Сор[окина] — мир маленький комок, подступивший к горлу и застрявший в нем.

•

«Что-то с памятью моей стало», как сказал Роберт Рождественский.

НЕКРОЛОГ, «СОТКАННЫЙ ИЗ ПЫЛКИХ И БЛЕСТЯЩИХ НАТЯЖЕК» *

«Черноусый пошук и затосковал. На глазах у публики рушилась вся его система, такая стройная система, сотканная из пылких и блестящих натяжек. «Помоги ему, Ерофеев»...

*Поэма «Москва – Петушки»,
глава «Есино – Фрязево»*

Венедикт Васильевич Ерофеев из прозаических жанров любил жанр доноса на самого себя. Так он утверждал еще в начале 60-х годов и тогда же в доносе на себя писал: «Венедикт Ерофеев собирает вокруг себя людей и говорит-говорит, говорит он все по-русски, а смысл-то все иностранный». В то время донос был очень популярным жанром, читали их избранные, а вот писали из ста человек девяносто. Венечка привлекал к себе любителей этого жанра, поэтому всякого вновь приходящего спрашивали: «А у тебя есть и удостоверение? Да ты не суетись, садись, мы тебе дадим информацию. Где ж тебе ее и взять, бедолаге, а жить-то хочется с комсомолом-партией душа в душу». А из стихотворных, сознавался Веня, любимый — фальшивки ЦРУ.

Но вот жанр некролога, да еще на самого себя...

Ведь и «Благовествование от Венедикта» автор кончал: «И вот ухожу я, и вот ухожу я из мира скорби и печали, которого не знаю, в мир вечного блаженства, в котором не буду» (*весна 1962*).

И «Москва – Петушки» — на той же ноте: «...с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду» (*осень 1969*).

И «Вальпургиева ночь, или шаги Командора», трагедия в пяти актах, заканчивается гибелью всего живого кроме бессмертных мертвяков, и «издохшим ото всего этого попугаем» (*ранней весной 1985*).

А бессмертный И., в которого Каплан из нагана стреляла, описанный Веней в «Моей маленькой ленинчане»? Наверное, Веня прикончил бы даже и разговоры об И. в задуманном (увы, только едва начатом) произведении «История маленькой девочки из бедной еврейской семьи Фанни Каплан».

А уж «Заметки психопата» (1956–1958), статьи о своих любимых земляках-норвежцах Гамсуне, Бьернсоне, Ибсене (*начало 60-х*), маленький роман «Дмитрий Шостакович»

* Печатается по публикации из журнала «Континент». 1991. №67.

(1972) погибли еще в рукописях: аккуратно, каллиграфически выписанные строчки на листочках, листочках... опали с Вени, как поздней осенью... Он сам сетовал: «Я как клен опавший...» И куда ветер унес эти листочки?

Кроме того, были еще учебники для маленького сына Венедикта Венедиктовича по истории России, по русской литературе, по географии. Они послужили растопкой в деревенской печке (деревня Мышлаино под Петушками, на картах не указана), когда маленький Веня начал учиться писать буквы «Ю».

Только в этюде о Василии Розанове герой ускользает из объятий, ну скажем, Прозерпины. Все попытки расправиться с собой физически и метафизически были тщетны. «Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: «Созвездия, ну хоть теперь-то вы благосклонны ко мне?— Благосклонны,— ответили Созвездия» (лето 1973).

Если уверовать в теорию Венички (которою он спасал «сотканные из пылких и блестящих натяжек» построения Черноусого) и трезвенник Иоганн фон Гете, спаивавший всех своих персонажей, сам ходил от этого «как обалделый» и был по сути «алкаш», «и руки у него как бы тряслись» («Москва — Петушки», глава «Есино — Фрязево»), то Веня только и делал в своей жизни, что писал свои некрологи. Одни только некрологи!

...О, как Веня избегал пятниц своей жизни! Потому что «каждую пятницу повторялось все то же: и эти слезы, и эти фиги...» (глава «Железнодорожная — Черное»). «О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя,— я удавлюсь в один из четвергов!..» (глава «Петушки. Перрон»). Веня ловчил: «вечером в четверг вышивал одним махом три с половиной литра ерша — выпивал и ложился спать, не раздеваясь, с одной только мыслью: проснусь я утром в пятницу или не проснусь? И все-таки утром в пятницу я не просыпался...» (глава «Черное — Купавна»).

Венедикт Васильевич Ерофеев **проснулся** в пятницу 11 мая 1990 года, посмотрел на мир ясными голубыми глазами обиженного ребенка, как бы спрашивающими, за что «эта боль! этот холод собачий! эта невозможность!» — и уснул навеки.

Веня мог и в пятьдесят один сказать: «Нет, вот уж теперь — жить и жить! А жить совсем нескучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да. “Чело-

век смертен” — таково мое мнение. Но уж если мы родились — ничего не поделаешь, надо немножко пожить... “Жизнь прекрасна” таково мое мнение» (глава «Черное — Купавна»).

Вышло первое издание книги «Москва — Петушки» на родине. Веню впервые прочитали на родине не только друзья и кагебешники, но и жители Петушков. Дали пенсию в 28 рублей, пусть и по инвалидности, пусть ее хватит только на две бутылки российской по 9 рублей 20 копеек и 3 бутылки грузинского сухого, кислого, как концентрированный раствор витамина «С». Правда, если выпить сначала всю российскую, сдать бутылки и уже потом купить грузинской кислятины. То есть месячной пенсии хватило бы успокоить нервы в понедельник, но чтобы вечером в четверг выпить три с половиной литра ерша и не проснуться в пятницу, на это пенсии бы не хватило. Две российских — это литр, и три бутылки по 0,75 грузинской кислятины — это два литра и 250 граммов. Не хватает еще 250 граммов. Да и не смешивать ерша, ведь после российской надо сделать перерыв и сдать бутылки, чтобы...

Недодало советское правительство 250 граммов. Как там в Поэме? «...Райсобес, а за ним туман и мгла. Петушинский райсобес, а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших. О, нет, нет!» (глава «Петушки. Кремль. Памятник Мину и Пожарскому»).

А до пенсии советская сверхдержава делала вид, что такого подданного у нее вовсе нет. Социальная защищенность на склоне жизни в 28 рублей — хоть такое признание от государства, которого Венедикт Ерофеев не признавал никогда. Веня жил, по его выражению, как у антихриста за пазухой, как во чреве мачехи.

Он не был путником, скитальцем, он был изгнанником. Его гнало по стране... Украина, Белоруссия, Заполярье, Литва, Узбекистан и Россия, Россия, Россия... И каждую весну мечта вернуться на родину. Он писал в дневнике: «...о переселении душ. Может, я когда-нибудь был птичкой? Почему меня тянет на север с наступлением лета?» Но его гнало и швыряло порывами — чего?!

Четыре вуза — Московский Государственный университет, Орехово-Зуевский, Коломенский и Владимирский педагогические — изгнали его. «Горе тебе, Хоразине! Горе тебе, Вифсаидо! ибо...» и т.д. В этом государстве всяческого партийного контроля и кагебешного учета Веня семнадцать лет (с 1958 по 1975)

жил без прописки, то есть — никому в мире этого не понять! — просто не существовал как житель государства. Жил без прописки — никому в мире никогда не понять! — то есть в «эпоху холодной войны», во время тления карибского конфликта, в разгар дружеской помощи чешскому народу в 1968, в период кольхания колониальных войн Венедикт Васильевич Ерофеев не выполнял «священной обязанности» службы в Советской Армии. Когда он в 1975 году пришел в военный комиссариат встать на учет, полковник задрожал, как Агаг перед Самуилом в Галгале.

Веня никогда не вступал и не выказывал предпочтения никакой партии, он всегда был целен. Он утешал в минуты горечи и почвенника, издателя журнала «Вечер» Владимира Осипова, и многострадального Петра Якира, и самоуверенного, но покидающего родину Андрея Амальрика, и «нежно любимых» Вадима Делоне с Ириной Белгородской...

Веня ценил в людях только человеческое страдающее сердце. И если человек страдал, ну хотя бы оттого, что он пахнет, Веня любил его. Он был махровым отщепенцем и понимал, какие нужны усилия человеку, чтобы не вляпаться в эту толпу, в эту толщу масс, в эту паству, в это общество, в этих современников и т.д., которые всяческую махровость нороят облысить. В музыке, в стихах, в прозе, в живописи, в жизни — Веня слушал боль и страдание человеческого сердца. И соврать при нем было невозможно. Он припечатывал: «Говно», — и лицо его кривилось, будто это «говно» ему в рот положили. Сам он был **человеком подлинным**, то есть по рассуждению Владимира Даля, **подлинных**, под пытками, под батогами ставший истинным. Он был нежным душой: любил цветы лютики, романсы Александра Гурилева на слова Алексея Кольцова («На заре туманной юности...», «Вьется ласточка...», «Матушка-голубушка»), симфоническую поэму «Финляндия» своего земляка Яна Сибелиуса. Его ранила даже Моцартова колыбельная: «Спи, моя радость, усни... Кто-то вздохнул за стеной, что нам за дело, родной?..» Веня вздыхал на каждый вздох человека в этом мире, будь он хоть эллин, хоть иудей. Страдание человека в этом мире было ему пыткой.

Какие страсти разыгрывались вокруг членства Пастернака и Солженицына в Союзе советских писателей?! Ведь лишить писателя «членства» — значит лишить его последнего куска хлеба, последнего гроша, хотя бы и за перевод с хангы на

манси. Ерофеев, переведенный на 30 языков мира, не стал членом ССП... не стал советским писателем. Как не был советским гражданином, при своей из-государства-изблеванности.

Но четыре профиля!— классических!— кто не помнит их, высовывающихся друг из-за друга! По всей родине и в братских странах социализма (простите!) на самых видных местах, на всех высоких зданиях, над всеми толпами — четыре профиля... «Один из них, с самым свирепым классическим профилем, выгачил из кармана громадное шило... **Они вонзили мне свое шило в самое горло...**» Так написал Веня осенью 1969-го. Мучаясь от рака горла, он скончался 11 мая 1990 года.

И как в день рождения в двадцать лет, и в день рождения в тридцать лет, и в сорок, и в пятьдесят на погребение пришли все те же (*глава «Черное — Кунавна»*). Любимая старшая сестра Нина Васильевна. Владимир Сергеевич Муравьев — «достопочтимый Мур», которому посвящена трагедия «Вальпургиева ночь». Вадим Тихонов — «любимый первенец», ему посвящены «трагические листы» поэмы «Москва — Петушки», участники Октябрьской Петушинской революции: Борис Сорокин — премьер, Владик Цедринский — посол в Норвегии, Лида Любчикова — как Веня любил ее сопрано. Игорь Авдиев — Черноусый и министр обороны Петушкинской республики. «Поэтесса» Ольга Седакова. Друзья, персонажи, актеры, игравшие в Вениных пьесах, старые читатели. Человек 120.

Отпевали раба Божия Венедикта, католика, в православном храме «Положения Ризы Господа нашего Иисуса Христа» в Москве, похоронили на Новокунцевском кладбище. Помяните раба Божия Венедикта и католики, и православные, помяните его почитатели и просто читатели. Петушки — апофатичны, но Веничка садился в катафитическую электричку «Москва — Петушки» и ехал... Все мы в этой электричке.

Черноусый (И. Авдиев)

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Михаил Эпштейн. После карнавала, или вечный Венчик.</i>	3
<i>Краткие биографические сведения</i>	31

ПОЭМА

<i>Москва – Петушки</i>	35
-----------------------------------	----

ПРОЗА

<i>Благовествование.</i>	139
<i>Василий Розанов глазами эксцентрика</i>	149
<i>Саша Черный и другие</i>	165
<i>Моя маленькая лениниана</i>	167

ДРАМАТУРГИЯ

<i>Вальпургиева ночь, или шаги Командора</i>	181
<i>Диссиденты, или Фанни Каплан.</i>	258

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК 283

<i>Черноусый (И. Авдиев). Некролог, «сотканный из пыльных и блестящих натяжек»</i>	403
--	-----

ЕРОФЕЕВ ВЕНЕДИКТ ВАСИЛЬЕВИЧ

Оставьте мою душу в покое

Редактор *Геннадий Евграфов*

Редакторы издательства *Марина Линчевская, Алла Гладкова*

Художественный редактор *Леонид Андреев*

Технический редактор *Наталья Масалова*

Подписано в печать 27.01.97. Формат 84x108/32.

Бумага офсетная. Гарнитура Баскервиль. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 21,84. Тираж 10 000 экз. Заказ 47

Лицензия № 070374 от 13.02.92

Издательство АО «Х.Г.С.»

117071 Москва, Малый Калужский пер., 4

Телефон (095) 955-35-04

Диaposитивы, печать и переплетные работы выполнены
на Книжной фабрике № 1 Госкомпечати России.

144003, г. Электросталь Московской обл.,

ул. Тевосяна, 25.

В издательстве АО «Х.Г.С.»
ВЫШЛИ В СВЕТ:

Евгений Евтушенко
МОЕ САМОЕ-САМОЕ
Серия «Поэтическая библиотека»

Эту книгу Евгений Евтушенко составил сам, строжайшим образом отобрав 20 000 строк из 130 000 им опубликованных. В сборник также включены некоторые ранние или в свое время не прошедшие цензуру стихи и новые, не вошедшие ни в одну из предыдущих книг.

Объем 640 с.
Переплет, суперобложка

В издательстве АО «Х.Г.С.»
ВЫШЛИ В СВЕТ:

СВЕТ ДВУЕДИНЫЙ

Серия «Поэтическая библиотека»

Составитель Михаил Грозовский

Под редакцией Евгения Витковского

Тема сборника – «Евреи и Россия в современной поэзии». Стихи написаны преимущественно за три последних десятилетия известными поэтами, людьми разных судеб и поколений, живущими в России, Израиле и других странах.

Спектр настроений весьма широк,
тональности подчас полярны.

Сборник стихов, имеющий большое художественное и культурологическое значение, вызовет интерес у подлинных ценителей поэзии.

Объем 520 с.

Переплет, суперобложка

В издательстве АО «Х.Г.С.»
ВЫШЛИ В СВЕТ:

Инна Кабыш
ДЕТСКИЙ МИР

Серия «Поэтическая библиотека»

Инна Кабыш – представительница нового поколения в русской поэзии. Ее стихи, часто появляющиеся в периодических изданиях (журналы «Новый мир», «Дружба народов», «Юность», «Знамя»), хорошо знакомы любителям поэзии.

В 1996 году Инна Кабыш была удостоена Пушкинской премии, присуждаемой фондом Альфреда Тёпфера (Гамбург).
«Детский мир» – вторая книга поэта.

Объем 56 с.
Обложка

В издательстве АО «Х.Г.С.»
ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ:

Ирина Марголина
СЛУЧАЙНОЕ СОЛНЦЕ

Серия «Новая книга»

Более 100 мультипликационных, документальных
и художественно-публицистических фильмов
сняты по сценариям Ирины Марголиной.

Среди них популярные мультфильмы
«Влюбчивая ворона», «Сказка о глупом муже»,
18 фильмов сериала «КОАПП»
(в соавторстве с М. Константиновским).

Более 40 международных и российских премий
и других наград кинофестивалей
(среди них — диплом «Лучшие в мире»
за фильм «Нить»

на фестивале анимационных фильмов в Хиросиме) —
таков урожай призов, собранных этими фильмами.

Первая книга автора «Энциклопедия в картинках
для детей от трех до пяти лет»

известна широкому кругу читателей.

Вторая книга, предлагаемая вашему вниманию,
включает три современных пьесы
и несколько рассказов.

Одна из пьес, включенных в эту книгу,
«Невозвращенка», участвовала в авангардном
театральном фестивале
«Ателье — Европа 93» (Германия).

Предисловие Эдуарда Успенского.

Объем 280 с.

Обложка, суперобложка

В издательстве АО «Х.Г.С.»
готовятся к изданию:

Александр Галич
Я останусь на этой земле
Серия «Поэтическая библиотека»

В новую книгу Александра Галича
включены почти все стихи,
написанные им, не публиковавшиеся
ранее пьесы «Рассвет» и «Август» ,
автобиографическая повесть
«Генеральная репетиция» ,
письма и воспоминания.

К книге прилагается лазерный диск
с записями песен
в авторском исполнении.

Объем 640 с.
Переплет, суперобложка

В издательстве АО «Х.Г.С.»
готовятся к изданию:

Юрий Левитанский
Когда-нибудь после меня
Серия «Поэтическая библиотека»

Впервые в России издается
полное собрание сочинений
замечательного русского поэта.

Книга включает все стихи, изданные при его жизни,
начиная со сборника «Стороны света» (1959)
и заканчивая самыми последними стихами.

Многие стихи разных лет публикуются впервые.

Отдельный раздел посвящен переводам,
ставшим классикой, например, из Брехта, Ийеша,
Кесоа, Голана, Ивашкевича.

«Близкие ритмы» — последний прижизненный
сборник поэта, вошедший в предлагаемую
внимание читателей книгу, —
удостоен Государственной премии 1995 года.

В оформлении книги использованы
репродукции живописных работ
и фотографии деревянных скульптур,
созданных Юрием Левитанским.

Объем 640 с.
Переплет, суперобложка

В издательстве АО «Х.Г.С.»
готовятся к изданию:

Давид Самойлов

В кругу себя: Стружки с верстака

Серия «Поэтическая библиотека»

До последнего времени широкий круг читателей знал Самойлова по таким серьезным книгам, как «Ближние страны», «Второй перевал», «Волна и камень», «Весть», «Голоса за холмами». Вместе с тем мало кто знает, что Давид Самойлов много «натворил» в таком забытом жанре литературы, который в XIX веке считался домашним, озорным.

Этот жанр – дружеские послания, пародии, эпиграммы, шутки, мистификации, в целом, некий литературный капустник.

Родоначальником его по праву считается А.С.Пушкин.

Многие известные произведения в этом жанре Д. Самойлова включены в предлагаемую вашему вниманию веселую книгу.

*Объем 160 с.
Переплет, суперобложка*

